



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>



B 4 223 769



УЧЕНИЧЕСКІЕ ГОДЫ ГОГОЛЯ.

БІОГРАФИЧЕСКАЯ ТРИЛОГІЯ

В. П. Авенаріуса.

I. Гоголь-гимназистъ.

II. Гоголь-студентъ.

III. Школа жизни великаго юмориста.



Avenarius, V. P.

Ученикъ на г. Гоголя.

ГОГОЛЬ-СТУДЕНТЪ.

БИОГРАФИЧЕСКАЯ ПОВѢСТЬ.

Съ 12 портретами и видами — фототипіями и автотипіями
Ангерера и Гёшля въ Вѣнѣ.



С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Изданіе книжнаго магазина П. В. Луковникова, Лештуковъ пер., д. 2.
1898.

6489034X

XM81
24875
MAIL

Дозволено цензурою. С.-Петербургъ, 11 сентября 1897 года.



Николай Васильевич
ГОГОЛЬ.

PZ63
A78
1897
v. 2
MAIN

О Г Л А В Л Е Н И Е.

	Стрн.
Нѣскольکو словъ, вмѣсто предисловія, о значеніи біографическихъ повѣстей.	7
Глава I. Плющъ и дубокъ	9
» II. Какъ дебютировалъ новый глава дома	23
» III. Экскурсія въ Константинополь	40
» IV. Какъ спасся Базили.	54
» V. Казусъ Базили-Андрущенко	69
» VI. Нѣжинская муза пробуждается	80
» VII. Библіотекаръ и альманашикъ	94
» VIII. Расцвѣтъ и разгромъ эрмитажа	105
» IX. Юпитеръ плачетъ	120
» X. Этнографическій блинъ и послѣдніе пе- руны Громовержца	133
» XI. Deus ex machina	148
» XII. «Нынѣ отпускаеши раба Твоего...».	161
» XIII. Тѣнь Пушкина тревожитъ нѣжинскихъ парнасцевъ	169
» XIV. Захандрилъ	185
» XV. Около сцены, на сценѣ и за кулисами.	198
» XVI. Переигралъ	210
» XVII. Нашествіе готовъ.	217
» XVIII. Нашествіе гунновъ	225
» XIX. Куколка начинаетъ превращаться въ мо- тылька	232
» XX. Застольные разговоры	244
» XXI. Опять этнографія	252
» XXII. Двѣ будущія знаменитости инкогнито ближе знакомятся другъ съ другомъ	266
» XXIII. Дядя Петръ Петровичъ.	275

	Стрн.
Глава XXIV. Въ лѣтней резиденци «кибинскаго царька»	284
» XXV. «Таинственный Карло» оправдываетъ свое прозвище.	299
» XXVI. Прощай, Нѣжинъ!	316
» XXVII. На отлетѣ изъ родного гнѣзда.	322

Портреты и виды.

1. Портретъ Н. В. Гоголя	1
2. Церковь въ с. Васильевкѣ	12
3. Портретъ М. И. Гоголь	22
4. » К. М. Базили	54
5. » Н. В. Кукольника.	80
6. » П. Г. Рѣдкина.	112
7. » Графа А. Г. Кушелева-Безбородко	149
8. » А. С. Пушкина	172
9. » А. П. Стороженко	240
10. Домъ Д. П. Трошинскаго въ Ярескахъ.	284
11. Историко-филологическiй институтъ князя Безбо- родко въ г. Нѣжинѣ	321
12. Памятникъ Гоголя въ г. Нѣжинѣ.	334



НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ, ВМѢСТО ПРЕДИСЛОВІЯ, о значеніи біографическихъ повѣстей.

Зачѣмъ писать біографіи великихъ людей въ беллетристической формѣ, которая не можетъ не возбуждать сомнѣній въ достовѣрности разсказаннаго? Не могъ же, въ самомъ дѣлѣ, авторъ узнать во всей подробности, чуть не изо дня въ день, жизнь дѣйствующихъ въ его разсказѣ лицъ, записать даже ихъ разговоры, происходившіе тогда, когда и самого-то его еще на свѣтѣ не было?

Такой вопросъ, который иной разъ случается слышать, основанъ на явномъ недоразумѣніи. Вѣдь чтò такое въ сущности тѣ «подлинныя» разговоры, которые мы встрѣчаемъ не только въ разныхъ письменныхъ «воспоминаніяхъ», но и въ «настоящихъ» біографіяхъ? Слово не воробей: вылетитъ—не поймаешь. Фонографъ до сихъ поръ не служилъ еще для увѣковѣченія «подлинныхъ» словъ знаменитыхъ людей; стенографія примѣняется покамѣстъ только въ парламентахъ и судахъ. Мыслимо ли поэтому, чтобы даже самый добросовѣстный біографъ все, чтò онъ лично слышалъ, могъ передать потомъ дословно? Заботится онъ, конечно, лишь о томъ, чтобы сохранить общій смыслъ слышаннаго и наиболѣе характерныя фразы и выраженія.

Беллетристъ-біографъ же связываетъ между собою всё эти «достоверные» разговоры, всё отрывочныя, крупныя и мелкія событія изъ жизни описываемаго имъ лица, иногда мимолетныя лишь, но драгоценныя для психолога-художника штрихи и намеки и, читая такъ-сказать между строкъ недосказанное, то, что можетъ-быть и не было, но *могло быть*, вдыхаетъ жизнь въ мертвый матеріалъ. Такъ какъ все существенное при этомъ возможно согласуется съ дѣйствительностью и вымыселъ подчиняется правдѣ, то въ такомъ «вымышленномъ» разказѣ, проникнутомъ одушевленіемъ и живымъ сочувствіемъ разказчика къ описываемому лицу, лицо это является читателю гораздо ярче. цѣльнѣе да, пожалуй, въ общемъ и вѣрнѣе, чѣмъ въ «достоверномъ», но сухомъ изложеніи ученаго біографа. Самое же крупное преимущество біографической повѣсти передъ біографіей для молодыхъ читателей безспорно въ томъ, что для огромнаго большинства ихъ повѣствовательная форма несравненно доступнѣе, и безъ нея очень многимъ изъ нихъ осталась бы навсегда неизвѣстною жизнь тѣхъ или другихъ великихъ людей, съ которою ознакомиться должно быть желательно всякому образованному человѣку.

Слб., сентябрь 1897.

В. А.



ГЛАВА ПЕРВАЯ.

Плющъ и дубокъ.

Онъ катилъ домой на вакаціи—уже не гимназистомъ, какъ бывало до сихъ поръ, а студентомъ — хотя и той-же все нѣжинской «гимназіи высшихъ наукъ»; т.-е. съ трехлѣтнимъ, въ заключеніе, университетскимъ курсомъ.

Снова раскинулась передъ нимъ родная украинская степь, на всемъ неоглядномъ пространствѣ серебристаго ковыля такъ и пестрѣя полевыми цвѣтами всѣхъ красокъ и оттѣнковъ, такъ и обдавая его ихъ смѣшаннымъ ароматомъ, такъ и трепеща передъ глазами, звеня въ ухахъ взвизывающимися по сторонамъ коляски кузнечиками—бирюзовыми, сѣрыми и алыми.

Снова выросъ передъ нимъ родной хуторъ съ бѣлою церковью, съ привѣтно-манящими изъ-за кудрявой зелени красными кровлями и бѣлыми

трубами; замелькала новая ограда, раскрылся широкий дворъ, въ который изъ-за окружающихъ построекъ отовсюду врывается зеленое царство; снова Дорогой и Сюська, какъ шальные, несутся къ нему навстрѣчу съ бѣшенымъ лаемъ, и первый изъ нихъ—датскій догъ—норовитъ лизнуть его въ губы, а на крылечкѣ, еще болѣе покосившемся, ждуть его, какъ бывало, маменька, сестрички, старушка-няня...

Все то-же—да не то. И степь, и хуторъ, и близкія ему существа на крыльцѣ—все подернуто какою-то сѣрою дымкой, словно наступило солнечное затменіе. Да, солнце ихъ затмилось—и навсегда.

Мать рада, понятно, возвратившемуся сыну, очень рада; но радость это не бодрая и ясная, какъ прежде, а нервная, истерическая, затуманенная горячими слезами.

— Миленькій ты мой, безцѣнный, единственный! Нѣтъ его уже, нѣтъ кормильца! Что-то станетъ съ нами?

— Надо покориться, маменька: воля Божья. Вы только не волнуйтесь такъ ужасно: на васъ лица нѣтъ, глаза распухли...

— Диво еще, родимый, что въ конецъ ихъ не выплакала! На немъ вѣдь весь домъ держался. А теперь въ семьѣ ни единого мужчины...

— Вы забываете меня, маменька.

— Тебя, Никоша?! У тебя, голубчикъ, и борода-то едва пробивается.

— Дѣло не въ бородѣ, маменька, а въ зрѣ-

лости. Мнѣ въ мартѣ 17-й уже годъ пошелъ, я—студентъ и могу, надѣюсь, помочь вамъ тоже кое-какими добрыми совѣтами въ хозяйствѣ.

— А ужъ какъ-то мнѣ ихъ нужно, ой, какъ нужно! При папенькѣ я ни во что не входила; они съ приказчикомъ все безъ меня рѣшали. А теперь изволь-ка самой рѣшать; вѣдь на Левкѣ-то положиться, самъ знаешь, каково: себѣ на умѣ, плутъ изрядный.

— Такъ вы бы его смѣнили.

— А коли другой попадется того хуже? Этогъ-то хоть хозяйство все по пальцамъ знаетъ.

— Такъ я съ нимъ серьезно поговорю.

— Поговори, милый, поговори. Послѣ папеньки ты у насъ все-таки глава дома. Охъ-охъ-охъ, Василий Аеанасьевичъ! на что ты насъ, сиротъ, покинулъ...

— Ну, полноте, голубочко матусенька, не плачьте!

— Не могу, родной мой: въ слезахъ мнѣ одна отрада, особливо на его могилѣ. И тебѣ, Николенька, надо будетъ уже помолиться надъ прахомъ незабвеннаго родителя.

— Непремѣнно; сейчасъ какъ только передѣнусь съ дороги.

— Иди, миленькій, иди; а я тѣмъ часомъ распоряджусь на кухнѣ, чтобы прежде накормить тебя.

И вотъ онъ переодѣтъ, накормленъ и, рядомъ съ матерью, преклонилъ колѣни надъ отцовскою могилой. Погребенъ покойный въ фамильномъ

склепѣ около самой церкви; но надъ мѣстомъ его вѣчнаго упокоенія цвѣтутъ уже алыя розы, небесно-голубыя незабудки, а вѣрная ему до гроба спутница жизни окропляетъ и розы и незабудки неутѣшными вдовьими слезами.

— Охъ, мамо, мамо! вы просто изведете себя,— говорилъ сынъ, украдкой самъ утирая себѣ глаза.— Присядьте-ка тутъ и расскажите: какъ вы узнали о его смерти? Это немножко хотъ облегчитъ вамъ наболѣвшее сердце.

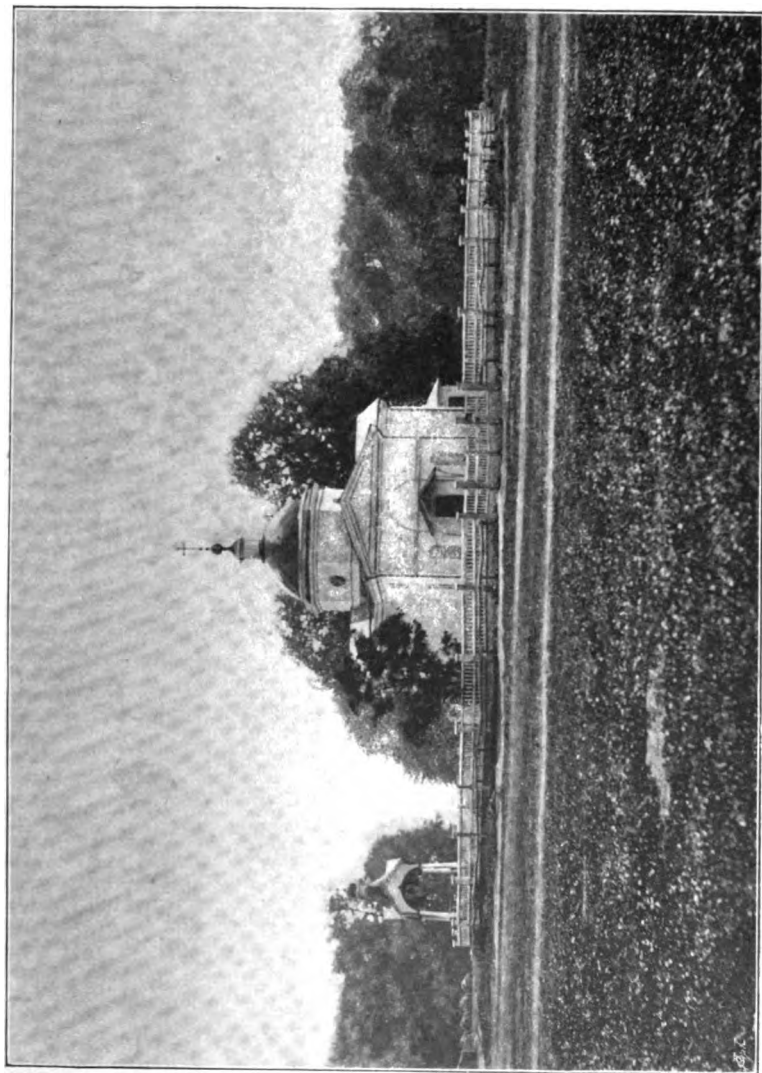
— Какъ узнала?— всхлипнула Марья Ивановна, послушно опускаясь на край могилы.— Ахъ ты, хорошій мой! Было то на второй недѣлѣ послѣ того, какъ далъ Богъ намъ еще дочку, а тебѣ сестричку. Я все поджидала папеньку: не вернется-ль скорѣе, чтобъ при себѣ окрестить малютку. Анъ, замѣсто него пріѣзжаетъ вдругъ г-жа Голованева, жена доктора, что лѣчилъ его въ Лубнахъ: очень-де желательно больному меня видѣть. Меня такъ и сразило: «ну, значить, ему гораздо хуже, коли вызываетъ меня къ себѣ еще больную».

— И вы, больная, собралися?

— А то какъ-же? Вмѣстѣ съ Голованевой; но лишь только мы за ворота, глядь: навстрѣчу верховой. Что такое? «Да вотъ письмо докторшѣ». Взяла та письмо, развернула—вся такъ и вспыхнула. «Вороти мся», говоритъ: «Василій Аеанасевичъ самъ скоро будетъ.» Господи помилуй! что случилось тутъ со мною...

Голосъ несчастной вдовы оборвался.

— И потомъ привезли его тѣло?



Церковъ въ Васильевцѣ.

— Привезли... прямо къ церкви... Раздался ударъ колокола... Никогда не забуду этого ужаснаго звука!.. Хоронить его можно было только на пятый день, такъ какъ многое не было еще готово, и до времени его оставили въ экипажѣ. Меня же къ нему не пускали, пока не внесли гроба въ церковь. Когда я увидѣла его тутъ, моего сердечнаго, въ открытомъ гробѣ,—я точно обезумѣла. Тетушка Анна Матвѣвна, которая, дай Богъ ей здоровья, шесть недѣль ни шагу отъ меня не отходила, рассказывала мнѣ потомъ, что я стала громко говорить съ покойникомъ, будто съ живымъ, и сама же себѣ за него отвѣчала. А когда меня наконецъ вразумили, что онъ умеръ, я стала умолять похоронить меня рядомъ съ нимъ въ склепѣ.

— Бѣдная вы!

— Ахъ, да: совсѣмъ, говорю, въ умѣ помѣшалась. Съ трудомъ урезонила меня тетушка—беречь себя для дѣтей; но нервы мои были до того разстроены, что даже дѣвочекъ, сестрицъ твоихъ, не пускали ко мнѣ. Показали мнѣ ихъ уже много дней спустя, въ траурѣ. Когда я потомъ вышла въ первый разъ въ садъ, мнѣ такъ странно было, что все-то на своемъ мѣстѣ: мнѣ серьезно думалось, что съ нимъ, главой семьи, и все должно погибнуть. Все осталось попрежнему, но всѣ заботы его обрушились теперь на меня. Онъ былъ какъ дубъ, а я какъ плющъ, который льнулъ къ нему и имъ однимъ держался. Рухнулъ дубъ—и нѣтъ у плюща опоры...

— Я, маменька, еще не крѣпкій дубъ, я— дубокъ; но и тотъ можетъ служить плющу нѣ- которой опорой. Въ деревенскомъ хозяйствѣ я мало еще свѣдущъ; но я нарочно взялъ съ собой изъ нѣжинской казенной библіотеки пару книгъ по этой части. Я буду трудиться для васъ въ потѣ лица и постараюсь полюбить хозяйство; если человѣкъ любить свое дѣло, то онъ въ немъ непременно успѣетъ...

— А при твоихъ способностяхъ и подавно!— подхватила Марья Ивановна, и въ затуманенномъ взорѣ ея блеснулъ лучъ надежды.— Ты вѣдь и теперь-то у меня и поэтъ и художникъ. Въ послѣднемъ письмѣ своемъ, Никоша, ты обѣщался порадовать меня опять какими-то новыми работами...

— Да, кое-что у меня для васъ есть. Васъ это можетъ-быть немножко хоть разсѣять.

Говоря такъ, онъ бережно взялъ мать подъ руку и повелъ вонъ съ кладбища. Во дворѣ у крыльца они наткнулись на маленькую рѣзвую ватагу: впереди старшая дочь дома, 13-тилѣтняя Машенька, съ торжествующимъ видомъ несла въ передникѣ цѣлое гнѣздо новорожденныхъ котятъ; за нее цѣплялись остальные сестрицы, наперерывъ заглядывая къ ней въ передникъ, а сзади бѣжалъ въ припрыжку конвой изъ босоногихъ дворовыхъ дѣвчонокъ. Единственнымъ удрученнымъ существомъ во всей компаніи была большая сѣрая кошка, которая, растерянно распутивъ хвостъ, съ жалобнымъ мяуканьемъ увивалась около похитительницы ея безцѣнныхъ крошекъ.

— Ахъ, маменька! Никоша! Что у насъ за чудныя кошечки!—расхвастались дѣвочки въ одинъ голосъ.

— Дѣти какъ дѣти!—грустно улыбнулась Марья Ивановна.—Посмотри-ка, Никоша: кошечки, въ самомъ дѣлѣ, прехорошенькія.

— Но и префальшивыя бестіи! презрительно отозвался Никоша.

— Онѣ-то фальшивыя?—обидѣлась за своихъ кошечекъ Машенька.—Онѣ, душечки, преневинныя, ничего еще даже не смыслятъ.

— Тѣмъ хуже: нельзя съ нихъ пока, значить, и взыскивать. Ну, пропустите-ка насъ.

— А вы куда?

— Никоша вотъ хочетъ показать мнѣ свои новыя работы,—объяснила Марья Ивановна.

— Никоша, голубчикъ! возьми и насъ съ собою.

— Пожалуй,—снизошелъ братъ.—Только безъ вашихъ глупыхъ кошекъ. Ну ихъ!

— Да куда же мы ихъ дѣнемъ? Погодите минуточку!

Между дѣвочками началось спѣшное совѣщаніе: какъ имъ быть? Въ заключеніе рѣшено было—довѣрить котятъ попеченію и отвѣтственности старшей изъ дворовыхъ дѣвчонокъ, Галѣ.

— А я тоже останусь съ Галей! объявила четырехлѣтняя Олечка, которой слишкомъ больно было разстаться съ дорогими звѣрками.

Братъ только плечомъ пожалъ. Первая работа, которую предъявилъ онъ матери и стар-

шимъ сестрамъ, была писанная на холстѣ клеевыми красками картина въ 1 аршинъ шириною и въ 1¹/₂ вышиною. На красноватомъ фонѣ изображенъ былъ прудъ, окруженный высокими деревьями, а надъ прудомъ бесѣдка съ готическими рѣшотчатыми окнами. Новое произведение молодого живописца было настолько совершеннѣе прежнихъ, что вызвало общее чистосердечное восхищеніе.

— Это копія или прямо съ природы?—освѣдомилась Марья Ивановна.

— Помаленьку и того и другого, а больше изъ собственной головы,—былъ самодовольный отвѣтъ.—Работа сборная, эклектическая, какъ выражаются художники, но требуетъ тѣмъ большаго соображенія.

Дѣвочки съ благоговѣніемъ слушали объясненія брата-студента.

— Съ природы, вѣрно, эти окна съ рѣшотками?—позволила себѣ замѣтить Анненька.—Точь въ точь вѣдь какъ у башенекъ нашего стараго дома!

— Да, они вышли очень недурно. Но лучше всего все-таки вотъ это сухое дерево среди другихъ цвѣтущихъ: оно—центръ пейзажа и своего рода аллегорія.

— Аллегорія?—переспросила Марья Ивановна.—Что же оно обозначаетъ?

— Здоровыя деревья—это мои школьные товарищи, сухое—я самъ.

— Ну, ну, ну, сдѣлай милость, не глаза! Здо-

ровьемъ ты хоть и не слишкомъ крѣпокъ, но умомъ хоть кого за поясъ заткнешь.

— Такъ картина вамъ не нравится, маменька? А жаль: я хотѣлъ было повѣсить ее надъ вашимъ письменнымъ столомъ, замѣсто своего портрета, чтобы, глядя на это сухое дерево, вы вспоминали иногда о вашемъ сынѣ.

— Очень даже нравится! Давай ее, давай сюда. Я передъ всѣми сосѣдями буду хвалиться твоимъ искусствомъ. Только прошу тебя, Никоша, не упоминай больше объ аллегоріи.

— Можно и безъ оной,—сдался Никоша и, открывъ лежавшій подъ столомъ чемоданъ, досталъ оттуда тетрадь.

— А это что же у тебя? Не стихи ли, про которые ты писалъ уже мнѣ?

— Стихи и самые свѣженькіе: никому еще въ Нѣжинѣ не показывалъ. Прочешь?

— Пожалуйста, дорогой мой. Ты у меня, право, искусникъ на всѣ руки.

Въ это время снизу, изъ сѣней, донесся раздирательный дѣтскій визгъ и ревъ.

— Ахъ, опять Олечка! Вѣрно, ее кошки оцарапали...—всполошилась Марья Ивановна.— Прости, Николенька...

И она скрылась уже за дверь. Сынъ съ сердцемъ захлопнулъ свою стихотворную тетрадь.

— Вотъ вамъ и ваши милыя, невинныя кошечки!

— А намъ однѣмъ ты, значитъ, не прочтешь?—робко спросила одна изъ сестрицъ.

— Значить. Для васъ у меня тутъ найдется кое-что поинтереснѣе.

Изъ того-же чемодана появились нѣжинскіе гостинцы: медовые пряники, леденцы да орѣхи. Это, точно, было куда интереснѣе!

— А вотъ и для Олечки. Сами только не скушайте по дорогѣ.

— Ахъ, нѣтъ, какъ можно!

И, совершенно довольная, дѣвочки ускакали, забывъ и про брата, и про его стихи. Напрасно однако ожидалъ онъ, что маменька-то хоть вспомнить объ его стихахъ. И прежде склонная къ мечтательности, Марья Ивановна со смерти мужа проводила ежедневно цѣлые часы въ молитвѣ и въ печальныхъ размышленіяхъ о своей вдовьей долѣ, забывая даже о насущныхъ нуждахъ домашняго хозяйства. Стемнѣло, а она все еще не выходила изъ своихъ комнатъ.

«Гора не подошла къ Магомету, такъ Магометъ подошелъ къ горѣ,» рѣшилъ молодой поэтъ и, сунувъ въ карманъ свою тетрадку, отправился къ матери.

Засталъ онъ ее сидящею передъ выдвинутымъ ящикомъ комода съ пачкой старыхъ писемъ на колѣняхъ. При слабомъ свѣтѣ нагорѣвшей сальной свѣчи она перечитывала одно изъ этихъ писемъ и была такъ погружена въ чтеніе, что не замѣтила даже приближенія сына, пока онъ щипцами не снялъ со свѣчи нагара. Марья Ивановна испуганно вздрогнула и подняла къ нему глаза, полные слезъ.

— Ахъ, это ты, Никоша?

— Я, маменька. Вы чьи это письма перечитываете?

— А нашего дорогого покойника, когда онъ былъ еще женихомъ. Въ нихъ теперь, могу сказать, моя единственная услада: я переживаю въ нихъ мое счастливое прошлое...

— Но вѣдь, когда они писались, вы были еще полувзрослой?

— Да, мнѣ не исполнилось еще 14-ти лѣтъ. Втайнѣ я его хоть тоже любила, но сама не смѣла даже распечатывать его писемъ.

— Но какъ это онъ, женихъ, писалъ вамъ на такой неважной бумагѣ!

— Въ тѣ времена, милый мой, не было еще и въ поминѣ нынѣшнихъ бѣлыхъ да розовыхъ листочковъ съ кружевнымъ ободочкомъ. Какъ бумага, такъ и чувства были тогда проще, а помоему, и лучше, натуральнѣй.

— Не дадите ли вы мнѣ, маменька, прочесть эти письма?

— Никому еще, родной мой, съ тѣхъ самыхъ поръ я ихъ не показывала. Пока насъ съ нимъ не повѣнчали, я хранила ихъ у себя на груди, какъ святыню моего дѣвичьяго сердца.

— Тѣмъ священнѣй они и для меня, вашего сына! Всякая строка его для меня дорога. Право, маменька, дайте хоть заглянуть!

— Ты выбралъ, Никоша, такую минуту, когда у меня не можетъ быть тебѣ отказа. Только безъ коментарій тебѣ, пожалуй, всего не понять.

*

Вотъ хоть бы это первое его письмо. Дѣдушка твой, а мой отецъ, не сейчасъ склонился на предложеніе молодого сосѣда, потому что я была еще даже въ короткомъ платьѣ. И вотъ онъ, необъявленный женихъ мой, предложилъ мнѣ временно вмѣсто любви дружбу. Теперь читай.

И сынъ прочелъ слѣдующія строки, написанныя на грубой синей бумагѣ столь знакомою ему рукою покойнаго отца:

«Единственный другъ! Итакъ я, полагаясь на ваши увѣренія, осмѣливаюсь назвать васъ другомъ, а болѣе чувствую удовольствіе, что вы, свято почитая добродѣтель, чувствуете цѣну таковой дружбы... Теперь мнѣ одно утѣшеніе въ скукѣ—только къ вамъ писать, а видѣться съ вами не скоро буду. Мои родители ѣдутъ къ вамъ, а я остаюсь дома съ гостями, а потомъ всюду съ унылымъ сердцемъ по дѣламъ изъ дому. Одно мнѣ осталось облегченіе—видѣть хоть въ одной строкѣ дѣйствіе души вашей. Не лишите меня сего счастья увѣдомить о вашемъ здоровьѣ: оно составляетъ мою жизнь и благополучіе. Прощайте.

«Вашъ вѣчно вѣрный другъ В а с и л і й».

За этимъ первымъ письмомъ молодой Гоголь перечелъ одно за другимъ и остальные письма жениха къ невѣстѣ, которыя Марья Ивановна съ своей стороны точно также объясняла. Для посторонняго читателя эта переписка не представляла бы никакого существеннаго интереса; для сына каждая фраза звучала чѣмъ-то роднымъ и милымъ,

словно она сейчас только вылилась изъ-подъ пера отца.

— Теперь я понимаю, маменька, что вы другимъ не даете этихъ писемъ,—сказаль онъ:—романтизмъ нынче не въ авантажѣ, и многіе возвышенные обороты, употребленные здѣсь просто отъ полноты сердца, въ настоящее время могутъ показаться дѣланными, ненатуральными.

— Но у него все это было вполнѣ естественно! —горячо возразила вдова романтика.

— Да развѣ я сомнѣваюсь? Избави меня Богъ! Но что бы вы сами сказали про романъ, гдѣ стояло бы слѣдующее: «Милая Машенька! Многія препятствія лишили меня счастья сей день быть у васъ! Слабость моего здоровья наводитъ страшное воображеніе, и лютое отчаяніе терзаетъ мое сердце». Вы сказали бы, что въ обыкновенной жизни такъ не выражаются, что авторъ хватилъ черезъ край. А я, сынъ покойнаго, какъ и вы, вдова его, могу только поцѣловать эти милыя строки.

И онъ благоговѣйно поднесъ къ губамъ листокъ съ прочтенными строками.

— Славный ты мой! единственное утѣшеніе мое!—въ конецъ расчувствовалась бѣдная вдова и притянула къ себѣ сына, чтобы нѣсколько разъ крѣпко облобызать его.—Но когда-то ты будешь мнѣ настоящей опорой?

— Дубомъ, какъ сказано, еще быть не могу, но дубкомъ быть постараюсь. Теперь на вакаціяхъ напр., пока я здѣсь, я охотно возьму на себя часть вашихъ хозяйственныхъ заботъ.

— Распоряжайся, голубчикъ, приказывай, дѣлай, что найдешь нужнымъ. Я же накажу всѣмъ и каждому строго-на-строго, чтобы слушались тебя, какъ главы дома.

— Да, этакая инструкция будетъ не бесполезна. особенно для приказчика. Онъ вѣдь бѣдовый!

— О, да! Ты, милый, еще не знаешь, какъ онъ со смерти папеньки зазнался! Онъ пользуется моею забывчивостью, моими слабыми нервами, видитъ, что мнѣ теперь уже не до прозы жизни...

— Такъ я его проберу. Въ папенькиной библиотекѣ вѣрно найдется кое-что по деревенскому хозяйству?

— Навѣрно даже; покойный заимствовался вѣдь всегда изъ Кибинецъ у Дмитрія Прокофьевича, которому изъ Петербурга придворный книгопродавецъ высылаетъ книжныя новости.

— Ну, вотъ. Изъ Нѣжина у меня тоже взято кое-что съ собою. Выходя на бой хоть бы съ такимъ приказчикомъ, не лишне вооружиться. А за успѣхъ я вамъ почти ручаюсь.





Марья Ивановна
ГОГОЛЬ
(въ концѣ 1820-хъ годовъ).



ГЛАВА ВТОРАЯ.

Какъ дебютировалъ новый глава дома.

Оружіе для предстоящаго боя на мирномъ полѣ деревенскаго хозяйства, дѣйствительно, отыскалось. Порывшись въ библіотекѣ покойнаго отца, молодой Гоголь унесъ оттуда подъ мышкой къ себѣ въ свѣтелку ворохъ книгъ, которыя съ привезенными изъ Нѣжина составили на столѣ его почтенный столбецъ. Два дня онъ почти безвыходно прокорпѣлъ надъ ними на своей вышкѣ. На третій, уже «во всеоружіи», онъ спустился внизъ въ отцовскій кабинетъ и послалъ за приказчикомъ.

Всесильный на хуторѣ Левко хотя и получилъ за два дня назадъ отъ барыни надлежащую инструкцію — подчиняться всѣмъ распоряженіямъ молодого панича, но все-таки былъ нѣсколько озадаченъ самоувѣренностью и солидностью, съ какими принялъ его безбородый юноша, усѣвшійся

за отцовскимъ письменнымъ столомъ, въ отцовскомъ креслѣ, въ полоборота къ двери. Правую рукой небрежно перебирая костяшки лежавшихъ на столѣ счетовъ, по которымъ покойный Василий Аванасьевичъ имѣлъ обыкновеніе провѣрять приказчика, паничъ на развязный поклонъ входящаго милостиво только головой кивнулъ и прямо обратился къ дѣлу:

— Скажи-ка, Левко, но по совѣсти, понимаешь: все ли у васъ на хуторѣ въ должномъ порядкѣ?

«Оце ще!» смекнулъ бывалый воротила хуторскаго хозяйства. «Давно ли, кажись, мальчуга по полу рачки (на четверенькахъ) ползаль, а теперича, на-ка, поди, за ночь въ мужчину выросъ! Аль для храбрости важность на себя напускаеть?»

И съ сдержанною почтительностью онъ доложилъ паничу, что «все, слава Тоби, Господи, въ порядкѣ. День недоѣдаешь, ночь недосыпаешь, чтобы господамъ спалось незаботно, спокойно...»

— Ладно! Впередъ и мы будемъ спать только однимъ глазомъ,—остановилъ его Гоголь.—Ужо обойдемъ съ тобою всѣ уголья, все на мѣстѣ осмотримъ и провѣримъ. Напередъ же намъ надо будетъ съ тобою установить основные пункты, и я вкратцѣ изложу тебѣ, какъ смотреть на сельское хозяйство люди науки, т. е. люди поумнѣе и тебя и меня, купно взятыхъ.

Левко широко глаза раскрылъ: «что-то дуже

ужь мудрено, по-письменному говорить паньчѣ! Погодимъ, погодимъ, что-то набалакаеть?»

Сталъ онъ слушать, но чѣмъ дальше «балакаль» паничь, тѣмъ все будто мудренѣе. Говорилъ онъ о томъ, что нынѣшней осѣдлой жизни русскаго народа предшествовала жизнь кочевая; что кочевникъ, предпочитая растительной пищѣ животную, пользуется землею не столько для посѣва, сколько для прокормленія своихъ стадъ; дѣлаясь же осѣдлымъ, онъ прежнія пастбища распахиваетъ подъ посѣвы...

— Кстати вотъ,—самъ себя прервалъ тутъ молодой лекторъ:—ты слышалъ, конечно, про Робинзона?

— Робинзона? — переспросилъ приказчикъ и покачалъ головою.—Ни! Есть у насъ тутъ по соудству шинкаръ Руфинзонъ, тоже изъ жидовъ...

— Ну, мой Робинзонъ—то не изъ жидовъ, развѣ что изъ англійскихъ,—снисходительно усмѣхнулся Гоголь.—Такъ вотъ во время бури на океанѣ выбросило его на пустынный островъ, и оказался онъ тамъ также на положеніи кочевника...

Самъ того не замѣчая, лекторъ съ возрастающимъ увлеченіемъ сталъ повѣствовать о первыхъ опытахъ Робинзона по скотоводству и земледѣлю.

— Оце добре,—поддакнулъ Левко, когда Гоголь на минуту перевелъ духъ въ своемъ разсказѣ.—А вже-жъ мы тутъ въ Яновщинѣ не на пустынномъ островѣ...

Повѣствователя какъ ушатомъ холодной воды окатило.

— И ничего-то ты, братику милый, не понимаешь! Васильевка наша (а не Яновщина, сколько разъ повторять вамъ, что мы не поляки!) среди степи тотъ-же пустынный остров. Но что съ тобой толковать, чоловиче!

— Оно точно, люди мы темные, неученые...

— Ну, и слушай, коли разъ поучаютъ.

Оставивъ въ сторонѣ частную исторію о Робинзонѣ, Гоголь возвратился къ общей исторіи развитія земледѣлія у осѣдлыхъ народовъ; разсказалъ о томъ, какъ постепенно пришли къ правильному сѣвообороту, къ разведенію чужеземныхъ растений, которыя, приспособляясь къ новому климату, къ новой почвѣ, мѣняють и цвѣтъ и форму.

— Но благоразумный хозяинъ обращаетъ вниманіе на то, чтобы растеніе не выродилось,—продолжалъ молодой агрономъ докторальнымъ тономъ,—потому что одно растеніе любитъ больше глинистую почву, другое—песчаную, третье—суглинки или супески...

— И вы-жъ такъ, панъчу, знаете всѣ сорта почвы!—съ видомъ самаго непритворнаго изумленія воскликнулъ внимательный слушатель.—Велики чудеса твои, о Господи! А мы-то, дурни, сидимъ тутъ себѣ на чистомъ черноземѣ, хоть рой въ глубь на три аршина, и не вѣдаемъ, какая еще тамъ гдѣ глинистая, песчаная или другая почва!

«Опять, злодѣй, срѣзалъ! И то вѣдь, на что ему здѣсь разныя почвы, коли онъ весь вѣкъ свой сидитъ на одномъ черноземѣ?»

— Черноземъ, строго говоря, даже не почва, — заговорилъ Гоголь вслухъ. — Это — перегной растительныхъ и животныхъ остатковъ: въ болотистыхъ мѣстахъ эти гнѣющія растенія и животныя сотнями лѣтъ превращаются въ торфъ, на сухихъ же мѣстахъ — въ черноземъ. Иначе сказать, черноземъ — созданное самою природою удобрение, а чѣмъ гуще удобрение, тѣмъ, понятно, лучше.

— Вонó такъ! — подтвердилъ Левко и почесалъ за ухомъ. — А мы-то здѣсь (простите неучамъ!) все удобрение наше кизякомъ въ печи сжигаемъ, на вѣтеръ пускаемъ.

— Такъ напередъ по крайней мѣрѣ знать будете на поле свозить.

— До послѣдней лопаты свеземъ. Одна бѣда вотъ...

— Ну?

— На черноземѣ-то хлѣбъ у насъ и безъ того хорошо родится; а какъ лишняго удобрения прибавишь, такъ, того гляди, колосья поляжетъ да ржавчина, головня заведется. Какъ тутъ быть прикажете?

«Что онъ, въ самомъ дѣлѣ, несмышленный младенецъ или только такъ прикидывается?»

— А это смотря по обстоятельствамъ, — нашелся Гоголь: — гдѣ почва достаточно жирна, тамъ жиру, разумѣется, прибавлять нечего.

— А пахать прикажете?

— Пахать?.. Да для чего, коли черноземъ?

— Черноземъ, вонъ точно, да дуже плотный: не пахать, такъ ничего, поди, не взойдетъ. Но воля ваша панская...

«Фу ты пропасть! На каждомъ словѣ ловить! Этого доку не перемудришь. Какъ бы благороднымъ манеромъ отретироваться?»

— Ужо еще потолкуемъ, когда вмѣстѣ обойдемъ поля,—оборвалъ собесѣдованіе Гоголь, приподнимаясь съ кресла.—Одинъ еще только вопросъ: въ нашемъ прудѣ вѣдь не водится раковъ?

— Ни, панъчу, не водятся.

— Между тѣмъ это очень прибыльная статья! Французы въ Парижѣ зарабатываютъ себѣ ими сотни тысячъ.

— А возить ихъ мы будемъ тоже къ французамъ?

— Зачѣмъ къ французамъ, коли свой Парижъ—Москва подъ бокомъ? Надо только принять мѣры, чтобы дорогою не поколѣли, а зиму-то въ прудѣ уже прозимуютъ.

— Такъ наконецъ-то мы тоже познаемъ, гдѣ раки зимуютъ!

— Ну, это-то, приятелю, ты давнымъ-давно и безъ меня уже позналъ. Откосы у пруда обложимъ камнями...

— А камни тоже изъ Москвы вывеземъ?

— Гмъ... У насъ ихъ тутъ, въ черноземной полосѣ, точно, маловато... Ну, тамъ какъ-нибудь обойдемся. А чтобы вкусъ раковъ былъ нѣжнѣе,

будемъ кормить ихъ мясомъ. Какимъ вотъ только, сообразить еще надо.

На тонкихъ губахъ Левка зазмѣилась недобрая усмѣшка.

— Да утячимъ, чего лучше? — предложилъ онъ. — Качокъ (утокъ) у насъ на хуторѣ, что журавлей въ небѣ. Да и огороду отъ нихъ легче будетъ. Двухъ бобровъ за разъ уьемъ.

— Двухъ бобровъ и одну бобреху, — съ ударе-
ніемъ сказалъ Гоголь, которому вспомнилось о
давнишней контрѣ между приказчикомъ и стар-
шею скотницей изъ-за верховной власти надъ
скотнымъ и птичьимъ дворомъ. Левко, очевидно,
былъ радъ случаю насолить своей соперницѣ. —
Чтобы не откладывать дѣла въ долгій ящикъ,
сходи-ка, братику, за оберъ-скотницей.

— За Ганной? Сходить — отчего нѣтъ; только
придетъ ли вздорная баба!

— А что?

— Да коровъ сейчасъ только съ поля при-
гнали и доять.

— Тутъ ее беспокоить, точно, уже не при-
ходится. Ну, что-жъ, сами къ ней побезпокоимся
да при сей удобной оказіи и молочный департа-
ментъ ея обревизуемъ.

— А мнѣ теперича можно идти?

— Нѣтъ, друже милый, ты пойдешь со мною.
Какъ же тебѣ, главному ревизору, не быть при
ревизіи?

Въ виду лѣтняго времени доеніе коровъ на
скотномъ дворѣ происходило не въ хлѣвѣ, а подъ

открытымъ навѣсомъ. Работа была въ полномъ разгарѣ. Изъ 30-ти слишкомъ коровъ половина была уже выдоена; остальные въ ожиданіи своей очереди были заняты жвачкой

— Здорови булы, титусю! — привѣтствовалъ Гоголь «оберъ-скотницу», женщину дородную, зрѣлыхъ уже лѣтъ и, судя по темному пушку надъ верхнею губой, мужественнаго характера.

У двухъ подначальныхъ коровницъ, молоденькихъ еще дивчинъ, появленіе панича вызвало нѣкоторый переполохъ, такъ какъ туалетъ ихъ былъ болѣе приспособленъ къ доенію, чѣмъ къ приему столь рѣдкаго гостя. Но начальница тотчасъ заслонила ихъ своимъ полнымъ корпусомъ и, подбоченясь, огрызнулась на приказчика: гдѣ у него, молъ, совѣсть приводить сюда панича? а затѣмъ болѣе мирнымъ тономъ предложила послѣднему убираться вонъ.

— Добре, бабо, добре! — отозвался паничъ, благодушно похлопывая по плечу ворчунью. — Я отлично понимаю, что съ коровами, какъ съ особами нѣжнаго пола, требуется обращеніе тонкое, деликатное: не пугать, не толкать, чтобы, Боже упаси, не приняли къ сердцу и не задержали молока.

— А коли понимаете, то и идите себѣ своею дорогою!

— Пойду, Ганнушка, какъ только выясню одну статью, о которой у насъ съ Левкомъ былъ вотъ сейчасъ разговоръ. Изъ домашней птицы ты всего больше вѣдь утокъ разводишь?

Изъ глазъ Ганны скользнулъ ядовитый взглядъ въ сторону ея стариннаго недруга.

— Ова! Иродъ сей насаказалъ ужъ вамъ, что отъ качокъ моихъ больше вреда, чѣмъ пользы: что огороды ему портятъ? Не вѣрьте лгуну: брешеть собачій сынъ! Самъ каченѣтка отъ горобчѣнятка (воробышка) не распознаетъ. Отъ качки и перото добре, и мясе жирнѣнке, смачнѣнке; а для разводу птица самая что ни на есть непривередлива: какъ вылупится изъ яйца, черезъ двѣ недѣли не боится уже холода, ѣстъ что случится, хворобы, почитай, что не знаетъ; а хлопотъ за нею ровно никакихъ: и курка и кошка одинаково ее высидить и вырастить

— О! и кошка?

— И кошка.

Съ снисходительною улыбкой, съ какою она рассказывала бы капризному ребенку занимательную побасѣнку, чтобы поскорѣе только отъ него отвязаться, оберъ-скотница повѣдала паничу подлинную исторію 16-ти утятъ, которыхъ съ мѣсяцъ назадъ въ Васильевкѣ высидѣла курица, а затѣмъ приняла подъ свою опеку бездѣтная кошка Маруська. Какъ съ собственными котятами, она нянчилась-де съ малышами: отгоняла отъ нихъ другихъ кошекъ, собакъ и свиней, кормила своимъ кормомъ—молокомъ, хлѣбомъ да мясомъ, а какъ наѣдятся досыта—брала ихъ подъ себя, ровно насѣдка. Ну, вырастила на славу!

— И все-то для того, чтобы въ концѣ концовъ ихъ общипать и скушать?—досказалъ Гоголь.

— Не всѣхъ!—подхватилъ со смѣхомъ Левко:— съ Ганной подѣлились; и меня, спасибо, угостила.

— Бухай да не ухай!—окрысилась на насмѣшника Ганна.—Щобъ ты подавився первымъ кускомъ, якъ будешь зновъ исты качку...

— Не доведется, моя матинко: панычъ хочеть разводить въ прудѣ раковъ; а выкармливать-то чѣмъ, какъ не твоими качками?

— Ну вже такъ! Да провались я на семь самомъ мѣстѣ...

— Не журыся, Ганнушка, не волнуйся попустому! все это еще вилами по водѣ писано,—счель нужнымъ успокоить ее Гоголь.—Маменька, видишь ли, желаетъ, чтобы я вообще ознакомился теперь съ нашимъ хуторскимъ хозяйствомъ. Вотъ я и заглянулъ сюда, въ твое коровье царство.

И, чтобы убѣдить царицу этого царства, что самъ онъ тоже по ея части кое-что да смыслить, онъ принялся выкладывать передъ нею нахватавшую за послѣдніе два дня книжную мудрость о кормленіи коровъ на молоко и на убой, о пользѣ для дойныхъ коровъ моціона и о кормленіи ихъ морковью да брюквой.

— Отъ моркови молоко, какъ извѣстно, дѣлается гуще, — говорилъ онъ,—отъ брюквы же вкуснѣе и удаивается его вдвое больше. Такъ я вотъ съ своей стороны посовѣтывалъ бы тебѣ...

Ганна, сердито отмалчивавшаяся, тутъ не вытерпѣла.

— Помяни, Господи, царя Соломона и всю пре-

мудрость его! Чѣмъ кормить скотину—и безъ вашей премудрости, слава Богу, знаемъ.

Левко, исподтишка подсмѣивавшійся надъ обоими, подлилъ еще въ огонь масла.

— И ничего-то ты, бабо, не знаешь! Его милость панычъ—скубентъ ученый, а ты что за паца? Дура стара! Онъ всякій глечикъ (кувшинъ) молока по книжкамъ у тебя впередъ учтеть.

— Оттакъ бакъ!

— А что жъ, и учту, — подтвердилъ Гоголь, подзадоренный плохо-скрытою ироніей приказчика,—при условіи, конечно, что ты, Ганна, ведешь правильныя записи удоевъ.

— Яки тамъ ще запыси! Шо выдоится—то и добре. Запысю ни прибавишь, ни убавишь.

— Скажи просто, что ты неграмотная; ну, это я понимаю. Но какъ же ты можешь судить о томъ, идетъ ли кормъ впрокъ коровѣ, коли ты ее не провѣряешь? Вмѣсто записей, ты могла бы хоть нарѣзками на стойлѣ, что ли, отмѣчать: какой коровѣ сколько и какого дано корму, сколько отъ нея выдоилось крынокъ..

— А отъ я васъ самихъ, панычу, заставила бъ подоить корову...

— А что ты думаешь?—вмѣшался опять Левко.—Его милость панычъ и про то, какъ слѣдуетъ доить, въ книжкахъ своихъ вычиталъ, и самое тебя, стару, еще въ науку возьметъ.

Нахалъ явно уже издѣвался надъ нимъ! Погоди жъ, пріятель.

— Этой одной науки только я еще не про-

шелъ на дѣлѣ,—сказалъ Гоголь—въ Нѣжинѣ у насъ, къ сожалѣнію, нѣтъ такого профессора. Но ты, Левко, конечно, профессоръ и по всему молочному хозяйству. Покажи-ка мнѣ сейчасъ, сдѣлай милость, какъ доить.

Приказчикъ опѣшилъ и смущенно покосился на трехъ бабъ.

— Что вы, пане добродію! Коли хотите ужъ поучиться, такъ вотъ бабы васъ поучать.

— А самъ ты неужто такъ и не умѣешь?

— Хибѣ се мужыцьке дило!

— Вообще-то не мужское, но настоящій приказчикъ долженъ знать всякую штуку, чтобы при случаѣ тоже показать. Поклонись же въ ножки профессоршѣ, чтобы взяла тебя въ науку. Не откажи ему, Ганна!

Степенная коровница еще менѣе Левка признавала баловство въ своемъ дѣлѣ; но предложеніе панича было ей на руку: разъ-то хоть можно было по душѣ натѣшиться надъ ненавистнымъ приказчикомъ.

— Да хоть сейчасъ почнемъ,—сказала она, засучивая рукава. — Только напередъ, батечку мій, надо тебѣ платкомъ повязаться, щобъ изъ засмальцѣванаго чуба твоего ни волоска въ молоко не попало. На ось, такъ и быть, мой платокъ. Да руки вымой: вонъ вода въ ушатѣ; съ грязными ручищами я тебя до коровъ моихъ не допущу.

— Что же ты, братику? чего ждешь-то?—спросилъ Гоголь, съ трудомъ сохраняя серьезный видъ.

— Говорила тебѣ маменька или нѣтъ, чтобы ты безпрекословно исполнялъ всякое мое приказаніе?

— Говорили, точно...

— Ну, такъ вотъ и слушайся: сію минуту умой руки, повяжись платкомъ, а затѣмъ дѣлай, что укажетъ тебѣ Ганна.

Дѣло приняло такой крутой для приказчика оборотъ, что даже на опущенныхъ губахъ оберъскотницы показалась злорадная усмѣшка, а молодья доильщицы зафыркали.

Хмурый и злой, съ стиснутыми зубами, съ сжатыми кулаками, Левко не трогался съ мѣста. Но прямо послушаться полновластнаго панича ему, крѣпостному человѣку, очевидно, не приходилось. И, скрѣпя сердце, онъ наклонился къ уху панича, шепнулъ ему чуть не съ мольбою:

— Смилуйтесь, пане ласкавый! Будутъ ли меня еще слушаться на хуторѣ, сами посудите, коли вы шута изъ меня дѣлаете?

Слишкомъ ронять значеніе приказчика на хуторѣ, дѣйствительно, было не практично; благо, наказанъ уже за свое высокомѣріе и самъ просить pardona.

— Пошутили—и ладно,—сказалъ Гоголь и, милостиво кивнувъ на прощанье коровницамъ, ушелъ вонъ.

Левко плелся за нимъ слѣдомъ тише воды, ниже травы и, только выйдя за калитку скотнаго двора, рѣшился спросить, когда-де его милости угодно будетъ поля осмотрѣть?

— Когда опять удосужусь,—быль отвѣтъ.—

Мы съ тобою, кажется, поняли теперь другъ друга?

Выразительное подмигиванье, которымъ сопровождались эти слова, ободрило опять плута-приказчика.

— Поняли, пане, — отвѣчалъ онъ. — Рыбакъ рыбака видитъ издалека, якъ москали кажутъ.

— Что ты, братецъ, рыбакъ и мастеръ ловить рыбу даже въ мутной водѣ—въ этомъ я никогда не сомнѣвался. Но теперь ты, я думаю, убѣдился, что и я не даю себѣ пальца въ ротъ класть. Т'акъ, стало, и намотай себѣ на усъ. А засимъ, друже, здоровъ бувъ.

Покончивъ на этомъ обзорѣніе хуторскаго хозяйства, Гоголь поднялся къ себѣ на вышку и тутъ, какъ послѣ тяжелаго сна, сталъ потягиваться, зѣвнулъ глубоко-глубоко во весь ротъ: цѣлая гора вѣдъ у него съ плечъ скатилась!

Когда затѣмъ какъ-то Марья Ивановна справилась у сына о результатѣ его собесѣдованія съ Левкомъ, онъ покраснѣлъ, но нашелъ нужнымъ выгородить приказчика.

— Для хозяйства, маменька, Левко просто находка, золотой человѣкъ. Аппетитъ у него нѣкоторый есть; но курочка по зернышку клюетъ, а сыта бываетъ.

— Да развѣ нельзя было его уличить на чемъ?

— Можно было бѣ, но, уличивъ, пришлось бы смѣстить и промѣнять, пожалуй, на волка. Такъ не лучше ли скромную курочку покормить,

чѣмъ жаднаго волка? Впрочемъ я его все-таки не буду упускать изъ виду; будьте покойны.

И онъ не упускалъ его изъ виду: бывалъ и на лугахъ и на поляхъ, когда тамъ косили сѣно, жали хлѣбъ; любуясь мирною сельскою картиною, прислушиваясь къ болтовнѣ и къ пѣснямъ косарей и жницъ, самъ тоже съ ними заговаривалъ, балагурилъ; но репримандовъ ни приказчику, никому вообще уже не дѣлалъ. И безъ того вѣдь все шло какъ по маслу: Левко, очевидно, «намоталъ себѣ на усъ» поученіе панича и старался теперь во всемъ ему угодить, услужить.

Въ саду и въ домѣ однако, надо сказать, молодой хозяинъ оставилъ еще за собою свободу дѣйствій: нерѣдко можно было его видѣть или роющимъ заступомъ въ грядкахъ, или стоящимъ въ бѣломъ фартукѣ на высокой скамьѣ въ залѣ, въ гостиной, вооруженнымъ громадною кистью и расписывающимъ по стѣнамъ бордюры, букеты и арабески. Утренніе же часы онъ посвящалъ обыкновенно урокамъ географіи и исторіи съ двумя сестрицами: Анненькой и Лизанькой, которыя, благоговѣя передъ братомъ-студентомъ, слушали его очень внимательно и повторяли за нимъ чуть не слово въ слово весь урокъ. Никоша былъ теперь вѣдь уже взрослымъ, пересталъ ихъ дразнить, какъ бывало прежде, обходился съ ними снисходительно-ласково, часто надѣлялъ ихъ гостинцами, которые у него на вышкѣ не переводились, а съ маленькой Лизанькой, любимой своей сестрѣнкой, самъ даже иной разъ рѣзвился, сажалъ ее вер-

хомъ на Дорогого и бѣгалъ рядомъ, погоняя дога плеткой. О новыхъ стихахъ своихъ онъ уже не заикался; а сестры, да и мать забыли объ нихъ, точно ихъ и не бывало.

Охотнѣе же всего уходилъ онъ теперь куда-нибудь подальше, въ безлюдную степь, гдѣ проводилъ цѣлые часы, растянувшись въ высокой травѣ. Прямо надъ головой его возвышались, привѣтно кивая, душистые степныя травы, а надъ верхушками ихъ въ недосыгаемой вышинѣ по глубокой лазури величаво-медленно плыли, бѣлыя какъ морская пѣна, облака. Кругомъ же—звучная степная тишина: жужжанье и стрѣкотъ насѣкомыхъ, птичьи пересвисты и щебетанье. Порою только въ эту однообразную музыку природы прорвется отдаленный скрипъ немазанныхъ колесъ и монотонный человѣческій напѣвъ. Тогда лѣнивецъ нашъ приподниметъ надъ травю голову, облокотится—и на свѣтломъ фонѣ неба темными силуэтами вырисуются передъ нимъ пара воловъ и телѣга, нагруженная снопами, а на возу самъ пѣвецъ, пузатый, усатый малороссъ, который, покачиваясь какъ-бы въ полудремотѣ и самъ того не сознавая, тянетъ безъ конца одинъ и тотъ-же излюбленный народный мотивъ. И опустится юноша снова въ мягкую траву. Тихо-тихо замираетъ въ ухахъ его заунывная пѣсня, а передъ сомкнутыми глазами возстаетъ уже другая картина изъ былыхъ рассказовъ покойнаго отца о сѣдой старинѣ: по той-же украинской степи на борзыхъ коняхъ несутся лихіе всадники съ пищалями за спи-

ною: одинъ, другой, третій, десятый, то ныряя въ зеленомъ океанѣ степныхъ травъ, то мелькая надъ ихъ поверхностью своими усатыми, молодецкими головами. Скачутъ и поютъ—одинъ запѣваетъ, другіе подтягиваютъ. Давно уже самихъ ихъ и слѣдъ простылъ, а пѣсня ихъ все еще доносится откуда-то издалёка. О чемъ она? О томъ, конечно, какъ они всю Сѣчью ударятъ на басурмановъ... Эхъ, кабы записать дословно все слышанное про славныхъ запорожцевъ! Но мало-ли и въ наше время своего рода басурмановъ—«крапивнаго сѣмени» въ разныхъ судахъ да канцеляріяхъ? Вотъ на кого бы ударить, кого бы разгромить! И разгромить онъ ихъ однажды, о! непременно, во что бы то ни стало, разгромить...

Вдругъ будущій громитель современныхъ басурмановъ встрепенулся: совсѣмъ около него раздался взмахъ тяжелыхъ крылъ; а вслѣдъ затѣмъ показывается и нарушительница его покоя—большущая неуклюжая дрофа. Какъ исполинская птица Рокъ изъ «Тысячи и одной ночи» высится она надъ нимъ и сонными глазами шурится на распростертаго въ травѣ. Убѣдившись же, что существо это не отъ міра сего, тотъ-же мечтающій пень, птица-философъ залѣзаетъ клювомъ себѣ подъ крыло, чтобы удалить непрошеннаго паразита, и затѣмъ съ тою-же невозмутимою флегмой сама удаляется: «не хочу, молъ, мѣшать тебѣ, чоловіче; мечтай, пока мечтается».

И мечталъ онъ... Глядь—и вакаціямъ конецъ!





ГЛАВА ТРЕТЬЯ.

Экскурсія въ Константинополь.

Обратный путь изъ деревни въ Нѣжинъ Гоголь совершилъ по обыкновенію въ сообществѣ своего старѣйшаго друга — Данилевскаго. Одновременно съ ними налетѣли со всѣхъ концовъ Малороссіи и прочіе ихъ однокурсники-студенты. Одинъ изъ нихъ, Божко, первый ученикъ въ классѣ, встрѣтилъ двухъ друзей тотчасъ съ животрепещущею новостью:

— А слышали вы, господа, что нашего полку прибыло?

— Къ намъ поступилъ новичокъ?

— Новичокъ, да изъ старичковъ: знаемъ мы его уже сколько лѣтъ.

— Ага! — догадался Данилевскій: — Базили. Вѣрно?

— Вѣрно.

Догадаться Данилевскому было не особенно трудно: Базили, будучи однихъ лѣтъ съ Божко,

Данилевскимъ и Гоголемъ, три года назадъ попалъ только въ самый низшій (первый) классъ, когда тѣ переходили въ четвертый, потому что, грекъ родомъ и уроженецъ Константинополя, онъ всего за годъ передъ тѣмъ прибылъ вообще въ Россію и не зналъ почти, какъ говорится, въ зубъ толкнуть по-русски. Но, уже годъ спустя, онъ настолько наострилъ въ русскомъ языкѣ, что былъ переведенъ изъ перваго класса прямо въ третій, а еще черезъ годъ въ пятый, гдѣ вскорѣ сталъ бы первымъ ученикомъ, еслибы прежній первый ученикъ, Кукольникъ, не приложилъ всѣхъ стараній, чтобы сохранить за собою первенство. Теперь, оказывалось. Базили обогналъ и Кукольника: перешагнулъ черезъ шестой прямо въ седьмой классъ.

— Ай да молодчина!—сказалъ Гоголь.—Не намъ съ тобою, Александръ, чета. Когда-жъ онъ подготовился?

— А лѣтомъ,—отвѣчалъ Божко.—Когда мы отдыхали и баклушничали, онъ корпѣлъ надъ книгами и вотъ выдержалъ-таки тоже на студента. Не мѣшало бы намъ, господа, побрататься съ нимъ, а?

Гоголь только пожалъ плечами на такія «нѣжности», но Данилевскому предложеніе понравилось.

— И то не мѣшаетъ подбодрить его,—сказалъ онъ:—онъ нѣсколько застѣнчивъ, да и гордъ. А ты уже видѣлся съ нимъ, Божко?

— Нѣтъ; я самъ сейчасъ только изъ деревни.

Но я спрашивалъ объ немъ, и мнѣ сказали, что онъ ушелъ съ книжкою въ садъ.

— Ну, да, ему самому, видно, не по себѣ еще съ новыми товарищами.

— Такъ не отыскать ли намъ его теперь же?

— Идемъ; а ты, Божко, скажи ему еще кстати что-нибудь отъ всѣхъ.

Гоголь не говорилъ ни за, ни противъ, однако пошелъ вмѣстѣ съ обоими.

— Идемте-ка тоже съ нами, господа,—предложилъ Данилевскій двумъ другимъ однокурсникамъ, поднимавшимся навстрѣчу имъ по лѣстницѣ, и объяснилъ, для чего.

Въ саду къ нимъ примкнули еще трое. Застали они Базили въ самомъ концѣ боковой аллеи читающимъ книгу. При приближеніи цѣлой компаніи новыхъ товарищей, Базили, стройный, горбоносый брюнетъ, съ натянутою улыбкой приподнялся со скамейки, но еще болѣе смутился, когда Божко обратился къ нему съ торжественнымъ привѣтствіемъ:

— Мы, Базили, очень рады, что приобретаемъ въ тебѣ столь достойнаго товарища. Позволь мнѣ отъ лица всѣхъ поцѣловать тебя!

И, прижавъ его къ сердцу, онъ чмокнулъ его въ обѣ щеки.

— Позволь ужъ и мнѣ,—сказалъ Марковъ, второй послѣ Божко ученикъ въ классѣ, раскрывавая также объята.

— Господи Боже! какое безкорыстіе и благо-

родство!—замѣтилъ Гоголь.—Лобызаются съ опаснѣйшимъ соперникомъ!

— О! онъ намъ не опасенъ,—весело отозвался Божко:—черезъ годъ онъ и насъ оставитъ за флагомъ.

— Тише ѣдешь—дальше будешь.

— Нѣтъ, господа, прошу васъ видѣть во мнѣ совершенно равнаго, — сказалъ Базили самымъ искреннимъ тономъ.—И ты, Яновскій, не считай меня, пожалуйста, выскочкой: я случайно только отсталъ, а теперь опять нагналъ васъ. Никакихъ преимуществъ я передъ вами не имѣю...

— Кромѣ древнихъ языковъ, въ которыхъ ты собаку съѣлъ,—перебилъ его Гоголь.—А начальство наше овсомъ не корми, болтай съ нимъ только по-гречески, по-латыни...

— Такъ я всегда къ вашимъ услугамъ, господа: обращайтесь ко мнѣ, сдѣлайте одолженіе, по обоимъ языкамъ; они вовсе не трудны.

— Словомъ: благородство въ квадратѣ! И по этой части, господа, онъ побилъ насъ въ пухъ и въ прахъ. Но о личности твоей, Базили, мы знаемъ только одно: что ты бѣглый грекъ. Какъ ты однако попалъ къ намъ? куда стремишься? *Cui, quo, quomodo, quando?* (зачѣмъ, куда, какимъ образомъ, когда?) Какъ видишь, въ латыни и мы тоже кое-что маракуемъ.

— Родомъ я, дѣйствительно, грекъ, но родился въ Константинополѣ, откуда семья наша бѣжала четыре года назадъ съ сотнями другихъ христіанъ. Но великодушный императоръ вашъ Александръ

Павловичъ принялъ въ насъ самое теплое участіе; а попечитель здѣшной гимназіи, графъ Кушелевъ-Безбородко, открылъ въ ней тотчасъ 6 бесплатныхъ вакансій для сыновей эмигрантовъ, и я — одинъ изъ этихъ счастливицевъ. Вотъ вамъ, господа, мой краткій формуляръ.

— Но формуляра намъ мало, — сказалъ Данилевскій. — Что ты изъ хорошей семьи, намъ давно извѣстно; точно также, что ты насквозь порядочный человѣкъ: три года вѣдь, слава Богу, вмѣстѣ хлѣбъ-соль ѣли! Но до сегодняшняго дня ты былъ не нашъ, и насъ не особенно интересовало твое curriculum vitae. Ну, а теперь другое дѣло. Бѣгство, конечно, сопровождалось разными романтическими приключеніями...

— И какими! волосъ дыбомъ становится.

— Ну, вотъ, тѣмъ любопытнѣй. О звѣрствахъ турокъ передавали тогда ужасныя вещи, а тутъ, оказывается, ты испыталъ ихъ даже на самомъ себѣ! Разказалъ бы ты намъ теперь, право, всю свою Одиссею.

— Если вамъ угодно, господа...

— Очень даже угодно! Само собою! — подхватило нѣсколько голосовъ. — Тутъ на скамейкѣ всѣ и расположимся. Ты, Базили, садись-ка посередкѣ... А ты, Яновскій, что же? Сдвиньтесь, господа! дайте ему тоже мѣсто.

— Я постою, — сказалъ Гоголь, прислоняясь къ сосѣднему дереву. — Ну, что же? Мы ждемъ.

— Да вотъ не знаю, съ чего начать... — за-

мялся Базили, черты котораго приняли вдругъ грустно-задумчивое выраженіе.

— Начинають обыкновенно съ начала.

— Обыкновенно, да; но въ моемъ случаѣ требуется своего рода введеніе. Прежде, чѣмъ описывать событія, мнѣ надо развернуть передъ вами такъ-сказать планъ дѣйствія. Прошу васъ перенестись со мною на живописные берега Босфора, въ столицу кейфа и собакъ.

— Собакъ? т.-е. турокъ?—переспросилъ одинъ изъ слушателей.

— Нѣтъ, именно собакъ, четвероногихъ породы *canis domesticus*, потому что собака для мусульманина такое же священное животное, какимъ для древнихъ египтянъ былъ быкъ Аписъ. Въ мечетяхъ, наравнѣ съ нищими, кормятъ и собакъ; убить гяура (иновѣрца) для турка легче, чѣмъ убить собаку. Такимъ-то образомъ бродячихъ собакъ тамъ развелось видимо-невидимо, и по ночамъ отъ нихъ даже на улицу не выйти: того гляди, растерзаютъ.

— А сами турки не злой народъ?

— Ничуть. Пока дѣло не коснулось ихъ религіи, они преблагодушны. Турка, этого представителя азіатской нѣги и лѣни, въ обыденной его жизни я вижу не иначе, какъ сидящимъ на мягкомъ диванѣ съ скрещенными ногами и съ дымящеюся трубкой. Европейцы шныряютъ мимо него, мечутся туда да сюда, а онъ безмятежно «кейфуетъ» на своемъ диванѣ и сонно только глазами поводитъ на разстилающійся передъ нимъ Золотой

Рогъ (заливъ константинопольскаго порта) съ безчисленными кораблями и каиками, на полуостровъ серая (султанскаго дворца) съ его древною стѣной и воздушными садами, сквозь зелень которыхъ свѣтятся золотыя крыши, свинцовые купола и бѣлые фантастическіе минареты. Въ душѣ онъ, конечно, презираетъ равно и европейца и мѣстную райю.

— А это что жъ такое?

— Райя—презрительное названіе туземныхъ иновѣрцевъ: грековъ, армянъ и евреевъ. Для европейцевъ, птицъ вольныхъ, перелетныхъ, отведено самое почетное предмѣстье города — Пера. Райя же, которая составляетъ половину всего населенія и находится почти въ равномъ загопѣ, тѣснится въ отдаленныхъ кварталахъ и даже въ цвѣтѣ одежды должна совершенно отличаться отъ мусульманъ: греки ходятъ всегда въ черномъ, какъ-бы въ знакъ вѣчнаго траура по потерянной свободѣ; армяне одѣваются въ коричневый цвѣтъ, а евреи—въ голубой, даже дома у нихъ окрашены въ голубую краску. Точно въ насмѣшку данъ имъ этотъ цвѣтъ—цвѣтъ вѣрности, который впрочемъ по ихъ природной неопытности недолго сохраняетъ у нихъ свою чистоту и обращается въ грязно-сѣрый, какъ и ихъ совѣсть!

— За что это, Базили, ты такъ озлобленъ на евреевъ?

— За что? Когда они, можно сказать, Христа тамъ вторично продали, безчеловѣчнѣе самихъ

турокъ надругались надъ трупомъ нашего патріарха!

— Надъ трупомъ? Такъ его, значитъ, убили?

— Не просто убили, а казнили, какъ преступника.

— Но за что? Что онъ сдѣлалъ такое?

— Ничего не сдѣлалъ; но онъ былъ перво-священникомъ христіанъ, и этого было довольно для изувѣровъ. Греція вѣдь, какъ вы знаете, уже четвертый вѣкъ находится подъ владычествомъ турокъ. Но въ послѣдніе годы положеніе угнетенныхъ становилось все невыносимѣе: каждый паша хозяйничалъ въ своемъ пашалыкѣ какъ разбойникъ, и терпѣніе населенія истощилось. Броженіе началось съ дунайскихъ княжествъ, а оттуда быстро распространилось на Архипелагъ и Греческій полуостровъ, такъ что турецкій гарнизонъ въ большихъ городахъ долженъ былъ запереться въ своихъ цитаделяхъ. На морѣ греки къ началу 1821 г. успѣли также вооружить флотъ въ 180 кораблей. Понятно, что турки до крайности озлобились на мятежниковъ. Въ Константинополѣ озлобленіе ихъ обратилось на богатый греческій кварталъ, фанариотовъ, хотя тѣ пока не принимали видимаго участія въ возстаніи.

— А твои родители, Базили, были также фанариотами?

— Да, отецъ мой занималъ среди тамошней греческой колоніи видное положеніе и принадлежалъ, подобно большинству, къ тайному братству Этерія, которое задалось цѣлью сбросить

ненавистное турецкое иго. Но эти же этеристы дали первый повод туркамъ къ рѣзнѣ. Великимъ драгоманомъ (переводчикомъ) Порты былъ въ то время грекъ Константинъ Мурузи, человѣкъ очень знатнаго рода и чрезвычайно умный и ловкій. И вотъ однажды, когда Мурузи только-что выходилъ изъ дворца великаго визиря, неизвѣстный человѣкъ подаль ему письмо. Письмо было отъ этеристовъ, предлагавшихъ ему содѣйствовать общему національному дѣлу. Пока Мурузи пробѣгалъ письмо, податель скрылся. «Что, если это только ловушка со стороны великаго визиря, чтобы испытать вѣрность драгомана?» подумалъ Мурузи и, какъ человѣкъ очень осторожный, возвратился къ визирю и показалъ ему письмо. Но на свою же гибель!

— Да развѣ можно взыскивать съ человѣка за то, что ему пишутъ другіе?

— Не за это, а за то, что онъ, переводя визирю письмо по-турецки (визирь самъ не зналъ греческаго языка), передалъ его содержаніе не буквально.

— Такъ зачѣмъ же онъ это сдѣлалъ?

— Затѣмъ, чтобы не повторять слишкомъ рѣзкихъ выраженій, обидныхъ для турокъ; при этомъ онъ пропустилъ еще цѣлую фразу, гдѣ въ числѣ участниковъ заговора были переименованы самыя знатныя греки. Визирь милостиво отпустилъ его отъ себя, но вслѣдъ затѣмъ велѣлъ позвать другого драгомана изъ армянъ, который и перевелъ ему письмо отъ слова до слова.

— Ахъ, Іуда предатель!

— Слишкомъ винить его также нельзя: онъ спасалъ свою собственную голову.

— И визирь донесъ обо всемъ султану?

— Донесъ; а на другое утро и Мурузи и братъ его, столь же безвинный, были публично казнены передъ кіоскомъ сераля... Съ этого дня пошли обыски по всему греческому кварталу, аресты и новыя казни. Такъ наступило Свѣтлое Христово Воскресенье. Никогда не забуду этого ужаснаго дня! Матушка ни за что не хотѣла отпускать мужа и со слезами умоляла его остаться дома. Но отецъ былъ старостою патріаршей церкви, и для него было невысказано въ Великій праздникъ не присутствовать при патріаршемъ служеніи. «Но на нынѣшней заутренѣ турки готовятъ, ты самъ вѣдь слышалъ, общую рѣзню!» говорила матушка: «тебя убьютъ, а мы даже и знать не будемъ!» Мнѣ минуло тогда 12 лѣтъ, и изъ всѣхъ братьевъ и сестеръ я былъ старшій. «Не бойтесь, матушка», сказалъ я: «я возьму саблю и пойду съ папой!» Матушка сквозь слезы улыбнулась: «Чтобы и тебя вмѣстѣ съ нимъ убили!» — «И то вѣдь, пускай идетъ со мною», сказалъ отецъ: «по крайней мѣрѣ принесть вамъ вѣсть, еслибы мнѣ не суждено было вернуться. Только саблю-то, милый, оставь-ка лучше дома.» Матушка еще возражала; но наконецъ должна была уступить и благословила насъ обоихъ...

— А вѣдь преинтересно? — перешоптывались межъ собой товарищи храбреца, подталкивая локтями другъ друга.—Что-то дальше будетъ?

— Ч-ш-ш-ш! молчаніе, господа!

— До собора мы съ отцомъ добрались безъ всякой задержки,—продолжалъ рассказчикъ.—Но, Боже, какъ не похожъ былъ этотъ Великій день христіанства на прежніе! Бывало, греки съ женами и дочерьми въ яркихъ праздничныхъ нарядахъ толпами валятъ къ святому храму (въ Свѣтлый праздникъ имъ разрѣшалось, въ видѣ исключенія, наряжаться вмѣсто траурнаго въ цвѣтное платье), а послѣ обѣдни до глубокой ночи на улицахъ всего греческаго квартала музыка, пѣніе, пляска... Сегодня же только самые безстрашные въ своей будничной черной одеждѣ пробирались закоулками въ патріаршій соборъ, и вмѣсто 15-ти тысячъ, стекавшихся туда къ Великой заутренѣ, можно было насчитать теперь только сотню-другую. Началась литургія. Въ ту самую минуту, какъ патріархъ вошелъ въ алтарь, въ соборъ ворвались вдругъ чауши (полицейскіе стражники), чтобы отвести владыку на судъ къ султану. Но когда онъ тутъ, въ полномъ облаченіи, во всемъ величій своемъ, показался въ царскихъ вратахъ, они замерли на мѣстѣ, какъ очарованные. Такъ онъ невозбранно завершилъ богослуженіе, приобщился святыхъ тайнъ и удалился въ свою залу, куда за нимъ послѣдовалъ разговѣться весь синодъ и разныя почетныя лица.

— Въ томъ числѣ и отецъ твой?

— Да, а съ нимъ и я. Не дай Богъ никому такого печальнаго разговѣнья! Всѣ молча переглядывались межъ собой, какъ приговоренные къ

смерти. Одинъ патріархъ лишь не упалъ духомъ и твердымъ голосомъ ободрялъ насъ уповать на Христа Спасителя по примѣру первыхъ христіанъ, которые безъ колебаній шли на всякія муки. Но когда онъ сталъ тутъ раздавать каждому по золотому и по красному яичку и прощаться съ каждымъ, вся зала наполнилась воплями и рыданьями. Благословивъ всѣхъ, владыка съ тѣмъ-же невозмутимымъ величіемъ вышелъ къ стражникамъ: «Теперь я готовъ идти съ вами.» Три митрополита вышли вслѣдъ за патріархомъ, и стражники окружили ихъ вмѣстѣ съ нимъ. Отецъ мой впереди другихъ бросился за уходящими: «Возьмите и насъ съ нимъ!»—«И до васъ уже доберемся, не беспокойтесь!» отвѣчалъ начальникъ чаушей, и они увели съ собою четырехъ мучениковъ...

Базили умолкъ и закрылъ глаза рукою.

— И съ той минуты вы ихъ уже и не видѣли?— рѣшился черезъ нѣкоторое время одинъ изъ товарищей нарушить наступившее тяжелое молчаніе.

— Патріарха мы еще видѣли, но какъ!— съ глубокимъ вздохомъ отвѣчалъ Базили, опуская руку.— Отецъ, какъ староста, замѣшкался въ соборѣ до второго часа. Меня онъ не рѣшился отослать одного домой, и я остался при немъ. Когда мы тутъ вышли изъ собора на паперть, то такъ и обмерли, оцѣпенѣли отъ ужаса. Отъ пристани къ соборнымъ воротамъ шель осужденный уже владыка съ скрученными за спину руками. По сторонамъ его четыре чауша; позади—палачъ съ веревкой... Лицо святителя было блѣдно какъ смерть,

но, какъ всегда, спокойно и величаво. Поодаль— толпа перепуганныхъ христіанъ; въ окнахъ—го- ловы любопытныхъ женщинъ и дѣтей... И что же! когда палачъ принялся за свое ужасное дѣло, до- бровольными помощниками ему явились не турки, нѣтъ, а евреи, которые съ злорадствомъ высыпали изъ своего квартала на казнь главы православной церкви... Увольте меня, господа, отъ подробно- стей!—прервалъ себя съ горечью Базили.—Добро бы хриstopродавцы остановились на этомъ...

— Да чего же еще болѣе?

— Чего болѣе?! Три дня ближнимъ казнен- наго дается сроку, чтобы выкупить его тѣло у палача и предать землѣ. Христіане однако были такъ напуганы, что никто изъ нихъ не посмѣлъ выкупить тѣло патріарха.

— И выкупили его евреи?

— Да, за 800 піастровъ, но для чего? для того, чтобы надъ нимъ надругаться, а затѣмъ бросить въ Босфоръ...

Теперь и слушатели были возмущены не менѣе рассказчика.

— Волны были милосерднѣе людей,—продол- жалъ тотъ:—онѣ прибили тѣло къ одному сла- вянскому бригу въ Галатѣ (предмѣстье Констан- тинополя). Стоявшій на вахтѣ матросъ по обла- ченію узналъ патріарха и поспѣшилъ накрыть трупъ рогожей; а капитанъ велѣлъ принять его изъ воды и спрятать въ трюмъ. Ночью бригъ снялся съ якоря и уплылъ въ Одессу. Здѣсь ему ради обычныхъ формальностей пришлось про-

стоять сутки передъ входомъ въ гавань; а тѣмъ временемъ печальная вѣсть уже облетѣла весь городъ. Когда затѣмъ бригъ входилъ въ гавань подъ траурнымъ флагомъ, всѣ суда, стоявшія на рейдѣ, салютовали святому мученику пушечною пальбою, которая не умолкала до самаго вечера. На слѣдующее же утро состоялись торжественныя похороны, и все христіанское населеніе Одессы шло за гробомъ.

— А ты-то, Базили, остался съ родителями пока еще въ Константинополѣ?

— Остался... и едва-едва также не угодилъ въ петлю...

— Какъ! и тебя хотѣли повѣсить?

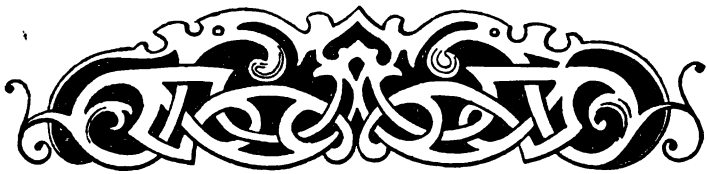
— Всѣхъ насъ. Но это длинная исторія, а вамъ, господа, и безъ того, я думаю, надоѣло уже слушать...

— Ахъ, нѣтъ, ничуть!—увѣрилъ единодушный хоръ слушателей.

Познакомиться съ похождениями самого Базили имъ однако не пришлось, потому что въ это самое время за ними пришелъ сторожъ съ приглашеніемъ пожаловать къ вечернему чаю. Рѣшено было дальнѣйшее слушаніе исторіи Базили отложить до ночи въ спальнѣ, гдѣ никто имъ уже не помѣшаетъ.

— Главное же,—добавилъ Гоголь,—что ночью страшное вдвое страшнѣе, а вѣдь чѣмъ жутче, тѣмъ лучше!





ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

Какъ спасся Базили.

Вотъ и ночь, которая для юныхъ обитателей нѣжинской гимназiи высшихъ наукъ наступала тотчасъ послѣ ужина и вечерней молитвы, съ боемъ 9-ти часовъ. Пансионеры всѣхъ трехъ возрастовъ чинно лежатъ по своимъ кроватямъ въ трехъ смежныхъ, соединенныхъ между собою дверьми спальняхъ. Дежурный сторожъ тушитъ лампы, а вмѣстѣ съ нимъ удаляется и дежурный надзиратель, пожелавъ молодежи «доброй ночи». Воцаряется и «добрая ночь». Но не надолго: пять минутъ спустя, въ спальнѣ старшаго возраста картина перемѣнилась: одна изъ лампъ, ближайшая къ кровати Базили, снова зажжена, а на краю кровати, какъ и на двухъ сосѣднихъ и на пододвинутыхъ табуретахъ, группируются, закутавшись въ свои одѣяла, всѣ студенты-однокурсники рассказчика, а также избранные изъ прежнихъ его одноклассниковъ:



Константинъ Михайловичъ
БАЗИЛИ
(въ 1850-хъ годахъ).

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is mostly illegible due to fading and bleed-through, but some words like "M. J. [unclear]" and "M. J. [unclear]" are visible.

Кукольникъ, Халчинскій, Прокоповичъ. Кѣмъ-то изъ студентовъ двухъ старшихъ курсовъ является сперва по этому поводу неудовольствіе: что время спать, а не болтать. Но когда дѣлается извѣстною тема предстоящаго разказа, то и кое-кто изъ недовольныхъ присоединяется къ слушателямъ.

— Однако изъ предосторожности не мѣшало бы, я думаю, поставить въ коридорѣ махальнаго? — замѣтилъ студентъ старшаго курса и старшій другъ Гоголя, Высоцкій.

— А вотъ барончикъ съ удовольствіемъ постоитъ тамъ,—сказалъ Гоголь:—кому охранять отечество отъ нашествія иноплеменныхъ, какъ не благородному дону и гидальго?

— Понятное дѣло! Иди-ка, барончикъ, иди! — подхватили окружающіе.

Простофиля-товарищъ ихъ, Риттеръ (которому, какъ припомнятъ читатели первой нашей повѣсти о Гоголѣ, было присвоено, въ числѣ цѣлой массы кличекъ, и прозвище «барончикъ»), хотѣлъ было протестовать, но покорился единогласному рѣшенію товарищей, когда Базили обѣщалъ ему при случаѣ повторить свой разказъ.

— Итакъ я буду продолжать съ того момента, на которомъ давеча остановился...—началъ Базили.

Но Высоцкій перебилъ его:

— Постой, погоди. Кто изъ васъ, господа, слышалъ начало?

Оказалось, что половина присутствующихъ не слышала.

— Такъ за что же мы-то обойдены? Начинай ab ovo.

— Но каково Яновскому и другимъ слышать то-же самое дважды?—возразилъ Базили.

— Ну, братику, объ этомъ-то дай судить намъ самимъ!—сказалъ Гоголь.—Добрую книгу аматеры во второй разъ смакуютъ еще лучше.

— Какъ прикажете,—подчинился Базили и рассказалъ то-же самое вторично, но, какъ хорошій рассказчикъ, другими словами и съ нѣкоторыми характеристичными дополненіями, которыя придали его повѣствованію и для прежнихъ слушателей новую окраску.

Тутъ отъ входныхъ дверей съ коридора донеслось громкое, многократное чиханье. Всѣ невольно оглянулись. Чихаль, оказалось, махальный Риттеръ: будучи не изъ храбраго десятка и любопытствуя хоть однимъ ушкомъ послушать, онъ предпочелъ, вмѣсто прохаживанія по неосвѣщенному коридору, стоять у дверей, гдѣ его, завернутаго въ одѣяло, и прохватило, видно, сквознякомъ.

— Э-э-э!—вскричалъ Высоцкій.—Такъ-то ты, любезный, исполняешь свой гражданскій долгъ? Поди-ка сюда, поди на расправу.

— Да мнѣ же скучно, господа, ей-Богу...—жалобно оправдывался Риттеръ.

— И солдату на часахъ не весело. А знаешь ли, Мишель, какому наказанію подвергается часовой за самовольную отлучку съ своего поста?

— Разстрѣлянню, кажется.

— Ну, вотъ. Но мы теперь не въ Нѣжинѣ, а въ Константинополѣ. Скажи-ка, Базили, къ какой казни его присудили бы по турецкимъ законамъ?

— Казни у турокъ очень разнообразны,— объяснилъ Базили:— разбойниковъ сажаютъ на колъ, гяуровъ вѣшаютъ или обезглавливаютъ, военныхъ душатъ, «улемовъ», т.-е. юристовъ и духовныхъ, толкутъ живыми въ ступѣ, пашамъ посылаютъ почетный шнурокъ или чашку яда...

— Словомъ, чего хочешь, того просишь,— сказалъ Высоцкій.— Ближе всего, конечно, было бы отнести нашего подсудимаго къ улемамъ-юристамъ и истолочь его въ ступѣ. Но, во-1-хъ, онъ еще преплохой юристъ, во-2-хъ, у насъ нѣтъ тутъ подъ рукой ступки на его несуразный ростъ, а въ 3-хъ, мы—судьи праведные и милостивые. Всѣ мы здѣсь въ чернилахъ рождены, концомъ пера вскормлены. Чего же проще присудить его—испить чашу хоть и не яда, то чернилъ во здравье свое и наше.

— Чего лучше? Такъ тому и быть!—одобрили со смѣхомъ окружающіе судьи.

— А вотъ кстати и чернила,—подхватилъ Григоровъ, самый отпѣтый школьникъ.

Вскочивъ съ своего табурета, онъ досталъ съ ближайшаго окна полную чернильницу и поднесъ ее осужденному:

— Bitte, Herr Baron!

— Помилуйте, господа...—пролепеталъ Риттеръ.—Вѣдь вы же это не въ серьезъ!

— Какъ не въ серьезъ! Подержите-ка его, господа, чтобы не очень кобенился, а я его угощу.

Розы на цвѣтушихъ щекахъ барончика поблекли до бѣлизны лилій.

— Простите, господа!—слезно уже взмолился онъ.—Вы знаете вѣдь, какая у меня глупая натура: какъ только проглочу что-нибудь противное, такъ сію же минуту...

— Фридрихъ Великій на сцену?—досказалъ Высокій.—Да, въ этомъ прелести мало. Простить его развѣ на сей разъ за его глупую натуру?

— Если онъ попроситъ прощенья, какъ слѣдуетъ, на колѣняхъ,—замѣтилъ Гоголь.

— Вотъ это такъ. На колѣни, барончикъ! Ну, чего ждешь еще? На колѣни!

Что подѣлаешь съ неумолимыми? Бѣдняга опустился на колѣни.

— Не будешь впередъ?

— Не буду...

— Ну, Богъ проститъ. Въ утѣшенъе могу сообщить тебѣ приятную новость: нынче на лекціи у насъ Никольскій даже похвалилъ намъ тебя.

— Правда?—усомнился Риттеръ, неизбалованный похвалами профессоровъ.

— Что такое правда, что ложь? Если я напр. дураку говорю, что онъ осель, то это правда или ложь?

— Но это, кажется, уже личности!

— Ну, вотъ, по своей «глупой натурѣ» принялъ опять на свой счетъ! Мало ли, братъ, и безъ тебя ословъ на свѣтѣ? Но что ты не изъ послѣднихъ—это видно изъ похвалы Никольскаго!

— А что же онъ сказалъ про меня?

— Да вотъ, когда одинъ изъ нашей братіи (кто—исторія умалчиваетъ!) понесъ чепуху, Парфеній Ивановичъ и говоритъ ему: «у васъ, почтеннѣйшій, голова набита тѣмъ-же мусоромъ. что у Риттера.» Чѣмъ не похвала? Съ выпускнымъ поравнялся! Ну, а теперь маршъ опять въ коридоръ и не зѣвать.

При общемъ хохотѣ товарищей разочарованный махальный поплелся въ коридоръ. Но едва лишь сдѣлалъ онъ тамъ въ непроглядной темнотѣ нѣсколько шаговъ, какъ въ отдаленіи блеснулъ свѣтъ и показался инспекторъ Моисеевъ съ зажженнымъ шандаломъ въ рукахъ. Риттеръ бросился со всѣхъ ногъ обратно въ спальню.

— Кирилль Абрамовичъ!

Какъ сонмъ ночныхъ привидѣній при первомъ крикѣ пѣтуха, вся размѣстившаяся вокругъ Базили молодежь сорвалась съ насиженныхъ мѣстъ и разлетѣлась по своимъ кроватямъ. Лампа мгновенно потухла. Обошлось дѣло, разумѣется, не безъ шума, который не могъ ускользнуть отъ чуткаго слуха молодого инспектора. Но Кирилль Абрамовичъ, какъ человѣкъ деликатный, не торопился накрыть ослушниковъ, предпочитавшихъ болтовню ночному отдыху, и пѣвучимъ скрипомъ своихъ модныхъ козловыхъ сапогъ какъ-бы нарочно еще предупреждалъ ихъ о своемъ приближеніи. Вошелъ онъ сперва въ спальню младшаго возраста, между кроватями дѣйствительно уже спавшихъ мальчиковъ прослѣдовалъ далѣе къ среднему возрасту, а оттуда и въ опочивальню господъ

студентовъ. Не замедляя шага и не озираясь по сторонамъ, онъ на цыпочкахъ направился прямо къ выходной двери и—скрылся. Свѣтъ шандала въ коридорѣ постепенно померкъ, скрипучіе шаги удалились и наконецъ совсѣмъ стихли.

— Возстаньте всѣ!—раздалась команда.

Лампа тотчасъ вспыхнула съ прежнею яркостью, и та-же аудиторія сучилась около рассказчика, увеличившись еще однимъ слушателемъ—Риттеромъ, съ котораго сложена была теперь обязанность караульнаго.

— Позорное убійство нашего патріарха совершилось безъ протеста со стороны запуганныхъ грековъ, — приступилъ снова къ своему повѣствованію Базили,—и это было какъ-бы сигналомъ для турецкой черни—ни одному уже греку не давать пощады. Предводительствуемые дервишами, тысячи этихъ фанатиковъ рыскали по греческому кварталу, грабили наши дома и церкви, истязали, убивали взрослыхъ и дѣтей. Кто только могъ—спасался бѣгствомъ на иностранныхъ корабляхъ. Мой отецъ не имѣлъ личныхъ враговъ среди благонамѣренныхъ турокъ; напротивъ того, у него было между ними не мало доброжелателей. И вотъ однажды, недѣли двѣ спустя послѣ казни патріарха, отцу встрѣтился на улицѣ почтеннаго вида турокъ, который служилъ у одного изъ его сановныхъ доброжелателей. Турокъ хотѣлъ было незамѣтно прошмыгнуть мимо. Но отецъ дружелюбно, какъ всегда, окликнулъ его: «Кефенезеимъ

эфендимъ» *). Тому ничего не оставалось, какъ приложить руку къ губамъ, ко лбу и отвѣчать «привѣтствіемъ мира»: «Алейкюмъ селамъ» **). Но, взглянувъ при этомъ въ лицо отца, онъ должно-быть почувствовалъ жалость, потому что тихо прибавилъ: «Ты, пріятель, что-то блѣденъ; ты нездоровъ; тебѣ было бы полезно перемѣнить воздухъ—чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше; всего лучше даже сегодня.»

— Другими словами: «утекай, милый другъ, безъ оглядки во всѣ лопатки?»—замѣтилъ Высоцкій.—И отецъ твой, конечно, утекъ?

— А что же ему оставалось? Какъ староста патріаршей церкви, онъ былъ уже несомнѣнно намѣченъ въ числѣ новыхъ жертвъ. Охотнѣе всего, понятно, онъ поднялся бы всѣмъ домомъ. Но тогда на него сейчасъ обратилось бы вниманіе турецкихъ властей. Поэтому ни съ нами, дѣтьми, ни съ прислугой онъ даже не простился, чтобы никто изъ насъ плачемъ или словомъ ненарокомъ его не выдалъ. Матушкѣ же онъ далъ подробную инструкцію, какъ вести себя безъ него, и самъ сжегъ еще всѣ бумаги, которыя могли бы насъ скомпро-

*) «Какъ поживаете?» Буквально же: «какъ кейфуетъ эфенди?».

**) По преданію мусульманъ, Магометъ послѣ первой встрѣчи своей съ архангеломъ Израфиелемъ слышалъ въ воздухѣ надъ собою радостныя ликованія: «Привѣтствіе мира тебѣ, о, Пророкъ Аллаха!» Поэтому «привѣтствія мира» мусульмане удостоиваютъ обыкновенно только своихъ едино-вѣрцевъ, изъ гяуровъ же—самыхъ уважаемыхъ.

метировать. Затѣмъ наскоро переодѣлся, помолился и распрощался съ женою.

— Легко себѣ представить, каково имъ было этакъ разставаться, не зная, увидятся ли еще когда? Но куда же онъ отправился?

— А вашъ русскій посланникъ, баронъ Строгановъ, давно уже былъ къ намъ хорошо расположенъ. Къ нему-то въ Перу отецъ и пробрался окольными путями, откровенно разсказалъ ему о своемъ безвыходномъ положеніи и просилъ принять насъ, семью его, подъ свое покровительство. Строгановъ успокоилъ отца на нашъ счетъ и предложилъ ему свою собственную шлюпку, чтобы переплыть Босфоръ. Такъ-то отецъ безпрепятственно перебрался на другой берегъ и причалилъ къ первому иностранному судну, уже поднявшему паруса. То былъ итальянскій бригъ, возвращавшійся въ Триестъ. Черезъ нѣсколько дней отецъ былъ въ Триестѣ, а еще черезъ мѣсяць сухимъ путемъ и въ Одессѣ, гдѣ засталъ уже насъ съ матушкой.

— А! такъ къ тому времени и вы успѣли уже бѣжать изъ столицы четвероногихъ и двуногихъ собакъ?

— Успѣли, да; но что мы тамъ безъ него перетерпѣли—и вспомнить жутко! Едва лишь онъ тогда чернымъ ходомъ выбрался изъ дома, какъ съ параднаго крыльца къ намъ нагрянули турецкіе чохадары и потребовали хозяина. Матушка вышла къ нимъ и объявила, что мужъ ушелъ, дескать, по какому-то нужному дѣлу, но скоро

вернется. Не вѣря ей, они принялись обыскивать весь домъ. По счастью, никто изъ насъ, прочихъ, не зналъ о бѣгствѣ отца, и потому на всѣ ихъ разпросы мы отвѣчали просто и прямо. Это пока спасло насъ. Турки съ угрозами удалились.

— А Строгановъ между тѣмъ также не дремалъ?

— Да; на другой же день онъ извѣстилъ матушку, что мужу ея удалось уплыть въ Триестъ, и предложилъ приютить насъ у себя, покуда и для насъ не найдется корабля. Но турецкая полиція стерегла насъ: около нашего дома взадъ и впередъ шныряли два чауша и зорко поглядывали на наши окна и двери. Въ то-же время неистовства черни надъ христіанами въ городѣ не прекращались. День и ночь доносились къ намъ съ улицы отчаянные крики. Выйти туда—значило рисковать головою. И мы съ самыми вѣрными слугами замкнулись на запоръ въ каменной части дома, а на ночь спускались еще въ подземелье, гдѣ, подъ низкими сводами, было хоть и душно, но безопасно.

— Ну, а саблю-то свою ты взялъ, конечно, тоже съ собою?—спросилъ Гоголь.

— Взялъ, еще бы. Это было ребячество, согласенъ, но вполнѣ простительное: я былъ вѣдь старшимъ мужчиной въ семьѣ, а стало-быть и защитникомъ матушки и прочей мелюзги: младшій братишка былъ еще грудной младенецъ. На всякій случай мы со вторымъ братомъ, который былъ всего однимъ годомъ меня моложе, смастерили себѣ и пики—преострыя...

— Вотъ такъ хваты! И что же, турки послѣ

этого, конечно, не посмѣли уже подступиться къ вамъ?

Базили, будто не слыша, оставилъ замѣчаніе безъ отвѣта.

— Съ недѣлю по отъѣздѣ отца, — продолжалъ онъ, — баронъ Строгановъ прислалъ матушкѣ записку, что корабль для насъ найденъ и что черезъ часъ уже мы должны быть на пристани Мумхане. Скрѣпя сердце, пришлось оставить въ рукахъ турокъ весь домъ...

— Эхъ-ма! Цѣлаго дома и то, пожалуй, въ карманъ не упрячешь. Но парочку этакихъ мягкихъ турецкихъ диванчиковъ ты напрасно все-таки не захватилъ съ собой подъ мышки: вмѣстѣ бы здѣсь на нихъ покейфовали.

— Вѣчно ты, Яновскій, съ своимъ вздоромъ! — укорилъ остряка одинъ изъ товарищей.

— Да, братъ Яновскій, — вздохнулъ Базили. — Не испыталъ ты, что значитъ — навсегда покинуть домъ, въ которомъ ты родился и выросъ, покинуть на полное разграбленіе! Тихомолкомъ поодиоцкѣ выбираясь оттуда, всѣ мы плакали. Чтобы нѣсколько хоть утѣшить нашихъ двухъ маленькихъ сестричекъ, матушка позволила имъ взять съ собой по куклѣ. Малютку-брatца она поручила нянѣ; сама она несла шкатулку съ фамильными брилліантами, а мнѣ, какъ старшему изъ дѣтей, дала нести другую шкатулку — съ золотомъ. И она намъ очень пригодилась.

— Какъ не пригодиться! — вставилъ опять Гоголь.

— Пригодилась, но только для того, чтобы очистить намъ дорогу до пристани. На полпути туда матушка замѣтила, что за нами слѣдитъ издали одинъ изъ чаушей, приставленныхъ къ нашему дому. «Мы пропали!» ахнула она: «насъ сейчасъ арестуютъ!»—«А вы дайте ему золота,» посоветовала няня, и я, отставъ отъ нихъ, сунулъ чаушу нѣсколько червонцевъ. Но онъ уже увидѣлъ, что шкатулка моя полна червонцами, и глаза его жадно заблестали. «Давай-ка сюда всю штуку,» сказалъ онъ и безъ церемоніи отнял у меня шкатулку. Я сталъ было его умолять оставить намъ хоть немножко на дорогу, но онъ наотрѣзъ отказалъ, такъ какъ у него, дескать, есть жена и дѣти, да придется еще подѣлиться съ товарищемъ.

— Но съ какой стати этому канальѣ было пускаться еще съ тобою въ длинныя объясненія?

— Видно, боялся тоже отвѣтственности передъ своимъ начальствомъ за подкупъ; вѣрнѣе было поладить съ нами полюбовно. Но при этомъ онъ предупредилъ насъ, что даетъ намъ сроку всего полчаса; къ тому времени начальство уже будетъ знать о нашемъ побѣгѣ. Не найдутъ насъ—наше счастье; а найдутъ—проситъ не пенять.

— Тоже рыцарь въ своемъ родѣ, хоть и не безъ страха и упрека! А шкатулку съ бриліантами у матушки твоей, значитъ, не отнял?

— Нѣтъ, она успѣла спрятать ее подъ свое покрывало. На пристани насъ ждало уже нѣсколько почетныхъ франковъ (какъ называютъ тамъ всѣхъ европейцевъ), которые на одномъ іоническомъ

кораблѣ отъѣзжали только-что въ Одессу. Подъ ихъ-то прикрытіемъ мы благополучно взошли на корабль. Но въ Черное море суда пропускаются не иначе, какъ съ осмотромъ паспортовъ всѣхъ пассажировъ, а матушка второпяхъ не успѣла застисъ никакимъ документомъ. Поэтому, когда корабль нашъ двинулся вверхъ по проливу, шкиперъ пригласилъ всю нашу семью въ трюмъ, гдѣ наскоро приготовилъ для насъ тайное убѣжище. Но, Богъ Ты мой, что это было за ужасное помѣщеніе!

— Назвался груздемъ—полѣзай въ кузовъ,— сказалъ Высоцкій.— Впрочемъ вѣдь на этакихъ эмигрантскихъ корабляхъ, слышалъ я, устраивалась нарочно двойная обшивка въ трюмѣ, за которою могла укрыться не одна сотня бѣглецовъ; а васъ вѣдь было всего нѣсколько душъ?

— То-то вотъ, что очень немногіе корабли были такимъ образомъ приспособлены. Большинство же шкиперовъ прятало эмигрантовъ просто въ ямахъ, вырытыхъ въ балластѣ и накрытыхъ сверху досками, либо въ пустыхъ бочкахъ, поставленныхъ между полными бочками съ виномъ.

— И васъ разсадили тоже по бочкамъ?

— Хуже того: грузъ корабля состоялъ изъ турецкаго табаку, и насъ втиснули между табачными тюками, гдѣ намъ цѣлыхъ два часа пришлось дышать одуряющей табачной атмосферой.

— Благодарю покорно! Подпустили же вамъ «гусара», нечего сказать! И неужели никто изъ васъ не выдалъ себя, не расчихался?

— Мы всѣ, постарше, зажали себѣ рты и носы платками. Но малютка-братишка раскашлялся и запищалъ. Турецкіе чиновники на палубѣ услышали его и принялись еще усерднѣе обшаривать весь корабль. Шкиперу стоило не малаго краснорѣчія убѣдить ихъ, что тó пищитъ котенокъ, котораго онъ завелъ отъ мышей.

— Такъ что васъ и не нашли?

— Благодаря Бога, нѣтъ. Но эти два часа въ табачномъ смрадѣ, въ постоянномъ страхѣ: что вотъ-вотъ найдутъ и казнятъ безъ суда и расправы, — стоили, можно сказать, двухъ вѣковъ мученій Дантова ада, и, только сойдя на берегъ въ Одессѣ, мы опять вздохнули полною грудью... Вотъ вамъ, господа, и вся моя Одиссея.

— А въ Одессѣ вы гдѣ же пріютились? Вѣрно, у земляковъ?

— Да, у дальнихъ родственниковъ. Семейные брилліанты пришлось, разумѣется, понемногу сбыть, потому что кромѣ одной пары платья, въ которой мы бѣжали, у насъ ничего не осталось, а все имущество наше въ Константинополь, движимое и недвижимое, было конфисковано въ султанскую казну. Изъ богачей мы обратились чуть не въ нищихъ. Ну, да Господь съ нимъ, съ этимъ богатствомъ! Если мнѣ чего жалѣ, такъ отцовской бібліотеки. Какихъ-какихъ тамъ не было рѣдчайшихъ книгъ! Но свѣтъ не безъ добрыхъ людей: и въ Одессѣ нашелся эмигрантъ-этеристъ, ученый профессоръ Геннадій, который взялъ меня въ науку, и въ теченіе одного года, что я про-

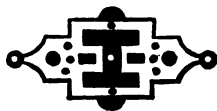
былъ въ Одессѣ, я еще основательнѣе познакомился съ родной классической литературой.

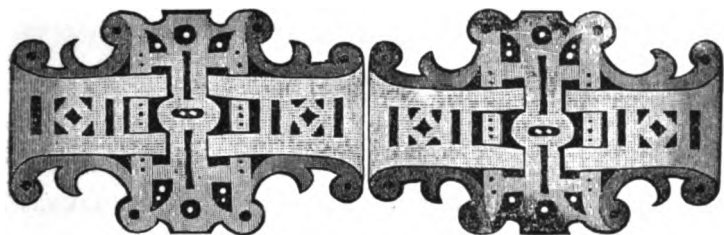
— «Науки юношей питають», — сказалъ Гоголь, — хотя на твоей жидкой комплекціи, Базили-эфенди, этого покуда не очень-то замѣтно. Господа! Въ честь благороднаго эфенди не устроить ли намъ въ воскресеніе маленькую пирушку? Самъ я, какъ вы знаете, до нихъ вовсе не охотникъ, но нельзя же не покормить бѣднягу? Иванъ Семеновичъ ради экстреннаго случая, я увѣренъ, дастъ намъ разрѣшеніе.

Предложеніе было принято съ большимъ сочувствіемъ, а Базили, видимо растроганный, крѣпко пожалъ руку Гоголю, подавшему мысль.

— Вы не повѣрите, господа, какъ я радъ, — сказалъ онъ, — что достигъ наконецъ у васъ мирной гавани, гдѣ, надѣюсь, судьба избавить меня уже отъ всякихъ дальнѣйшихъ мытарствъ.

Надежда однако его обманула: на другое же утро, какъ снѣжная лавина, на него обрушилась совершенно непредвидѣнная напасть.





ГЛАВА ПЯТАЯ.

Казусъ Базили-Андрущенко.



ы уже говорили (въ первой повѣсти о Гоголѣ), что преподаваніе языкамъ въ нѣжинской гимназіи шло независимо отъ раздѣленія воспитанниковъ по классамъ: послѣднихъ было девять, тогда какъ для языковъ имѣлось всего шесть отдѣленій, пройти которые до конца не было притомъ обязательно. Такъ и въ новомъ учебномъ году вступительная лекція по латинской словесности у профессора Семена Матвѣевича Андрущенко была предназначена не исключительно для студентовъ перваго курса, а и для воспитанниковъ выше и ниже ихъ, которые дошли до пятаго отдѣленія латинистовъ — пѣитовъ. Гоголь и Данилевскій добрались только до званія риторовъ и собственно не имѣли бы права сидѣть на этой лекціи съ товарищами-пѣитами.

Но такъ какъ у риторовъ въ этотъ часъ не было другого урока, то директоръ Орлай попросилъ профессора допустить ихъ также на свою лекцію: «чему-нибудь-де все-таки научатся».

Какъ всѣ вообще знатоки той или другой науки, Андрущенко придавалъ своему предмету также первостепенную важность. Сегодня онъ взошелъ на кафедру съ особенно-торжественной осанкой и, выжидая, пока молодежь размѣстится по скамьямъ, постучалъ по кафедрѣ костлявымъ пальцемъ.

— Совсѣмъ капельмейстеръ: оркестру знакъ подаетъ,—замѣтилъ Гоголь Данилевскому, неторопливо протискиваясь къ нему на заднюю скамейку.—Бьюсь объ закладъ, что нарочитое слово проготовилъ.

— Quousque tandem, Catilina?.. *) (доколѣ наконецъ, Катилина?..) — прозвучалъ глубокой бари-тонъ профессора, и изъ-подъ сдвинутыхъ бровей недовольный взоръ его на минуту приковался къ замѣшкавшемуся «Катилинѣ» — Гоголю.

Затѣмъ, когда все кругомъ стихло, онъ заговорилъ съ малороссійскимъ мягкимъ предыханіемъ на *i* и семинарскимъ оканьемъ, четко отчеканивая слово за словомъ:

— Благословяся, приступаемъ. Большинство изъ присутствующихъ здѣсь принято нынѣ въ лоно *almae matris* — университетской науки и, какъ избранные сосуды оной, допускается къ воспри-

*) Начало рѣчи Цицерона противъ Катилины.

нѣтїю тончайшаго нектара римской поэзіи—Виргилія и Горация, а въ свое время и къ здоровой, питательной амброзіи величайшаго оратора всѣхъ вѣковъ и народовъ, Цицерона. Varietas delectat. (Разнообразіе забавляетъ). Но eo ipso (само собою) вы, государи мои, должны добровольно отрѣшиться отъ прежнихъ школярныхъ замашекъ, наипаче же отъ всѣхъ низменныхъ вождельнїи невѣжественной черни. Съ Горациемъ каждый изъ васъ отнынѣ можетъ воскликнуть:

«Odi profanum vulgus et arceo:
Favete linguis»... *).

— Favete linguis!—донеслось эхомъ съ третьей скамьи, да такъ неожиданно, что всѣ сидѣвшіе впереди оглянулись.

— Это кто? спросилъ профессоръ, снова на-супясь.—Вы, что ли, Яновскій?

— Я, Семенъ Матвѣевичъ,—съ самою просто-душною миной признался Гоголь:—по вашему же призыву.

— Но вы-то какъ разъ не призваны съ другими восклицать такъ, ибо, какъ риторъ, не досрости еще до Горация. Знаете ли вы по крайней мѣрѣ, что означаетъ сіе восклицаніе?

— «Favete linguis»? Знаю: «не любо—не слушай» или: «ѣшь пирогъ съ грибами, а языкъ держи за зубами».

*) «Темную чернь отвергаю съ презрѣніемъ:

Внемлите напѣвамъ»...

(Перев. Фета.)

Буквально «lingua»—«языкъ».

— И держались бы сего мудраго правила.

— Да пирога-то съ грибами у меня теперь, увы! не имѣется.

— Все тотъ-же школяръ!—возмутился профессоръ.—Брали бы примѣръ хоть съ Базили: онъ еще хоть и гимназистъ, а, право, достойнѣе васъ быть студентомъ.

— Я, Семень Матвѣевичъ, тоже студентъ,—счелъ нужнымъ тутъ подать голосъ Базили, сидѣвшій на первой скамейкѣ рядомъ съ Божко, прямо противъ каѳедры профессора.—Я переведенъ въ 7-й классъ.

— Переведены? Изъ 5-го да въ 7-й?

— Да-съ. Я и прежде вѣдь переходилъ такимъ образомъ черезъ классъ.

— И напрасно, совершенно напрасно! что за баловство? Когда же васъ перевели?

— Лѣтомъ.

— Но я васъ не экзаменовалъ!

— Это сдѣлалъ за вашимъ отсутствіемъ такой-же латинистъ—Иванъ Семеновичъ, хотя въ сущности не было въ томъ надобности,—возразилъ Базили, видимо начиная волноваться:—я изъ вашего предмета и безъ того уже былъ зачисленъ въ риторы. По другимъ же наукамъ меня экзаменовали сами профессора, и доказательства тому должны быть, Семень Матвѣевичъ, въ вашихъ собственныхъ рукахъ: къ вамъ, какъ къ ученому секретарю конференціи, поступаютъ вѣдь всѣ вѣдомости наши, и еслибы вы только потрудились справиться...

Судя по нѣкоторому замѣшательству въ нахмуренныхъ чертахъ Андрущенко, ему вдругъ припомнилось что-то. Но онъ коротко остановилъ говорящаго:

— Jam satis! (Будеть!) Терпѣть не могу, когда мнѣ этакъ возражаютъ!..

Темные глаза молодого грека засверкали огнемъ оскорбленной гордости.

— И я тоже!—неволью вырвалось у него; но онъ тутъ же спохватился: — Винавать, Семень Матвѣевичъ! У насъ, грековъ, горячая кровь, сейчасъ въ голову бросается...

Профессоръ съ вышины кафедръ молча оглядѣлъ оправдывающагося пронизывающимъ взоромъ; но вспышка юноши привела въ себя зрѣлаго мужа, и, развернувъ лежавшій передъ нимъ на кафедрѣ общій журналъ 7-го класса, онъ сталъ водить по строкамъ ногтемъ, какъ-бы ища чего-то, а затѣмъ сдержанно-глухо промолвилъ:

— Буде васъ перевели въ 7-й классъ, фамилія ваша значилась бы въ журналѣ; такъ?

— Такъ...

— Фамиліи здѣсь выставлены въ алфавитномъ порядкѣ. На литеру Азъ никого не имѣется. На литеру же Буки показаны только двое: Божко Андрей и Бороздинъ Яковъ. Засимъ слѣдуютъ уже Гоголь - Яновскій, Григорьевъ и т. д. Почему же вашей милости нѣтъ тутъ, позвольте узнать?

На лбу Базили выступили капли холоднаго пота; вся кровь отлила у него къ сердцу, и, блѣдный,

растерянный, онъ судорожно схватился руками за край парты, какъ-бы боясь упасть.

— Что меня не внесли въ журналъ—во всякомъ случаѣ не моя, а чужая вина...—пробормоталъ онъ побѣлѣвшими дрожащими губами, и красивыя черты его исказились злобою отчаянія.— Я выдержалъ экзаменъ—и меня обязаны перевести!..

— Га! васъ обяза ны перевести? — подхватилъ Андрущенко, терпѣніе котораго также наконецъ истошилось, и звонко хлопнулъ ладонью по журналу: — Это еще бабушка надвое сказала! А за ваши неумѣстныя препирательства съ профессоромъ не угодно ли вамъ къ печкѣ прогуляться?

— Я не пойду, Семень Матвѣевичъ.

— Что-о-о?!

— Я—студентъ.

— Покамѣстъ-то вы еще гимназистъ. Пожалуйста.

— Иди, братъ, ну, что тебѣ значить? Всю будущность себѣ вѣдь испортишь, — шопотомъ урезонивалъ непокорнаго сосѣдъ его, Божко.

— Не могу, Семень Матвѣевичъ, какъ хотите... Позвольте уже лучше уйти изъ класса? мнѣ нездоровится...

Видъ у него, въ самомъ дѣлѣ, былъ очень разстроенный и возбужденный.

— Ступайте,—нехотя разрѣшилъ профессоръ и взглянулъ на часы.—Изъ-за васъ вотъ, пожалуйста, и вступительнаго слова не окончишь!

Надо ли говорить, что молодые слушатели не были особенно внимательны къ «вступительному слову», которое впрочемъ было закончено какъ разъ ко звонку, возвѣстившему первую пятиминутную перемѣну. Когда теперь воспитанники всѣхъ возрастовъ высыпали въ коридоръ, «казусъ Базили-Андрущенко» разнесся кругомъ съ быстротой молніи. Духъ товарищества пробудился даже въ тѣхъ, которые мало знали Базили: всѣ считали себя какъ-бы обиженными въ немъ, хотя самого Базили не было на лицо: онъ куда-то пропалъ.

— Нельзя ли немножечко потише, господа! — деликатно увѣщевалъ инспекторъ Моисеевъ, проталкиваясь сквозь плотную группу студентовъ, запрудившую коридоръ.

— Да не спросить ли намъ мнѣнія Кирилла Абрамовича? — предложилъ одинъ изъ студентовъ: — онъ вѣдь и мухи не обидитъ...

— Мухи-то не обидитъ, — возразилъ Гоголь, — но за то и не помѣшаетъ всякой мушкарѣ кусать насъ до крови. Коли къ кому уже обращаться, такъ къ Орлаю: мужъ нарочито мудрый и къ убогимъ зѣло милостивый.

— Это такъ. Орлай Орлаичъ — всѣмъ птицамъ царь. Да вотъ онъ кстати самъ, и вмѣстѣ съ Базили.

— Но куда же я пока дѣнусь, Иванъ Семеновичъ? — со слезами въ голосѣ говорилъ Базили директору, который велъ упирающагося за руку къ товарищамъ. — Въ 7-й классъ меня не хотятъ пу-

стить; а въ 6-й... въ 6-й я и самъ теперь не пойду.

Иванъ Семеновичъ успокоительно обнялъ его вокругъ плечъ.

— Patientia, amice! Сейчасъ виденъ аристократикъ: синяя кровь заговорила.

— Не синяя, а человѣческая: я хотя и маленькій еще человѣкъ, но имѣю уже гоноръ. Не сами ли вы мнѣ тогда объявили, что я выдержалъ по всѣмъ предметамъ?..

— Bene, bene! Въ большую перемѣну я нарочно созову конференцію, и тогда, полагаю, все уладится ко всеобщему удовольствію.

— На васъ вся надежда, Иванъ Семеновичъ. Бога ради, не выдайте его! — заговорили наперерывъ студенты, обступившіе гурьбою обоихъ.

— Развѣ я когда-либо кого-либо изъ васъ выдалъ? Но мой единственный голосъ все-же не рѣшающій. Посему до времени вы, Константинъ Михайловичъ, потерпите; ступайте себѣ въ музей, что ли, и займитесь чѣмъ-нибудь. А вамъ, други мои, пора и на лекцію: вонъ Казимиръ Варѣоломеевичъ уже вошелъ въ классъ.

— Что у васъ нынче за базаръ, господа? — спросилъ профессоръ Шаполинскій шумно врывающихся въ классъ студентовъ.

— «Віють витры, віють буйни,
Ажъ деревья гнутся.»

— отвѣчалъ Гоголь. — Одинъ изъ насъ заколенъ, какъ агнецъ неповинный.

— Заколенъ? Надѣюсь, только фигурально?

— Фигурально, но не менѣе смертельно: его не хотятъ перевести въ нашъ классъ, хотя онъ великолѣпно сдалъ экзамень.

— Про кого вы говорите?

— Про Базили. Вы сами же вѣдь, Казимиръ Вареоломеевичъ, слышно, готовили его лѣтомъ по математикѣ и притомъ даже даромъ? За что вамъ великое отъ всѣхъ насъ спасибо...

— О такихъ вещахъ умалчиваютъ, мой милый. Такъ его стало-быть не переводятъ? Гмъ! странно, очень странно... Но вѣрно ли это? Надо будетъ узнать еще у Семена Матвѣевича, какъ у секретаря конференціи.

— Да онъ-то вѣдь и противится! Сейчасъ вотъ только говорили объ этомъ съ Иваномъ Семеновичемъ, просили его заступничества.

— И что же Иванъ Семеновичъ?

— Обѣщался не выдать. Но и вы, Казимиръ Вареоломеевичъ, съ своей стороны на конференціи замолвьте доброе слово. Нельзя же, право, такъ, ни съ того, ни съ сего, губить человѣка!

— Ужъ и губить! — усмѣхнулся Казимиръ Вареоломеевичъ, но около губъ его легла горькая складка, и глаза его озабоченно потупились. — Базили, я знаю, не изъ тѣхъ людей, которые гибнутъ при первой неудачѣ. Но молчать я, повѣрьте мнѣ, не буду!

Что онъ, дѣйствительно, не молчалъ — пріятели Базили могли убѣдиться вскорѣ, именно въ большую рекреацію, когда весь учебно-воспитатель-

ный персоналъ замкнулся въ конференцъ-залѣ: изъ-за двери между спорящими голосами громче всѣхъ выдѣлялся густой басъ Шаполинскаго. Когда же наконецъ съ шумомъ распахнулась дверь, то первую показала оттуда грузная фигура его же, Шаполинскаго, съ опущенною долу, но пылающею головою. Молодые люди тотчасъ заступили ему дорогу.

— Ну, что, Казимиръ Варѣоломеевичъ?

Не взглядывая, словно виноватый передъ ними, онъ въ сердцахъ только рукой отмахнулся.

— Неужели провалили?

— Провалили...— хрипло пропыхтѣлъ добрякъ: отъ горячаго спора не только его въ потъ вогнало, но и въ горлѣ у него, видно, пересохло.

— Такъ зачѣмъ же въ такомъ случаѣ его вообще допустили къ экзамену? И многіе, скажите, были еще противъ него?

— Все это, друзья мои, вопросы праздные: дѣло рѣшено безапелляціонно!

— Но Иванъ-то Семеновичъ былъ, конечно, на вашей сторонѣ?

— Само собою, но мы остались въ меньшинствѣ. Пропустите-ка меня, друзья мои...

Онъ былъ до того разогорченъ и взволнованъ, что грѣшно было его долѣе задерживать. Но сами студенты на томъ не успокоились.

Гоголь, обыкновенно довольно равнодушный къ товарищескимъ дѣламъ, на этотъ разъ кипятился не менѣе другихъ.

— Это чортъ знаетъ что такое! — восклицалъ

онъ.—Оставить это такъ никакъ нельзя! Не пѣшки же мы безгласные! Пойти сейчасъ всѣмъ курсомъ...

— Всѣмъ курсомъ неудобно: похоже на бунтъ,—возражали болѣе умѣренные.—Лучше выбрать депутацію.

— Но кого? Двухъ первыхъ изъ насъ, противъ которыхъ начальство ничего уже имѣть не можетъ: Божко и Маркова.

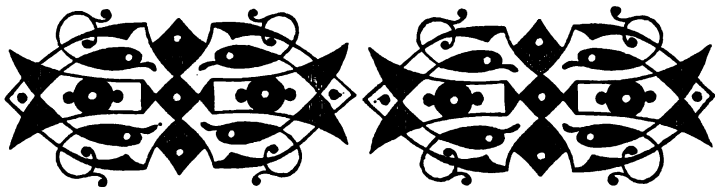
— Я не прочь,—сказалъ Марковъ.

— И я тоже,—отозвался Божко.— Не можетъ ли такое заявленіе съ нашей стороны имѣть малѣйшій успѣхъ? Поставьте себя, господа, на мѣсто членовъ конференціи: судили-рядили они, и вдругъ депутація отъ учащихся, которые хотятъ быть судьями въ собственномъ дѣлѣ? Примутъ ли вообще такихъ депутатовъ? Перевершатъ ли рѣшенное уже разъ дѣло? Я полагаю, что нѣтъ.

— Нѣтъ!—Да, да!—Нѣтъ!—раздались кругомъ противорѣчивыя мнѣнія.

Мнѣніе Божко въ концѣ концовъ однако взяло верхъ, и депутація не состоялась.

Такимъ-то образомъ Базили былъ вновь водворенъ къ своимъ прежнимъ товарищамъ-гимназистамъ въ 6-й классъ. Но съ слѣдующаго же дня онъ пересталъ ходить туда: отъ острой раны, нанесенной, его крайне чувствительному самолюбію, у бѣдняги разлилась жолчь, и его должны были отправить въ лазаретъ.



ГЛАВА ШЕСТАЯ.

Нѣжинская муза пробуждается.

Мослѣ Данилевскаго и Высоцкаго съ Гоголемъ ближе всего сошелся Прокоповичъ, который хотя и былъ теперь ниже его однимъ классомъ, но сохранилъ къ нему дружескую привязанность съ перваго года ихъ пребыванія въ гимназiи, когда они мальчуганами сидѣли еще рядышкомъ на одной скамейкѣ. Въ силу этой-то привязанности Прокоповичъ однажды въ большую рекреацию отвелъ Гоголя въ сторону и сообщилъ ему подъ секретомъ, что одноклассникъ его (Прокоповича) Кукольникъ сочинилъ нѣчто совсѣмъ замѣчательное—чуть не цѣлую поэму.

— Ого-го! куда метнулъ! Такъ-таки цѣлую поэму?—усомнился Гоголь, который не особенно долюбивалъ Кукольника, избалованнаго своими



Несторъ Васильевичъ
КУКОЛЬНИКЪ

(въ 1830-хъ годахъ).

успѣхами у начальства и въ обществѣ и потому «задиравшаго носъ».—Впрочемъ онъ у васъ въ классѣ по всѣмъ предметамъ вѣдь первая скрипка, бренчитъ также на фортепьянахъ, такъ какъ же не брэнчать и на самодѣльныхъ гусяхъ.

«Стрень-брень, гусельцы,
Золотыя струнушки.»

— Но я говорю же тебѣ, что у него готова настоящая поэма!—увѣрялъ Прокоповичъ.—Онъ собирается прочесть ее тѣсному кружку знатковъ литературы...

— Экіе счастливыцы, ей-Богу! Кто же эти знатоки у насъ?

— Да хоть бы Рѣдкинъ и Тарновскій.

— М-да! Выпускные студенты—такъ какъ же не знатоки? А насъ-то, грѣшныхъ, обходятъ!

— Напротивъ; когда я объяснилъ Нестору, что безъ тебя составъ цѣнителей былъ бы не полонъ, онъ нарочно поручилъ мнѣ позондировать: есть ли у тебя вообще охота его послушать?

— Хорошо же ты зондируешь!—усмѣхнулся Гоголь, польщенный однако вниманіемъ поэта.—Такъ прямо съ кочергой и лѣзешь. Что жъ онъ самъ-то не явился?

— Да языкъ у тебя, голубчикъ, что бритва: рѣжетъ безъ разбора и праваго и виноватаго.

— Ну, не безъ разбора, а по мѣрѣ надобности.

— Что же сказать ему отъ тебя?

— Что я глубоко тронуть незаслуженною честью. А когда и гдѣ онъ собирается читать?

— Да нынче же, послѣ классовъ, въ эрми-
тажѣ.

«Эрмитажемъ» прозвали воспитанники большую дерновую скамейку, надняхъ только сооруженную ихъ же руками въ болѣе отдаленной половинѣ казеннаго сада, въ такъ-называемомъ графскомъ саду. Послѣдній былъ отгороженъ отъ гимназическаго сада бревенчатымъ заборомъ; но калитка въ заборѣ давно уже не запиралась, и воспитанники двухъ старшихъ возрастовъ безпрепятственно пользовались графскимъ садомъ, чтобы вдали отъ начальническаго взора по душѣ поболтать, а также и покурить, такъ какъ въ стѣнахъ гимназіи куреніе табака было строго воспрещено. (Кстати впрочемъ упомянемъ здѣсь, что Гоголь, равнодушный ко всякимъ вообще развлечениямъ, кромѣ театра, никогда въ жизни также не курилъ).

И вотъ въ свободный часъ передъ вечернимъ чаемъ въ эрмитажѣ собрались избранные Кукольникомъ «цѣнители» новѣйшаго его стихотворнаго опыта. Въ числѣ ихъ оказался и Риттеръ.

— А! барончикъ Доримончикъ! какими судьбами?—удивился Гоголь:

«Кто ты, о юноша, чтобъ о богахъ судить?
Иль не страшишься ты ихъ ярость возбудить?» *)

— Мишель по части стихотворной тоже не безгрѣшенъ, — покровительственно отвѣчалъ за барончика Кукольникъ, — хотя виршей его доселѣ

*) Изъ «Эдипа въ Афинахъ» Озерова.

не узрѣло еще ни единое смертное око. А теперь, государи мои, не дозволите ли мнѣ начать, ибо времени у насъ очень немного. Какъ вамъ не безъизвѣстно, одна изъ самыхъ капитальныхъ поэмъ Гёте—«Торквато Тассо». Тягаться съ такимъ гигантомъ, какъ Гёте, правда, великая продерзость, но примѣръ геніевъ заразителенъ даже для пигмеевъ, буде въ нихъ теплится хоть искра Прометеева огня. Не ожидайте отъ меня ничего законченнаго, цѣльнаго. Это только слабая попытка—огнемъ моего собственнаго вдохновенія освѣтить могучій образъ соррентинскаго пѣвца. Это—фрагментъ, отрывочная фантазія, изъ которой, самъ еще не вѣдаю, что выльется: поэма или драма. Начинается пьеса съ возвращенія Тасса къ замужней сестрѣ своей въ Сорренто...

— Послѣ изгнанія его отъ двора феррарскаго герцога Альфонса д'Эсте?—спросилъ Рѣдкинъ, самый начитанный изъ товарищей.

— О, да. Многіе годы передъ тѣмъ уже скитался онъ бездомнымъ бродягой по бѣлу свѣту, перетерпѣлъ всякія невзгоды, голодъ и холодъ, имѣлъ даже приступы помѣшательства. Сестра его, Корнелія Серсале, успѣла не только сдѣлаться матерью четырехъ дѣтей, но и схоронить мужа. И вотъ въ то самое время, когда малютки Корнелии сидятъ въ домѣ съ няней и просятъ рассказать имъ сказку, на порогѣ появляется какой-то мрачнаго вида оборванецъ-простолюдинъ. «Кто это?» говоритъ няня: «что тебѣ угодно?»—«Здѣсь ли Корнелія Серсале?»—«Здѣсь; а что?»—«Мнѣ

нужно видѣться.»—«Пошла къ вечернѣ; сейчасъ придетъ. Ты сядь и отдохни.» Усталый садится у дверей. «Какъ тихо здѣсь!» говоритъ Тассъ (потому что то былъ онъ): «чи эти малютки?»—«Корнеліи Серсале.»—«Боже правый! Она ужъ мать, и четырехъ дѣтей, а я еще на свѣтѣ—сирота.»—«Ты не женатъ?» любопытствуетъ няня.—«Не знаю.»—«Какъ не знаешь?» Онъ рассказываетъ, что былъ связанъ высшими узами съ неземнымъ созданіемъ—Славой, но что она улетѣла. Няня недоумѣваетъ: «Такого имени я не слыхала! Ты, вѣрно, иностранецъ?»—«Да!» вздыхаетъ Тассъ: «и двѣ у меня отчизны.»—«Какъ двѣ?»—«Въ одной мое родилось тѣло, въ другой—душа.» Няня въ смущеніи отходитъ къ дѣтямъ и на вопросъ ихъ: «Кто это?» отвѣчаетъ: «Сумасшедшій!» Тѣ въ страхѣ прижимаются къ нянѣ. Тутъ входитъ сама Корнелія, и Тассъ, неузнанный сестрою, подаетъ ей письмо. Она читаетъ и заливается слезами. Братъ, растроганный, ее обнимаетъ:

«Корнелія! Весь міръ меня оставилъ,
Я самъ себя оставилъ, но въ слезахъ
Моей сестры я снова возродился!
Я снова не одинъ на этомъ свѣтѣ...
Но ты молчишь? ты съ горькимъ состраданьемъ,
Какъ на безумнаго, на Тасса смотришь?
Безумный! Да! О, еслибъ ты могла
Безумье то почувствовать въ себѣ,
Которымъ я всю жизнь мою терзался!
Вообрази блистательное солнце:
Вокругъ него чернѣютъ тучи; громъ
Катается въ тяжелой атмосферѣ,

И солнце то, что жаркими лучами
Могло бъ весь свѣтъ обрушить въ груды пепла,
Презрѣнныя затягиваютъ тучи...
О, такъ и я въ сообществѣ людей
Стоялъ, какъ солнце, въ мрачныхъ, черныхъ тучахъ;
Куда я лучъ любви ни посылалъ,
Какъ отъ скалы онъ быстро отражался
И, возвратясь ко мнѣ, мою же грудь
Жегъ пламенемъ позорной неудачи!..»

Стихи эти молодой поэтъ читалъ уже по тетрадкѣ. Отступивъ на два шага отъ размѣстившихся на дерновой скамейкѣ товарищей, онъ съ безотчетнымъ кокетствомъ, какъ-бы для того, чтобы тѣ лучше могли слѣдить за его выразительною мимикой, снялъ съ головы картузь и откинулъ назадъ рукой съ высокаго лба непослушную прядь волосъ: съ молчаливаго согласія директора, питавшаго къ даровитому сыну своего покойнаго предшественника невольную слабость, юноша носилъ волоса нѣсколько длиннѣе, чѣмъ было установлено. Декламировалъ онъ съ театральнымъ паѳосомъ, усвоеннымъ отъ профессора словесности Никольскаго; но паѳосъ этотъ гармонировалъ какъ съ его довольно напыщенными стихами, такъ и съ ярко-освѣщенною вечернимъ солнцемъ фигурою, высокою и стройною, съ его развѣвающимися кудрями, худошавымъ, обыкновенно блѣднымъ, а теперь раскраснѣвшимъ лицомъ и блестящими вдохновеніемъ глазами.

— Ай, да Возвышенный! Bene, optime! — не

утерпѣлъ одинъ изъ слушателей выразить свое одобреніе.

Но другіе тотчасъ заставили хвалителя замолчать, чтобы не прерывать поэтического монолога Тасса. Монологъ этотъ затѣмъ, правда, что-то не въ мѣру затянулся, такъ что слушатели одинъ за другимъ, какъ по уговору, стали прикрывать рукою ротъ отъ зѣвоты. Но всѣ опять насторожились, когда Тассъ, вспоминая свое дѣтство, перешелъ къ разсказу о томъ, какъ отецъ, собираясь издать свою поэму «Амадисъ», поручилъ ему, малолѣтнему сыну, переписать поэму.

«Я переписывалъ его творенье,
 Но съ жаркими слезами сожалѣнья,
 Что не могу и самъ я сочетать
 Такихъ стиховъ... Однажды я писалъ,
 Какъ вдругъ перо въ рукѣ остановилось,
 Кровь вспыхнула, дыханіе стѣснилось.
 Въ моихъ глазахъ и блескъ и темнота,
 И чудная какая-то мечта
 Пролѣтѣла въ грудь; незримый, горній геній
 Обвилъ чело перуномъ вдохновеній,
 И радостно горящая рука
 Вдругъ излила два первые стиха,
 Еще... и потекли четой согласной,
 Съ какой-то музыкой живой, прекрасной
 Кудрявые и сладкіе стихи.
 Они текли... Чѣмъ больше я писалъ,
 Тѣмъ больше я счастливецемъ становился.
 Корнелія! обыкновенно люди
 Поэзію зовутъ пустой мечтой,
 Пустыхъ головъ ребяческой горячкой...
 Поэзія есть благовѣсть святой

О неизвѣстной вѣчной красотѣ!
 И колокольный звонъ—бездушный звукъ,
 Но какъ онъ святъ и важенъ для того,
 Кто любитъ въ храмѣ совершать молитвы!
 Не онъ ли намъ о небѣ говорить?
 Не онъ ли намъ про адъ напоминаетъ?
 И колоколъ—вещественный языкъ
 Каръ безконечныхъ, безконечныхъ благъ—
 Иному другъ, иному тяжкій врагъ!
 Не то ли и Поэзія святая?..»

На этомъ чтець умолкъ и исподлобья, съ застынчивою гордостью обвелъ товарищей вопро-
 сительнымъ взглядомъ, выразавшимъ увѣрен-
 ность, что онъ заслужилъ лавры,—присудятъ ли
 ихъ ему или нѣтъ. Но лавровъ у него никто не
 оспаривалъ: на всѣхъ лицахъ было написано если
 не восхищеніе, то полное удовольствіе. Даже Го-
 голь счелъ нужнымъ примкнуть къ единодуш-
 нымъ похваламъ:

— Какъ есть: суперфлю! Совсѣмъ поэзіей пах-
 нетъ. Печатаются вещи куда хуже этого.

— И много хуже,—авторитетно подтвердилъ
 Рѣдкинъ.—А ты, Несторъ, не думаешь печатать?

— Нѣтъ, вещь вѣдь далеко еще недодѣлан-
 ная,—съ самодовольнымъ смиреніемъ отвѣчалъ
 молодой авторъ, черты котораго совсѣмъ про-
 свѣтлѣли.

— А далѣе у тебя что же будетъ?

— Далѣе?... Да видишь ли, я самъ себѣ этого
 еще не уяснилъ. Пока я даже не рѣшилъ окон-
 чательно, какъ сказано, какую придать форму
 пьесѣ: эпическую или драматическую. Но у меня

намѣчены уже нѣкоторыя сцены: съ герцогомъ Альфонсомъ, съ сестрой его принцессой Леонорой и дуэль изъ-за нея съ однимъ царедворцемъ; новый припадокъ безумія поэта, заключеніе его въ сумасшедшій домъ (чрезвычайно благодарная тема: тутъ можно вывести цѣлую галерею сумасшедшихъ), возвращеніе въ Римъ и смерть въ виду народа передъ Капитоліемъ въ тотъ самый мигъ, когда его вѣнчаютъ лавровымъ вѣнкомъ. Изъ послѣдней сцены у меня кое-что даже набросано...

Говоря такъ, Кукольникъ, опять заволновавшись, сталъ быстро перелистывать свою тетрадь.

— Если угодно, я тоже прочту...

— Сдѣлай милость.

— Представьте же себѣ Римъ ночью, но ночь ярче иного дня: Капитолій и всѣ зданія кругомъ освѣщены разноцвѣтными огнями, тамъ и здѣсь громадныя транспаранты съ вензелемъ Т. Т. и съ разными аллегорическими картинами. Площадь запружена народомъ. Смертельно больной, Тассъ выходитъ изъ портика поддерживаемый друзьями. Толпа встрѣчаетъ его ликованиями. Онъ въ изнеможеніи опускается въ подставленный ему кресла и начинаетъ тихо говорить:

«И это все для нишаго пѣвца,
Для бѣднаго пѣвца «Іерусалима»!
Какъ оглянусь, мнѣ кажется, я прожилъ
Какую-то большую эпопею...
День настаётъ, готовится развязка,
И утромъ я засну вечернимъ сномъ...»

На него находить экстазъ ясновидѣнья, и онъ предвѣщаетъ появленіе черезъ столѣтія двухъ другихъ геніевъ поэзіи—Гёте и Шиллера:

«Вотъ вижу я: въ толпѣ кудрявыхъ тевтовъ
 Поднялись два гиганта и въ вѣнцахъ!
 Одинъ—меня узналъ и сладкой лирой
 Привѣтствуетъ! Благодарю, поэтъ!
 Другой мечту прекрасную голубить!
 Какъ пламенно свою мечту онъ любить...
 Друзья мои! вотъ истинный поэтъ!
 Послушайте, какъ стихъ его рокочетъ,
 То пламенно раздастся, то замретъ,
 То вдругъ скорбитъ, то пляшетъ и хохочетъ...»

— Виновать, братъ!—прервалъ тутъ Гоголь:—я не совсѣмъ въ толкъ взялъ: это кто же пляшетъ? самъ Шиллеръ или его муза?

Замѣчаніе было до того неожиданно и сдѣлано такимъ наивно-простодушнымъ тономъ, что остальные воспитанники такъ и фыркнули, а чтець, точно ему брызнули въ разгоряченное лицо холодной водой, въ сердцахъ захлопнулъ тетрадку.

Рѣдкинъ, не безъ труда сохранившій серіозный видъ, укорительно покачалъ головой шутнику и обратился къ поэту:

— А потомъ что же, Несторъ?

— Потомъ?...—нехотя повторилъ тотъ.—Потомъ самъ герцогъ вѣнчаетъ лаврами умирающаго:

«Люди, на колѣна!
 Кончается великій человѣкъ!»

— Превосходно, — сказалъ Рѣдкинъ, — хотя... хотя не совсѣмъ согласно съ исторіей: увѣнчать Тассо лаврами въ Капитоліи, дѣйствительно, собирались друзья его, но бѣдняга такъ и не дожилъ до своего торжества, скончавшись за нѣсколько дней передъ тѣмъ.

— Ну, это еще вопросъ! — возразилъ Кукольникъ, весь вспыхнувъ.

— И вопроса не можетъ быть: это непреложный фактъ, — безапелляціонно настоялъ на своемъ Рѣдкинъ. — Впрочемъ я тебя, братъ, особенно не виню. Я замѣтилъ только такъ, для справки, что у тебя нѣкоторая историческая погрѣшность. Вѣдь и Орлеанская дѣва у Шиллера умираетъ на полѣ сраженія, а не на кострѣ, какъ было на самомъ дѣлѣ. Поэтическая вольность, оправдываемая художественными цѣлями. Какъ бы то ни было, стихи у тебя хоть куда...

— Спасибо на добромъ словѣ, — довольно сухо поблагодарилъ Кукольникъ, опять овладѣвшій собою. — Прочелъ я вамъ, господа, мой отрывокъ не столько для того, чтобы выслушать вашу критику (всякій поэтъ считаетъ свои стихи выше критики!), какъ для того, чтобы показать вамъ примѣръ и возбудить въ васъ охоту къ литературнымъ чтеніямъ собственныхъ вашихъ произведеній. Вѣдь вотъ барончикъ что-то уже строитъ, Яновскій тоже...

— Я? — слегка смутившись, спросилъ Гоголь. — Съ чего ты взялъ?

— А что же ты дѣлаешь здѣсь, въ саду, скажи,

на своемъ деревѣ, когда мы прочіе благодушествуемъ? Воронъ считаешь?

— Ну, полно тебѣ скромничать, Яновскій! — вступился Прокоповичъ. — У него, господа, я знаю, есть тоже и стихи и проза, и очень недурные.

— Вотъ тебѣ еще благородный свидѣтель, — сказалъ Кукольникъ. — Въ слѣдующій разъ стало-быть читаешь ты, Таинственный Карло.

— Со временемъ можетъ-быть что-нибудь и прочту, — отвѣчалъ Гоголь, кидая укорительный взглядъ выдавшему его приятелю. — А теперь честь и мѣсто старшимъ: Рѣдкину и Тарновскому.

— Нѣтъ, на насъ съ Тарновскимъ, господа, вы пожалуйста не рассчитывайте, — отозвался Рѣдкинъ: — изящная литература — легкое пирожное, а у насъ на примѣтѣ сытный ржаной хлѣбъ и солидныхъ размѣровъ.

Онъ переглянулся съ Тарновскимъ, который въ отвѣтъ молча кивнулъ головой.

— Эге! — сказалъ Кукольникъ. — Какая-нибудь крупная научная работа?

— И весьма даже. Тебя, Несторъ, вѣроятно, тоже къ дѣлу привлечемъ: ты вѣдь знаешь одинаково хорошо и по-французски и по-нѣмецки.

— И по-итальянски!

— Ну, вотъ. Бѣда только, что въ нашей казенной библіотекѣ такъ мало новѣйшихъ источниковъ, кромѣ французскихъ...

— А кто виноватъ въ томъ? — вмѣшался Гоголь. — Кому заботиться о библіотекѣ, какъ не тебѣ, правой рукѣ Ландражина?

— Да, я помогаю ему при разборкѣ, при выдачѣ книгъ, — сказалъ Рѣдкинъ, — но выписка ихъ — его дѣло, а милѣйшій нашъ Иванъ Яковлевичъ не признаетъ почти ничего, кромѣ своей французской литературы.

— Такъ ты втолковалъ бы ему...

— Какъ же! поди-ка, потолкуй съ этимъ порохомъ-французомъ! Онъ — все-таки профессоръ, я — студентъ, и, взявшись разъ изъ любезности завѣдывать библіотекой, онъ уже никакихъ резонновъ не принимаетъ.

— Ну, и Господь съ нимъ; своими средствами обойдемся. А что вы скажете, господа: не выписывать ли намъ въ складчину изъ Москвы и Петербурга русскіе книги и журналы?

Предложеніе нашло общее сочувствіе. Самого Гоголя, какъ подавшаго первую мысль, выбрали въ библіотекари; Кукольникову же, какъ любимчику директора, было поручено выхлопотать у Ивана Семеновича надлежащее разрѣшеніе.

— Итакъ когда же слѣдующее чтеніе? — спросилъ онъ. — И кто читаетъ? Ты, Яновскій?

— Конечно, онъ! — отвѣчалъ за пріятеля Проккоповичъ. — Неправда ли, господа?

— Да, да, разумѣется.

— Благодарю, благодарю! не заслужилъ! — отозвался Гоголь, съ комической ужимкой прикладывая руку къ сердцу. — У меня уже наклеивается нѣкоторая идея. Но для выполненія ея мнѣ надо по меньшей мѣрѣ недѣльки двѣ.

— Затмить меня хочеть! — свысока усмѣхнулся

Кукольникъ. — Затмѣвай! И солнце свѣтитъ, и мѣсяцъ свѣтитъ.

— Гдѣ ужъ мѣсяцу затмить солнце? Но представить на общій судъ нѣчто новенькое, совсѣмъ особой фабрикаціи.

— Вотъ какъ? Что же именно?

— А это покуда моя тайна.

— За семью печатями? Все тотъ-же тайный совѣтникъ или даже дѣйствительный тайный!





ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

Библиотекарь и альманашникъ.



ля Гоголя наступило горячее время. Первымъ дѣломъ по обязанности библиотекаря онъ долженъ былъ собрать съ товарищей по добровольной подпискѣ необходимый фондъ для выписки книгъ и журналовъ и распорядиться самою выпиской ихъ изъ столичныхъ книжныхъ магазиновъ и редакцій. Но еще до этого ему и Кукольнику пришлось выслушать серьезное поученіе отъ директора, не сейчасъ склонившагося на ихъ просьбу.

— Я напомню вамъ драгоценныя слова древняго, но вѣчно-юнаго философа Сенеки,—говориль Орлай:—обильныя кушанья не питаютъ желудка, а засоряютъ; такъ и книги въ большомъ количествѣ только обременяютъ мозгъ, не принося пользы.

— А въ писаніи, ваше превосходительство, сказано, — возразилъ Гоголь: — «красота воину оружіе, а кораблю вѣтрила; тако и праведнику почитаніе книжное. Отъ книгъ же въ печали утѣшеніе и узда воздержанію».

— Вѣрно; но кто отвѣчаетъ за вашъ здравый выборъ? Лучше, други мои, перечитывать одного хорошаго автора по два, по три раза, чѣмъ глотать безъ разбора всякую дрянъ и нажить такъ-сказать катарръ ума и сердца.

— А для чего же у насъ такой превосходный докторъ по части ума и сердца?

— Кто такой?

— Да вы же сами, Иванъ Семеновичъ. Вы предпишете намъ здоровую діету; но будьте милостивы: не слишкомъ строгую!

— Умѣренная діета, точно, полезнѣе слишкомъ строгой,—улыбнулся въ отвѣтъ Орлай.—Но при вашей разсѣянности и неряшливости, Николай Васильевичъ, бібліотека у васъ, боюсь я, будетъ скоро представлять полный хаосъ.

— О! напротивъ. Вотъ увидите, какой я заведу въ ней идеальный порядокъ.

«Идеальнаго» порядка онъ хотя и не достигъ, но для неряхи онъ дѣйствительно принялся за свои новыя обязанности съ рѣдкою педантичностью. По мѣрѣ того, какъ приходили выписанные изъ Москвы и Петербурга книги и журналы, онъ разставлялъ ихъ аккуратно по полкамъ книжнаго шкапа въ отведенной для студенческой бібліотеки комнатѣ и ключъ отъ шкапа носилъ всегда при

себѣ; выдавая же книги, не разрѣшалъ читателямъ уносить ихъ съ собой, а садилъ каждаго въ той-же комнатѣ на опредѣленный стулъ, съ котораго тотъ не смѣлъ сходить до возвращенія книги. Кромѣ того, чтобы книги не страдали отъ частаго перелистыванія, онъ придумалъ мѣру совсѣмъ своеобразную, хотя и не очень-то практическую.

Приходить, бывало, товарищъ и просить дать ему такой-то номеръ такого-то журнала. Гоголь молча тычетъ указательнымъ перстомъ на свободный стулъ, направляется къ шкапу, отпираетъ его и достаетъ желаемый номеръ; но, не вручая еще его читателю, требуетъ, чтобы тотъ показалъ ему обѣ «лапы».

Читатель недоумѣваетъ:

— На что тебѣ?

— Покажи!

— Ну, на, любуйся.

— Э-э! — говоритъ библіотекаръ. — Поди-ка, друже милый, умойся.

— Буду я для тебя лишній разъ мыться!

— Ну, такъ не взыщи: надѣнемъ тебѣ нако-нечники.

Со дна того-же шкапа появляется полная коробка бумажныхъ наперстковъ.

— Что за глупости? — говоритъ товарищъ.

— По-твоему глупости, а по-моему умнѣйшее изобрѣтеніе девятнадцатаго вѣка, на которое я возьму еще привилегію. Безъ оконечниковъ, такъ и знай, тебѣ все равно не видать моихъ книгъ, какъ ушей своихъ. Ну, что же?

Смѣется тотъ, но, нечего дѣлать, подставляетъ пальцы. Усѣвшись же на указанное мѣсто, украдкой снимаетъ опять неудобные наперстки. Вскорѣ и самъ бібліотекаръ, не безъ сердечнаго сокрушенія, долженъ былъ убѣдиться въ неудобопримѣнности прекрасной въ теоріи идеи.

Еще болѣе впрочемъ бібліотеки занимало Гоголя другое дѣло: онъ обязался вѣдь выступить передъ товарищами-эрмитами черезъ двѣ недѣли съ своей собственной литературной новинкой. Но то, что онъ замыслилъ, при постоянныхъ школьныхъ занятіяхъ выполнить одному въ двухнедѣльный срокъ было очень трудно, и послѣ нѣкоторыхъ колебаній онъ рѣшился взять себѣ негласнаго сотрудника. Выборъ его палъ на Базили, который все еще не выходилъ изъ лазарета. Гоголь спустился въ лазаретъ. Въ полутемномъ коридорѣ онъ столкнулся съ лазаретнымъ фельдшеромъ Евлампіемъ.

— Здорово, Гусь! Есть кто у Базили?

— У Константина Михайловича? Есть, — былъ отвѣтъ: — и почетные гости; меня вотъ въ городъ за угощеніемъ отрядили.

— Какіе гости?

— А господинъ Рѣдкинъ и господинъ Тарновскій.

— Пострѣлъ бы ихъ побралъ! Нечего дѣлать, завтра заглянемъ.

На другой день онъ былъ счастливѣе: Базили оказался одинъ.

— Константину-эфенди наше нижайшее! —

привѣтствовалъ его Гоголь, по турецкому обычаю прикладывая руку къ губамъ и лбу. — Кефенеземъ эфендимъ!

— Алейкумъ селамъ! — отвѣчалъ Константинъ-эфенди съ слабою улыбкой. — Не забылъ, вишь?

— Еще бы забыть! Ну, какъ кейфуетъ эфенди? Какъ время коротаетъ?

— И не спрашивай! Скука смертная!

— А я вотъ къ тебѣ, душа моя, съ предложениемъ разогнать твою скуку.

— Очень тебѣ благодаренъ. Въ чемъ дѣло?

— Дѣло наисубтильное и пока наисекретное. Ты слышалъ уже, конечно, что Возвышенный услаждалъ насъ въ эрмитажѣ своей новой поэмой?

— Слышалъ, и очень жалѣю, что не могъ быть при этомъ.

— Много, братъ, потерялъ, чрезвычайно много! Фу ты, какъ пишетъ этотъ человѣкъ! Господи Боже мой! отчего я не умѣю такъ писать?

— Тебя не разберешь, Яновскій: смѣешься ты надъ нимъ или въ самомъ дѣлѣ завидуешь?

— Разумѣется, завидую! Еще бы не завидовать? Этакій небывалый, дьявольскій талантъ! На слѣдующій разъ впрочемъ позабавить публику поручено мнѣ.

— А! И у тебя уже кое-что приготовлено?

— Только назрѣваетъ. Для разнообразія хочу угостить чѣмъ-нибудь попикантнѣе.

— Въ родѣ винегрета?

— Вотъ, вотъ. Сейчасъ видна умная башка: сразу догадался. Я готовлю цѣлый альманахъ. Пе-

рецъ да горчица — стишки да анекдотцы у меня найдутся. Недостаетъ только чего-нибудь посолиднѣе, — сочнаго филе. Такъ вотъ о такомъ-то филе я тебѣ, эфенди, челомъ бью!

— Да я-то откуда его тебѣ добуду?

— А съ твоей константинопольской бойни: опиши звѣрства турокъ, какъ Богъ на душу положитъ, — чего сочнѣе? А времени у тебя тутъ въ лазаретѣ, слава Богу, ровно 24 часа въ сутки.

— До вчерашняго дня было; но теперь я уже не свой человѣкъ, я себя надолго закабалилъ.

Лицо альманашника вытянулось и омрачилось.

— Ужъ не Рѣдкину ли и Тарновскому?

— Именно.

— Караулъ! Такъ вѣдь и чуялъ! Злодѣи! грабители! Кусокъ прямо изо рта вырываютъ!

— Нѣтъ, у нихъ задумано нѣчто совсѣмъ другое, какъ у тебя.

— Что же такое?

— А сокращенный курсъ всеобщей исторіи по иностраннымъ источникамъ. Двоимъ выполнить такой капитальный трудъ, разумѣется, не по силамъ: одной римской исторіи Роллена и Кревье придется одолѣть не болѣе, не менѣе, какъ 16 томовъ; всеобщей исторіи англійскаго ученаго общества нѣсколько кварталовъ... На мой пай выпали египтяне, ассиріяне, персы и греки.

— Удовольствіе тоже, признаюсь!

— Какъ, братъ, кому. Мнѣ это занятіе улыбается лучше иного романа. Несторъ тоже изъяснилъ уже согласіе.

*

— Ну, понятно, ему-то какъ не быть тутъ! Ахъ, безбожники! Ахъ, разбойники! Чтобъ вамъ ни на семъ, ни на томъ свѣтѣ ни одного романа ни токмо не прочесть, но не понюхать!

— Да мы-то съ Рѣдкинымъ и такъ уже не падки на эти лакомства. Но будто у тебя, Яновскій, и безъ меня не найдется сотрудииковъ? Хоть бы закадычные друзья твои: Данилевскій и Прокоповичъ.

Гоголь безнадежно рукой махнулъ.

— Данилевскій, правда, больше мечтаетъ о военной службѣ,—согласился Базили.—Но Прокоповичъ пишетъ очень порядочныя классныя сочиненія...

— Его я имѣю въ виду какъ послѣднюю соломинку,—сказалъ Гоголь.—Къ тебѣ же, душенька, обращаюсь какъ къ солидному бревну.

— Спасибо, одолжилъ!

— Да вѣдь на краеугольномъ бревнѣ цѣлый домъ держится. Такъ что же, милушка, лапушка? Ну, что тебѣ значить — дать хоть небольшую этакую статейку? Вѣдь тема, я говорю, богатѣйшая, а перо у тебя пребойкое: окунулъ — и готово.

— Ужъ, право, не знаю... Я вообще не въ такомъ настроеніи...

— Такъ я тебя настрою. Почесать тебѣ пятки? Хохлы наши это очень уважаютъ.

— Нѣтъ, нѣтъ, сдѣлай милость, оставь! Я вѣдь не хохоль...

— Такъ влѣпить тебѣ братскую безешку?

Изволь, мордашка, чернушка, соплюньчикъ ты мой!

И, взявъ въ руки голову топорщившагося, Гоголь смачно его чмокнулъ въ ротъ.

— Откуда у тебя, братъ, берутся эти милыя прозвища? — разсмѣялся Базили, утирая губы. — «Соплюньчикъ!»

— Да чего ласкательнѣе? Спроси любую кормилицу. Но теперь мы съ тобой побратались и договоръ нашъ запечатали. Никакихъ уже отговорокъ!

— Запечатали, это вѣрно, — вздохнулъ Базили. — А еще говорятъ, что мы, греки, хитрый народъ. Куда ужъ намъ противъ васъ, хохловъ!

Заручившись такимъ образомъ сотрудникомъ, Гоголь принялся за свой альманахъ съ небывалымъ рвеніемъ. Въ библиотечной комнатѣ, куда онъ для этого уединялся, никто его не тревожилъ, потому что выписанные книги и журналы въ то время еще не прибыли. Сотрудникъ сдержалъ свое слово и доставилъ свою статейку. Самъ альманашникъ заготовилъ остальное. Но переписка набѣло требовала также не мало времени и была окончена только къ вечеру наканунѣ чтенія. Обложка же не была дорисована. Ради нея приходилось пожертвовать ночнымъ покоемъ.

Выждавъ нѣсколько минутъ послѣ полуночнаго дозора инспектора, Гоголь тихохонько приподнялся съ постели. Лампы были потушены, но, благодаря полнолюнію, въ спальнѣ было доста-

точно свѣтло, чтобы одѣться, не нарушая сна окружающихъ, а затѣмъ найти и выходъ въ коридоръ. У самой двери, однако, Гоголь чуть не споткнулся на чей-то сапогъ и, самъ испугавшись произведеннаго шороха, поскорѣе проскользнулъ въ дверь.

Такъ онъ не замѣтилъ, что тотчасъ же на ближайшей къ двери кровати присѣла чья-то бѣлая тѣнь, натянула носки, накинула одѣяло и также шмыгнула въ коридоръ.

Самъ Гоголь тѣмъ временемъ въ библиотечной комнатѣ зажегъ уже свѣчу и разложилъ передъ собою на столѣ свой альманахъ и всѣ рисовальныя принадлежности. Растирая на блюдечкѣ краски, онъ, какъ истый художникъ, критически любовался своей работой: то отдалялъ ее отъ глазъ, то приближалъ къ нимъ; то сжималъ, то выпячивалъ губы и наклонялъ голову то направо, то налево. Работа, въ самомъ дѣлѣ, была мастерская: по свѣтло-палевому фону обертки было разлито лучистое сіяніе готоваго выглянуть изъ-за горизонта солнца; среди сіянія чернѣла большими печатными литерами надпись:

«Сѣверная Заря».

Внизу же не менѣе искусно, но мельче, было выведено:

«Редакторъ и издатель Н. Гоголь-Яновскій».

— Экая роскошь, чортъ возьми!—самъ себя похвалилъ вполголоса художникъ.—Шедевр!

— Шедевр! раздалось за его спиной восторженное эхо.—Именно что такъ.

Гоголь вздрогнулъ, живо накрылъ рукавомъ свой рисунокъ и сердито обернулся: надъ нимъ стоялъ, задрапировавшись въ свою ночную тогу, остзейскій патрицій, Риттеръ.

— Прости, Яновскій, — началъ, запинаясь, оправдываться барончикъ:—но я думалъ, что ты лунатикъ...

— Думаютъ одни индѣйскіе пѣтухи да умные люди,—проворчалъ Гоголь.—А ты просто хотѣлъ подглядѣть изъ пустого любопытства.

— Ахъ, нѣтъ. Я самъ тоже, видишь ли, собралъ букетъ своихъ стиховъ, и ты поймешь, милый мой...

— Понимаю, немилый мой: охота смертная, да участь горькая. Куда конь съ копытомъ, туда и ракъ съ клешней. Ну, а теперь проваливай: мнѣ надо еще до утра окончить. Только чуръ—никому ни единого слова!

— Само собою. Но дай чуточку еще полюбоваться-то!

Онъ просилъ такъ умильно, что художникъ не устоялъ и раскрылъ опять свой рисунокъ.

— Ну, нѣ, гляди. Тутъ кругомъ, видишь ли, будутъ еще арабески. Вопросъ только—въ какомъ стилѣ: въ готическомъ, византійскомъ или романскомъ?

— О, у тебя все выйдетъ первый сортъ. Вѣдь вотъ и заглавіе-то какое выбралъ: «Сѣверная Заря!» А я день и ночь голову ломаю—думаю, не придумаю, какъ назвать свой сборникъ: «Па р-

насскія Розы», «Парнасскіе Ландыши» или «Парнасскія Фіалки»? Для цвѣтовъ поэзіи хотѣлось бы что-нибудь поароматнѣй...

— Поароматнѣй?—переспросилъ Гоголь, и будь Риттеръ менѣ простъ, онъ уловилъ бы въ голосѣ его предательскую ноту.—Такъ и быть, придумаю тебѣ.

— Ахъ, пожалуйста, удружи!

— А ты когда намѣренъ поднести свой букетъ?

— Да хотѣлъ было тоже завтра; все у меня уже переписано. Но безъ этакой заглавной картинки, вижу теперь, совсѣмъ не то. Самъ я рисовать не умѣю; просить же тебя не смѣю...

— Поэтъ, какъ есть поэтъ; стихами заговорилъ! Ну, что жъ, для милаго дружка и сережка изъ ушка. Хотя все утро просижу, а нарисую тебѣ и виньетку, только подъ однимъ, братъ, уговоромъ: не подглядывать!

— Нѣтъ, нѣтъ! даю слово.

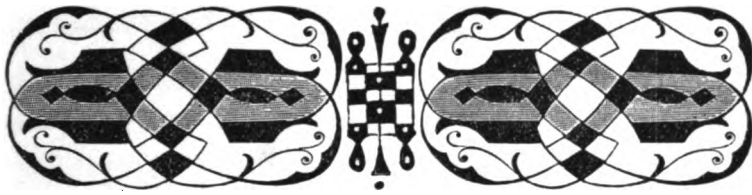
— Честное слово остзейскаго Фонтика?

— Да, да. Не знаю, какъ и благодарить тебя, Яновскій...

— Не торопись, поспѣешь. А теперь, mein Lieber, leben Sie wohl, essen Sie Kohl...

— Иду, mein Lieber, иду!





ГЛАВА ВОСЬМАЯ.

Расцвѣтъ и разгромъ эрмитажа.

День, выбранный эрмитами для второго чтенія, былъ воскресный, и потому чтеніе могло состояться сейчасъ послѣ обѣда; при чемъ на этотъ разъ въ ихъ замкнутый кружокъ въ качествѣ гостей были допущены, по просьбѣ Гоголя, и два лучше его друга, равнодушные къ литературѣ: Высоцкій и Данилевскій.

На дворѣ стояла глубокая осень; вся земля вокругъ эрмитажа была усыпана завядшими листьями, и полуобнаженные клены и липы укоризненно-тоскливо простирали свои трепещущія послѣдними золотыми блестками руки къ низкостоящему, почти не грѣющему уже солнцу. Но на душѣ молодежи была все та-же неувядающая, жизнерадостная весна. Весело перемигиваясь, наблюдали

всѣ за Гоголемъ, какъ тотъ бережно развертывалъ изъ газетной бумаги какія-то двѣ цвѣтныя тетради: свѣтло-палевую и ярко-розовую.

— Дай-ка взглянуть!—сказалъ Риттеръ, узнавшій въ одной изъ нихъ свой собственный сборникъ.

Но Гоголь невозмутимо отстранилъ протянутую руку и завернулъ вторую тетрадь снова въ бумагу со словами:

— Забылъ нашъ уговоръ: не подглядывать? Твои цвѣты я приберегаю для десерта.

— Такъ барончикъ тоже набралъ кошницу цвѣтовъ своей музы?—спросилъ одинъ изъ эрмитовъ.

— О! такое благовоніе, что за три версты расчихаешься,—отвѣчалъ Гоголь.—У меня же простая берестовая корзинка съ полевыми цвѣточками, съ лѣсными грибочками. Единственную крупную заморскую ягоду доставилъ мнѣ нашъ общій другъ, Базили-эфенди, и рѣдкостную ягоду сію вы, конечно, тотчасъ узнаете по духу и вкусу. Чѣмъ богатъ, тѣмъ и радъ.

Къ сожалѣнію, мы лишены возможности передать подробный перечень статей перваго альманаха нашего великаго юмориста, такъ какъ альманахъ этотъ не дошелъ до насъ *). Но о томъ, въ какомъ родѣ должно было быть его содер-

*) Желаящимъ ознакомиться съ литературнымъ талантомъ «сотрудника» Гоголя, Базили, рекомендуемъ прочесть изданную имъ, нѣсколько лѣтъ спустя (въ 1835 г.), очень интересную книгу: «Очерки Константинополя».

жаніе, можно составить себѣ нѣкоторое понятіе по сохранившемуся первому номеру рукописнаго журнала, выпущенному Гоголемъ, 3 мѣсяца спустя, подъ заглавіемъ:

«Метеоръ Литературы».

«Январь 1826».

Эпиграфомъ этого номера служатъ 8 начальныхъ строкъ крыловской басни: «Орелъ и Пчела» *). Содержаніе же слѣдующее:

Проза: 1. «Завѣщаніе» (повѣсть съ нѣмецкаго) и 2. «Ожесточенный» (начало оригинальной повѣсти).

Стихотворенія: 1. «Пѣснь Никатомы» (отрывокъ изъ оссіановой поэмы «Берратонъ»), 2. «Битва при Калкѣ», 3. «Альма» (вождь угровъ, проходившихъ по Днѣпру), 4. «Подражаніе Горацію», 5. «Романсъ», 6. «К***» (на одно прекрасное утро), 7. «Эпиграмма» (насмѣшка некстати) и 8. «Эпиграмма».

*) Эпиграфъ до того характеристиченъ для самого Гоголя, что мы выписываемъ его для читателей, не имѣющихъ подъ рукою басенъ Крылова:

«Счастливъ, кто на чредѣ трудится знаменитой:

Ему и то ужъ силы придаетъ,

Что подвиговъ его свидѣтель цѣлый свѣтъ;

Но сколь и тотъ почтенъ, кто, въ низости сокрытый,

За всѣ труды, за весь потерянный покой

Ни славою, ни почестями не льстится

И мыслью оживленъ одной,

Что къ пользѣ общей онъ трудится.»

Изъ 42 страницъ текста 22 приходится на прозу и 20 на стихи. Содержаніе (за исключеніемъ эпиграммъ) — романтически-сентиментальное, форма—вообще напыщенная и въ стихахъ не безупречная по части рима и размѣра. Удачнѣе остального послѣдняя изъ двухъ эпиграммъ:

«Нашъ Вралькинъ въ мірѣ семъ рѣдчайшій человѣкъ!
 Подобнаго ему не сыщешь въ цѣлый вѣкъ.
 Какъ станетъ говорить—заслушаться всѣмъ надо,
 Какъ станетъ—такъ и рай вдругъ сдѣлаетъ изъ ада.
 Былъ въ Римѣ, въ Лондонѣ... да гдѣ онъ не бывалъ—
 Весь міръ на языкѣ искусно облеталъ.»

Время было праздничное, погода солнечная, настроеніе молодыхъ слушателей—точно также, а читалъ Гоголь и тогда уже мастерски, особенно юмористическія вещи. Такою же вещью заканчивался его первый альманахъ «Сѣверная Заря»; поэтому, когда онъ дочиталъ ее, кругомъ раздался единодушный смѣхъ, а друзья его ударили въ ладоши:

— Умора! Вотъ комикъ-то! Второй Фонвинъ!

Не смѣялся только самъ чтець. Большими глазами съ непритворнымъ удивленіемъ онъ оглядѣлъ смѣющихся.

— Будто ужъ такъ смѣшно! Читалъ я, кажется, серіознѣйшимъ манеромъ...

— Вотъ въ этомъ-то и верхъ комизма,—сказалъ Высоцкій:—самое потѣшное читать съ милой новорожденнаго младенца. Вообще, братъ Яновскій, я совѣтовалъ бы тебѣ приналечь на

сей жанръ, разработать «низменнымъ» слогомъ рядъ силуэтовъ съ натуры, никого лично не задѣвая: *nomina sunt odiosa* (имена воспрещены).

— Въ какомъ напимѣрь родѣ?

— Да хоть бы въ такомъ: современный стоикъ, маленькій, лысенькій, съ торчащею только надъ ушами да на затылкѣ нечесанной мочалкой; круглый годъ беретъ холодныя ванны; зимою же, дабы не изнѣжиться, не вставляетъ у себя двойныхъ рамъ и даже въ лютые морозы садится въ шлафортъ нараспашку кейфовать у открытаго окошка, а при немъ на подоконникѣ адъютантами возсѣдаютъ два мохнатыхъ цербера, изрыгающихъ, какъ два маленькихъ «вулкана», поистинѣ собачью брань на прохожихъ обоого пола всѣхъ возрастовъ и званій.

— Bravo, Высоцкій! Вотъ такъ силуэтикъ!— захохотали кругомъ товарищи, тотчасъ, конечно, узнавшіе въ описанномъ стоикѣ учителя ариѳметики въ четырехъ низшихъ классахъ—Антонъ Васильевича Лопушевскаго, чудака-холостяка, съ его двумя презлыми собачонками, такъ и прозванными имъ Вулканами, которыя безотлучно сопровождали его на всѣхъ прогулкахъ и кидались съ лаемъ на незнакомыхъ и знакомыхъ.

Между тѣмъ альманахъ Гоголя шелъ по рукамъ. Кто перечитывалъ эпиграммы, кто любовался разрисованною обложкой.

— Въ слѣдующій разъ я дамъ можетъ-быть и нѣсколько иллюстрацій, — пояснилъ альманашникъ и досталъ изъ газетнаго листа розовую

тетрадку Риттера.—А теперь, государи мои, прошу сугубаго вниманія. Взгляните на нашего общаго любимчика Мишеля. Видите ли, какъ тамъ ви-
таетъ нѣчто неуловимое? Вы думаете, что то глупая муха или мошка? О, нѣтъ! то сама богиня баронскихъ фантазій. Чуете ли вы бьющіе въ нозь ароматы? Вы думаете, что попали на свѣжеудобренное поле? Пожалуй, что и такъ. Но какое то поле? Вотъ вопросъ! Поле нашей отечественной словесности, какъ вѣдомо всѣмъ и каждому отъ глашатая оной, Парфенія Ивановича Никольскаго, мало еще обработано, того менѣе удобрено и зѣло скудно подобающими произрастеніями. И вотъ—нашелся добродѣтельный мужъ, который, по достохвальному образу незабвеннаго Василія Кирилловича Тредьяковскаго, на удобрение російскаго Парнаса вытрясъ съ своего сердца всю дрянь, которая тамъ накопилась.

Съ этими словами шутникъ предъявилъ товарищамъ сборникъ Риттера. И что же? На розовой оберткѣ красовалась весьма замысловато составленная изъ переплетенныхъ между собою навозныхъ вилъ надпись:

«Парнасскій Навозъ».

Кошкѣ—игрушки, мышкѣ—слезки. Въ то самое время, какъ товарищи разразились гомерическимъ хохотомъ, непризнанный стихотворъ готовъ былъ расплакаться и вырвалъ свою тетрадь съ ожесточеніемъ изъ рукъ обидчика.

—Такъ-то ты исполняешь свои обѣщанія!

— Да развѣ я ихъ не исполнилъ!— совершенно серьезно отозвался Гоголь.— Не самъ ли ты просилъ у меня чего-нибудь поароматнѣй?

— А вотъ увидишь, что стихи мои еще переживутъ меня!

— А тебя докторъ приговорилъ уже къ смерти? О, вай миръ! Господа! заказывайте панихиду барону.

— Успокойся, Мишель,—вмѣшался тутъ Высоцкій:— васъ обоихъ: и тебя, и Яновскаго, будутъ читать еще тогда, когда Державина и Жуковскаго, Батюшкова и Пушкина давно не будетъ въ поминѣ,—но не ранѣе. Впрочемъ, если Яновскій и остроумнѣе тебя, то ты зато блестящимъ образомъ доказалъ, что одинъ дуракъ иной разъ можетъ потѣшать публику болѣе десяти остроумцевъ *).

— Будетъ, господа, всему есть мѣра,—замѣтилъ самый степенный изъ эрмитовъ, Рѣдкинъ.— Всѣ мы здѣсь покамѣстъ дилетанты. Что есть у барончика охота писать—и то благо. Скоро однако наступятъ морозы, и собираться на вольномъ воздухѣ намъ уже не придется. Такъ вотъ, не сходиться ли намъ тогда у меня? Жилье мое не

*) Одно стихотвореніе Риттера, именно посланіе къ товарищу его Симоновскому (подъ инициалами «Къ И. П. С....му»), во всякомъ случаѣ было напечатано—въ московскомъ «Дамскомъ Журналѣ» и не далѣе, какъ въ слѣдующемъ же 1826 г. Появлялось ли и затѣмъ что-нибудь въ печати изъ произведеній непризнаннаго поэта—намъ неизвѣстно.

велико, но тѣмъ уютнѣе; а Иванъ Григорьевичъ насъ навѣрное не стѣснитъ.

(Иванъ Григорьевичъ Мышковскій былъ вновь назначенный молодой надзиратель, жившій на вольной квартирѣ и державшій у себя пансіонеровъ изъ вольноприходящихъ воспитанниковъ, къ которымъ принадлежалъ и Рѣдкинъ).

Предложеніе Рѣдкина было принято остальными эрмитами, разумѣется, съ благодарностью.

— А что же, господа, неужто нашему сегоднешнему веселію такъ и конецъ?—спросилъ Данилевскій.—Литературныя чтенія обыкновенно завершаются танцами. Какъ ты думаешь, Несторъ, насчетъ маленькой кадрили?

— Думаю, что времени терять нечего,—отвѣчалъ Кукольникъ и галантно протянулъ руку Прокоповичу, который, благодаря своему пухлому, румяному лицу, могъ сойти за даму:— *Accordez moi la contredanse, mademoiselle?*

Данилевскій въ свою очередь обратился къ женоподобному Риттеру, который все еще держался въ сторонѣ, нахохлившись, какъ раззадоренный пѣтухъ:

— *Bitte um einen Tanz, mein Fräulein!*

Тотъ хотѣлъ было уклониться, но кавалеръ насильно потащилъ его за собою.

«Я хочъ дивка молода,
Та вже знаю, шо бида,»

затянулъ Кукольникъ, и какъ остальные танцоры, такъ и зрители дружно подхватили:



Петръ Григорьевичъ
РЪДКИНЪ
(въ 1850-хъ годахъ).

«Ой, лихо—не Петрусь!
Лице биле, черный усъ.»

Съ тѣхъ поръ, что танцуютъ вообще французскую кадрили, едва ли не впервые танцовали ее подъ звуки залихватской малороссійской пѣсни, да еще какъ! Трое изъ танцующихъ: Кукольникъ, Данилевскій и Риттеръ — считались среди нѣжинской молодежи лучшими танцорами; а тутъ они старались еще превзойти себя въ комическихъ прыжкахъ и ужимкахъ. Всѣхъ характернѣе однако былъ Риттеръ: съ самымъ мрачнымъ видомъ, какъ приговоренный къ смерти, онъ въ потѣ лица выдѣлывалъ такіе удивительные пируэты, какіе французамъ и во снѣ не снились.

— Каково вѣдь откалываетъ?—замѣтилъ про него Высоцкій:—точно крыловская стрекоза:

«Ты все пѣла? Это дѣло;
Такъ поди же, попляши!»

— Заплясать свое горе хочеть, — философически пояснилъ Рѣдкинъ.

Между тѣмъ хоровая вокальная музыка, сопровождавшая лихую кадрили, неожиданно привлекла двухъ молодыхъ зрительницъ: Оксану, дочь старика-огородника, владѣнія котораго непосредственно примыкали къ графскому саду, и одну изъ ея подругъ. По случаю праздника обѣ разрядились, что называется, въ пухъ и прахъ и—какъ знать?—были рады показаться разъ молодымъ паничамъ во всемъ своемъ блескѣ. Живописный малороссійскій костюмъ, дѣйствительно, шелъ какъ нельзя болѣе

къ ихъ свѣжимъ загорѣлымъ лицамъ. Остановившись по ту сторону невысокаго вала и канавки, отдѣлявшихъ огородъ отъ сада, онѣ вполголоса обмѣнивались впечатлѣніями:

— Гай, гай! прудкѣй якъ витерь у поли! — говорила одна про Риттера.

— Оце сокиль, не парубокъ! — говорила про Данилевскаго другая.

Данилевскій-соколь первый же ихъ окликнулъ:

— Здорови булѣ, дивчата!

— И вы здоровеньки булѣ, паньчи! — бойко откликнулась Оксана, сверкая бѣлымъ рядомъ зубовъ.

— А зубки-то какіе! — замѣтилъ Гоголь: — а очи! Не очи—солнце! ей-Богу, солнце! Козырь-дивка.

— Сами козыри. Гуляйте, молодци, гуляйте, писню заспивайте!

— А вамъ не охота? Эй, паны - товарищи, парубоцтво честне! что же вы не пригласите ихъ хоть на гопака? Гопъ-трала! гопъ-трала!

— Ну, вже такъ! — испугалась дивчина. — Чого намъ бильшь тутъ дожидатись, Кулино? Ходимъ до дому.

— Годи жъ, годи, моя зозуленько! — остановилъ ее тутъ Данилевскій. — Держи ихъ, братцы: утукуть!

Не успѣли двѣ бѣглянки сдѣлать двадцати шаговъ между капустныхъ грядъ, какъ были уже настигнуты. Завязалась неравная борьба.

— Пустить, батечки-голубчики, пустить! — раз-

давалось сквозь плачь и смѣхъ.—Ой, не давить же такъ... Будьте ласкави...

Но, какъ ни отбивались дебелыя дивчины, а увлекаемая каждая двумя кавалерами, волей-неволей должны были двинуться обратно къ эрмитажу.

— Науме!—заголосила благимъ матомъ Оксана.

Наумъ же, ражій батракъ ея старика-отца, какъ по шучьему велѣнью, былъ уже тутъ какъ тутъ. Прежде, чѣмъ танцоры успѣли переправить своихъ дамъ на ту сторону нейтральной полосы, онъ нагрязнулъ съ здоровеннымъ коломъ, выдернутымъ изъ обветшалаго частокола. Крики боли, брань и проклятья... Въ слѣдующую минуту двѣ освобожденныя сабинянки мчались уже по грядамъ безъ оглядки, а сабинянинъ, отмахиваясь дубинкой, вслѣдъ за ними.

— Ай да герои! Лавровъ сюда, поскорѣ лавровъ или хоть капуста!—говорилъ Гоголь, спокойно наблюдавшій изъ эрмитажа за неудачной вылазкой танцоровъ, которые и со стороны остальныхъ зрителей были встрѣчены заслуженными насмѣшками.

Но неудача ихъ имѣла еще и дальнѣйшія послѣдствія. На другое утро эрмитажъ оказался разгромленнымъ, стертымъ съ лица земли. Кто слѣлалъ это? Самъ родитель Оксаны по жалобѣ дочки или не въ мѣру усердный батракъ? Кто бы то ни былъ, злодѣй заслужилъ примѣрнаго наказанія. Въ тотъ же день эрмитажъ былъ опять возстановленъ, а подъ вечеръ разставлены кругомъ

караульщики изъ своей же братіи эрмитовъ. Ждать имъ пришлось недолго. Вотъ изъ огородничьей хаты показывается Наумъ съ заступомъ на плечѣ и подбирается опять къ эрмитажу. Вотъ перескочилъ канаву и, стоя на валу, опасно озирается. Иди, иди, друже, не бойся! Но едва лишь онъ приблизился къ дерновой скамьѣ и занесъ свой заступъ, какъ мстители стаей коршуновъ налетѣли на него изъ засады и, не внимая никакимъ мольбамъ, поволокли преступника къ недалекому пруду.

Дѣло было въ октябрѣ, когда начались первые заморозки. Надъ прудомъ, обсаженнымъ ветлами и заросшимъ камышомъ и осокой, поднималось облако ночного тумана, а поверхность воды затянуло уже ледяною слюдой. Но слюда эта была еще такъ тонка, что не могла сдержатъ приговореннаго къ купанію въ ледяной купели. Когда его извлекли опять на сушу, бѣдняга весь уже окоченѣлъ, посинѣлъ и едва держался на ногахъ.

— Довольно съ тебя, братику, или нѣтъ?

— Довольно...

— Отъ себя ты это сдѣлалъ или по хозяйскому приказу...

— По приказу!..

— Ей-Богу?

— Ей же ей!

— Ладно. Съ хозяиномъ твоимъ еще раздѣлаемся. Ну, пошелъ! да впредь, смотри, не суй носа не въ свой огородъ.

А «раздѣлались» они съ хозяиномъ совсѣмъ

нехорошо: въ вечернюю же пору обѣдѣнными ножами подрубили на двухъ его огородахъ всѣ кочаны роскошнѣйшей капусты; послѣ чего, струсивъ, малодушно забѣжали впередъ: отрядили Кукольника умиловитить директора. Благородный и вспыльчивый Орлай сначала крѣпко разбушевался, и дипломату Кукольнику стоило не мало труда уговорить разгнѣваннаго защитить ихъ по крайней мѣрѣ отъ чрезмѣрныхъ требованій владѣльца капусты.

— Насѣдка цыплятъ своихъ, конечно, не выдастъ, какъ бы они ни накуралесили, — сказалъ Орлай, и, точно, когда на слѣдующій день въ гимназію пожаловалъ съ своимъ искомъ отецъ Оксаны, Иванъ Семеновичъ обратилъ его изъ истца въ отвѣтчика: указалъ ему на всю отвѣтственность, которой онъ, огородникъ, подвергъ себя, забираясь съ своимъ работникомъ въ графскій садъ и разрушая тамъ графское добро. Заключительная же угроза—донести обо всемъ губернатору—окончательно сразила старика: онъ повалился въ ноги Орлаю, умоляя отпустить его съ миромъ.

Вслѣдъ за уходомъ жалобщика къ директору были вызваны молодые проказники.

— Какъ? и вы, Рѣдкинъ, принимали участіе въ набѣгѣ на капусту нашего сосѣда?—удивился Орлай.—И вы, Яновскій? Не ожидалъ отъ васъ, признаться!

— Кое-кто изъ насъ можетъ-быть и не участвовалъ,—отвѣчалъ Рѣдкинъ.—Но всѣ мы здѣсь

члены одного литературнаго братства, связаны между собой круговою порукой и отвѣтственны другъ за друга.

— Духъ товарищества — вещь похвальная, Петръ Григорьевичъ; но связи между вашими литературными опытами и вздорными шалостями нѣсколькихъ сорванцовъ я никакой не вижу.

— Всѣ мы не ангелы, Иванъ Семеновичъ...

— Совершенно вѣрно. У каждаго человѣка въ глубинѣ сердца есть темные уголки и щели, гдѣ, подобно клопамъ, охотно ютятся разныя дурныя побужденія. Но чистоплотный человѣкъ никогда не сдѣлаетъ изъ себя клоповника, а гонитъ отъ себя малѣйшую пылинку, которая могла бы засорить его сердце...

Многое еще говорилъ Иванъ Семеновичъ, а заключилъ свое наставленіе тѣмъ-же, чѣмъ началъ:

— Духъ товарищества, други мои — прекрасная вещь, дружба — святое чувство, но можно ли считать истиннымъ другомъ того, кто наталкиваетъ васъ на дурное? Вѣрный другъ, видя ваши недостатки, указываетъ вамъ на нихъ; невѣрный другъ указываетъ на нихъ не вамъ, а другимъ. Во мнѣ вы найдете всегда только друга перваго рода. Пеняйте или нѣтъ, но я буду вести васъ только къ добру.

— Уфъ! дешево отдѣлались... — со вздохомъ облегченія говорилъ Прокоповичъ Гоголю, когда они вмѣстѣ съ другими выбрались наконецъ изъ директорской квартиры. — И безъ грозныхъ словъ, поди, въ потъ всегда вгонить.

— М-да,—согласился Гоголь: — жаль, очень жаль, что онъ не пошелъ по духовной части.

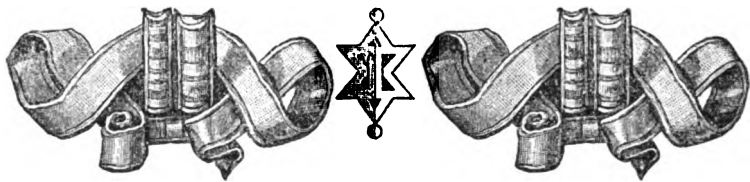
— Кто? нашъ Юпитеръ-Громовержецъ?

— Да: изъ него вышелъ бы отмѣнный проповѣдникъ. Впрочемъ, что ни говори, и умный и добрый малый.

Что «Юпитеръ»—«добрый малый», подтвердилось еще разъ вслѣдъ затѣмъ. Злая шутка, сыгранная эрмитами съ огородникомъ, дошла какъ-то до ушей профессора Билевича, и тотъ поднялъ было объ ней вопросъ въ конференціи. Но Орлай не далъ ему договорить.

— Дѣло мною рѣшено семейнымъ порядкомъ и не требуетъ пересмотра,—объявилъ онъ.— Молодежь нашалила—справедливо, но на то она и молодежь. Я самъ былъ молодъ, самъ шалилъ и знаю, что иной тихоня опаснѣе иного шалуна.





ГЛАВА ДЕВЯТАЯ.

Юпитеръ плачетъ.



Ноябрь мѣсяцъ стоялъ на исходѣ. У директора Орлая по случаю воскресенья собрались опять гости, старые и молодые, уже къ самому обѣду. Въ числѣ молодежи было и нѣсколько воспитанниковъ, между прочими также Гоголь и Кукольникъ, для которыхъ, особенно для послѣдняго, домъ начальника сдѣлался какъ-бы родственнымъ домомъ. Но на этотъ разъ непринужденно-веселое настроеніе обѣдающихъ не могло наладиться, и причиною тому былъ самъ хозяинъ: онъ былъ какъ-то необычно молчаливъ и угрюмъ.

— Что это нынче съ нашимъ Громовержцемъ? — тихонько замѣтилъ Гоголь Кукольнику. — Были у него, что ли, опять контры съ профессорами?

— Кажется, не было, — отвѣчалъ Кукольникъ, которому, какъ своему человѣку въ директорской

семьѣ, было все извѣстно ранѣе другихъ.—Но съ казуса Базили-Андрущенко все начальство наше вѣдь разбилось на два лагеря; а чѣмъ дальше въ лѣсъ, тѣмъ больше дровъ. Ну, а Иванъ Семеновичъ—человѣкъ горячій, сердечный: за всякій пустякъ готовъ распинаться.

— Только не за наши «пустячки», «аллотріи»: ихъ онъ, точно также какъ Андрущенко и Билевичъ, не очень-то долюбиваетъ.

— Потому что до сихъ поръ и стихи наши и проза, по правдѣ сказать, далеки отъ совершенства. Зато когда онъ узналъ, что мы съ Рѣдкинымъ, Гарновскимъ и Базили принялись за компиляцію всеобщей исторіи, то предложилъ намъ обращаться къ нему за справками во всякое время и такъ тепло вообще отнесся къ нашему дѣлу, что у насъ точно крылья выросли.

— Ну, да, потому что онъ самъ до мозга костей ученый, и изящная литература для него звукъ пустой. Твой «Тассо» на примѣръ какъ хорошъ! Есть тамъ такіе самородные перлы...

— Ну, да, ты намекаешь опять на моего пляшущаго Шиллера?

— Да отчего ему не плясать? Пускай пляшетъ на здоровье: ноги не отвалятся. А журналы наши? Хвалиться не хочу, но въ моемъ журнальчикѣ «Звѣзда» ты читалъ вѣдь повѣсть «Братья Твердиславичи?»

Кукольникъ скосилъ презрительно губы.

— Читалъ... Твое же дѣтище?

— Мое. А тебѣ не нравится?

— Ничего себѣ; бываетъ и хуже.

— Но рѣдко? Да, вкусы у насъ разные. Но вотъ, погоди, у меня задуманъ цѣлый романъ изъ исторіи Запорожья. Героемъ будетъ самъ гетманъ...

— Дай тебѣ Богъ. А что, Шарлотта Ивановна,— обратился Кукольникъ вполголоса къ проходившей мимо нихъ хозяйкѣ,— скажите: здоровъ у васъ Иванъ Семеновичъ?

— Я сама уже его спрашивала, что съ нимъ?— отозвалась съ озабоченнымъ видомъ Шарлотта Ивановна.— Но онъ увѣряетъ, что у него только что-то тяжело на душѣ, будто отъ тайнаго предчувствія.

— Охъ, ужъ эти мнѣ предчувствія!..— прошепталъ Гоголь, который, унаслѣдовавъ отъ матери ея мнительность, вспомнилъ вдругъ о послѣднемъ предчувствіи покойнаго отца, что его дни сочтены.

Послѣ обѣда Кукольникъ затѣялъ общую игру въ фанты, а послѣ чая сѣлъ за фортепіано и заигралъ ригурнель къ кадрили. Ледъ растаялъ. Въ общемъ весельѣ не принимали участія только двое: самъ Орлай и Гоголь. Наскоро допивъ свой стаканъ чая, Орлай всталъ и заперся въ своемъ кабинетѣ. Гоголь же, по обыкновенію, со стороны молча наблюдалъ за танцующими и по временамъ только съ тайною нервностью озирался на притворенную дверь хозяйскаго кабинета, откуда явственно слышались шаги изъ угла въ уголъ: Иванъ Семеновичъ и тамъ, видно, не находилъ себѣ покоя.

Въ самый разгаръ танцевъ Орлай внезапно появился на порогѣ, мрачно оглядѣлъ присутствующи-

шихъ, подошелъ сзади къ Кукольнику и положилъ ему на плечо руку:

— Довольно!

Музыка оборвалась на полутактѣ, танцы сами собой прекратились, а хозяинъ вдобавокъ объявилъ гостямъ:

— До свиданья, господа! Пора и по домамъ.

Сказалъ, повернулся и хлопнулъ дверью. Гости, понятно, были ошеломлены; хозяйка, совсѣмъ смущенная безтактностью мужа, не знала, что и сказать имъ, и тѣ—дѣлать нечего—собрались «по домамъ».

Собрался и Гоголь.

— Ты остаешься еще, Несторъ?—спросилъ онъ Кукольника, который одинъ только не торопился.

— Да, бѣдная Шарлотта Ивановна очень ужъ разогорчена; надо ее успокоить.

—А кстати узнай-ка тоже: что это съ предчувствіемъ Ивана Семеновича?

Остались одни домашніе да Кукольникъ. Домовитая Шарлотта Ивановна занялась въ столовой, вмѣстѣ съ дочерьми и прислугой, уборкою оставшихся послѣ гостей объѣдковъ.

— Позвольте и мнѣ помочь вамъ, предложилъ Кукольникъ, который никакъ не могъ улучшить мину, чтобы съ глаза на глазъ сказать хозяйкѣ пару словъ въ утѣшенье.—Гости придутъ—только сору нанесутъ.

Тутъ въ передней раздался нетерпѣливый звонокъ.

— Голубчикъ Несторъ Васильевичъ! посмо-

трите, кого это еще въ полночь Богъ несетъ? — сказала со вздохомъ Шарлотта Ивановна.

— А, вѣрно, кто изъ гостей вашихъ палку позабылъ, — сообразилъ Кукольникъ и пошелъ отпирать дверь.

Передъ нимъ стоялъ весь заиндевѣвшій почтальонъ и окостенѣвшими отъ холода пальцами сталъ доставать изъ своей сумки письмо.

— Эстафета изъ Таганрога.

Шарлотта Ивановна, услышавъ слова его изъ столовой, поспѣшила также въ переднюю и взглянула на конвертъ.

— Да, изъ Таганрога; и почеркъ какъ-будто знакомый... А что, пріятелю, — участливо отнеслась она къ почтальону, который, знай, топтался на мѣстѣ и дулъ себѣ въ красный кулакъ: — видно, морозить на дворѣ?

— Дуже морозно, пани-матко:

«Любивъ мене, мамо, запорожець,
Водивъ мене босу на морозець...»

— Годи бо. Сейчасъ напоятъ тебя чаемъ.

Отдавъ горничной нужное приказаніе, добрая Шарлотта Ивановна подошла къ двери мужнина кабинета и тихонько постучалась.

— Кто тамъ? — отозвался изнутри голосъ Ивана Семеновича.

— Это я, мой другъ. Эстафета къ тебѣ изъ Таганрога. Вѣрно, отъ какого-нибудь прежняго сослуживца.

Орлай отперъ дверь и, принявъ письмо, бросилъ взглядъ на адресъ.

— Отъ баронета Вилье,—промолвилъ онъ.— Хорошо, дорогая моя,—и снова замкнулся.

— Письмо отъ нашего стараго друга, придворнаго лейбъ-медика, баронета Вилье,—объяснила Шарлотта Ивановна, возвращаясь въ столовую— Государь путешествуетъ вѣдь теперь по Россіи, и Вилье, понятно, всегда при немъ.

— Они оба, значитъ, теперь въ Таганрогѣ,—сказалъ Кукольникъ.—Но что тамъ могло случиться?

— Да вотъ Иванъ Семеновичъ идетъ сюда. Сейчасъ узнаемъ.

Орлай однако не вошелъ въ столовую, а остановился въ дверяхъ. Въ лицѣ его не было ни кровинки, и видъ его былъ совершенно растерянный. Жена бросилась къ нему:

— Что съ тобою, другъ мой?

— Скончался!—вырвалось у него горькимъ воплемъ,—государь скончался! *).

И, закрывъ лицо руками, старикъ зарыдалъ. Это было какъ-бы сигналомъ для всѣхъ: кругомъ поднялся общій плачъ. Иванъ Семеновичъ махнулъ рукой и снова удалился.

— Ступайте спать, дѣти!—сказала Шарлотта Ивановна, глотая слезы.—Несторъ Васильевичъ! а вы-то что же?

Сидя въ углу на диванѣ, Кукольникъ уткнулся лицомъ въ расшитую подушку, чтобы заглушить душившія его рыданія.

*) Императоръ Александръ Павловичъ скончался 19-го ноября 1825 года.

— Ступайте, милый мой, ступайте,—увѣщевала его Шарлотта Ивановна.— Да сдержитесь немножко, чтобы товарищи ваши не замѣтили: извѣстіе это партикулярное; распространять его пока можетъ-быть не слѣдуетъ.

Кукольникъ покорно всталъ, простился и поднялся навверхъ въ спальню своего, средняго возраста. Но могъ ли онъ не подѣлиться своею горестною тайною, разрывавшею ему грудь, хоть бы съ Гоголемъ, который нарочно вѣдь просилъ его разузнать подробнѣе о предчувствіи Орлая? А Гоголь, самъ уже разстроенный ожиданіемъ какой-то катастрофы, былъ такъ потрясенъ, что громко вскрикнулъ:

— Господи, помилуй насъ! Молитесь, господа, о государѣ!

— Что съ нимъ? раздалось со всѣхъ сторонъ.

— Онъ умеръ.

Надо ли говорить, что послѣ этого никто изъ воспитанниковъ до утра не сомкнулъ уже глазъ? Поутру же и старъ и младъ собрались въ гимназической церкви къ торжественной панихидѣ; а вечеромъ того-же дня по рукамъ пошли списки патриотической элегіи, въ которой Орлай излилъ и свою и всеобщую скорбь...

Потребовались мѣсяцы, пока охватившее всѣхъ гнетущее настроеніе мало-по-малу улеглось. Объ обычномъ на масленицѣ спектаклѣ на этотъ разъ, конечно, не могло быть и рѣчи. Вольнѣе, веселѣе вздохнулось всѣмъ только весною, когда съ береговъ Невы пронесся слухъ, что молодой импе-

раторъ Николай Павловичъ проѣздомъ на югъ въ дѣйствующую армію, двинутую противъ турокъ, завернетъ и въ Нѣжинъ.

Изъ воспитанниковъ всѣхъ выше воспарилъ духомъ Кукольникъ: ему, какъ болѣе или менѣе уже признанному начальствомъ поэту, выпала честь сочинить текстъ кантаты, музыка для которой была спеціально сложена учителемъ пѣнія Севрюгинымъ.

Изъ профессоровъ же всѣхъ выше носилъ теперь голову Парфеній Ивановичъ Никольскій: какъ профессоръ російской словесности, онъ выговорилъ себѣ право привѣтствовать государя торжественнымъ словомъ. Несмотря вѣдь на всю элоквенцію, съ которою онъ на лекціяхъ своихъ отстаивалъ незыблемыя красоты твореній Ломоносова, Хераскова, Сумарокова, легкомысленная молодежь упорно предпочитала имъ «средственныя» вирши полубоговъ родного Парнаса—Озерова и Державина, а паче того «побасенки» Байрона, «побрякушки» Жуковского, Батюшкова и даже какого-то Александра Пушкина! Какъ же было не воспользоваться случаемъ выставить и родныхъ классиковъ и себя самого въ надлежащемъ свѣтѣ?

Изъ Чернигова отъ губернатора былъ полученъ высочайшій маршрутъ; послѣ многодневныхъ хлопотъ и ожиданій наступилъ наконецъ и знаменательный день. Гимназія пообчистилась и приубралась: закоптѣвшіе за зиму потолки побѣлѣли какъ молодой снѣгъ: темные разводы-муаръ, на-

ложенные на стѣны рукою времени, исчезли подъ однообразною сѣренькою, но веселенькою краской; навощенные полы такъ и блистали, классные столы и каѣдры такъ и сіяли, благоухали политурой. Какъ на заказъ, и погода выдалась чисто-табельная: весеннее солнце посылало въ открытыя окна самыя яркіе лучи свои, чтобы придать всему послѣдній лоскъ и блескъ.

Въ третьемъ этажѣ, въ спальняхъ воспитанниковъ, съ ранней зари шла шумная суетолака и возня. Все взапуски мылось, обряжалось, въ общей суетнѣ сшибаясь и мѣшая другъ другу.

— Братцы! Ради самого Создателя! у кого щетка?

— У меня. На, лови! Береги головы, господа!

Нѣсколько головъ кланяется перелетающей черезъ нихъ платяной щеткѣ.

— Да мнѣ головную!

У кого вдругъ грѣхъ съ сапогомъ: вчера вечеромъ вѣдь еще, кажется, былъ цѣлехонекъ, а за ночь, поди жъ ты, и лопнулъ; чулокъ просвѣчи-вается! Хоть чернилами зачернить.

А у Гоголя, глядь, одна пуговица на ниточкѣ виситъ: пожалуй, глупая, оборвется при самомъ государѣ.

— Ой, Семене, Семене!

Ходы, сердце, до мене.

но съ иглицей да вервиемъ.

— Скоро ли вы наконецъ, господа?—слышится сквозь общій гулъ и гамъ недовольный голосъ дежурнаго надзирателя.—Всего часть съ неболь-

шимъ до прїѣзда его величества, а вы еще и чаюто не напились.

— И такъ обойдемся!

Но вотъ всѣ готовы, спускаются во второй этажъ, въ торжественный залъ и строятся здѣсь рядами по классамъ.

Передъ заломъ, въ прїемной, въ ожиданіи августѣйшаго гостя толкуются профессора «во всемъ парадѣ». Явился даже отсутствовавшій по болѣзни послѣднія двѣ недѣли математикъ Лопушевскій. Этотъ стойкъ, совсѣмъ закалившій, казалось, свою натуру сидѣньемъ въ зимнюю стужу передъ открытымъ окошкомъ, искупался въ Острѣ тотчасъ послѣ весенняго ледохода и жестоко застудилъ себѣ зубы. Флюсь у него и теперь еще не спалъ: щека вздута и повязана чернымъ платкомъ, два кончика котораго торчкомъ торчатъ надъ лысымъ теменемъ, что даетъ школьникамъ поводъ къ шутивому спору: рѣжки ли это у него или вторая пара ушей?

Праздничный ораторъ, профессоръ Никольскій, съ завитымъ «кокомъ» надъ высоко-поднятымъ челомъ, дважды уже для пробы всходилъ на кафедру, выдвинутую на середину зала, и дважды опять сходилъ съ нея.

Директоръ съ инспекторомъ и двумя надзирателями ждуть внизу въ вестибюлѣ, а усерднѣйшій Егоръ Ивановичъ Зельднеръ, въ мундирѣ и при шпагѣ, но съ непокрытою головою, не разъ уже выбѣгалъ за ограду на улицу: не видать ли издали царской коляски?

Но нѣтъ: насталь ожидаемый часть, проходить еще часть,—а государя все нѣтъ какъ нѣтъ! Вѣрно, что-нибудь непредвидѣнное задержало.

Наконецъ кто-то скачетъ. Ужъ не нарочный-ли? Такъ и есть!—забрызганный грязью фельдъегерь на заморенномъ, взмыленномъ конѣ.

— Отъ кого?—спрашиваетъ директоръ, принимая запечатанный пакетъ.

— Отъ губернатора-съ.

Пакетъ вскрытъ, бумага развернута дрожащею рукой. Но рука читающаго опускается, лицо вытягивается, мертвѣетъ.

— Что такое, ваше превосходительство?

— Государь перемѣнилъ маршрутъ!

— И не будетъ къ намъ, значить?

— Не будетъ.

Какъ описать общее разочарованіе? А Никольскій возвелъ взоры горѣ, разставилъ руки да такъ и остолбенѣлъ.

— Царица Небесная! да что жъ это такое! Чѣмъ мы это заслужили?—вымолвилъ онъ наконецъ.—Ваше превосходительство, Иванъ Семеновичъ! Разъ намъ не суждено лично привѣтствовать нашего обожаемаго монарха, такъ ужли же всѣмъ трудамъ нашимъ и стараніямъ такъ и пропадать безслѣдно?

— Что же вамъ угодно, Парфеній Ивановичъ?—недоумѣвалъ Иванъ Семеновичъ.—Мнѣ самому крайне прискорбно за вашу рѣчь, безъ сомнѣнія превосходную; но ее, пожалуй, можно будетъ препроводить къ министру съ просьбою:

не признается ли удобнымъ повергнуть ее къ стопамъ его величества.

Парфеній Ивановичъ съ чувствомъ собственного достоинства преклонилъ голову.

— Покорнѣйше благодарствую за доброе ваше содѣйствіе и нимало не сомнѣваюсь, что признается удобнымъ. Разумѣлъ я иначе нѣчто иное: самого государя, точно, нѣтъ среди насъ, но духъ его витаеть надъ нами, и отчего бы намъ въ столь высокаторжественный моментъ не принести нашихъ вѣрноподданнѣйшихъ чувствъ передъ его изображеніемъ?

Ораторъ указалъ при этомъ на помѣщенный противъ оконъ въ золоченой рамѣ портретъ молодого императора, на дняхъ только присланный въ гимназію попечителемъ, графомъ Кушелевымъ-Безбородко, изъ Петербурга.

— Какъ вы полагаете, господа? — спросилъ Орлай остальныхъ профессоровъ.

Мнѣнія раздѣлились, но большинство оказалось въ пользу предложенія.

Учитель пѣнія, Севрюгинъ, также упавшій было духомъ, разомъ приободрился, подбѣжалъ къ хору воспитанниковъ, взмахнулъ палочкой—и тѣ довольно стройно пропѣли кантату учителя-дирижера.

Профессоръ Никольскій тѣмъ временемъ взошелъ уже на кафедру. Обратясь лицомъ къ царскому портрету, онъ прокашлянулся и сказалъ свое «слово». Произнесъ онъ его съ тою напыщенностью, безъ которой по тогдашнимъ по-

нятіямъ не-могла обойтись ни одна торжественная рѣчь. Къ сожалѣнію, и рѣчь сама по себѣ была очень ужъ витіевата, да и отсутствіе того, къ кому она относилась, не могло не расхолодить слушателей. По крайней мѣрѣ не было замѣтно, чтобы она кого-нибудь особенно тронула. Одинъ только Орлай вздыхалъ, усиленно сморкался и украдкой отиралъ себѣ глаза.

— Что это Громовержець нашъ разрюмился? — шептались между собой воспитанники. — Совсѣмъ ужъ не по-юпитерски. Лучше бы, право, гремѣлъ во всю.

Гроза не дала ждать себя.





ГЛАВА ДЕСЯТАЯ.

Этнографическій блинъ и послѣдніе перуны Громовержца.

Нодходилъ май мѣсяцъ. Въ воздухѣ совсѣмъ потеплѣло, и городскіе сады быстро позеленѣли. Разогрѣлась вновь, распустилась свѣжими почками и застывшая было за зиму дружба между Высоцкимъ и Гоголемъ, раздѣленными въ своихъ учебныхъ занятіяхъ странствомъ цѣлыхъ двухъ лѣтъ. Но первый изъ нихъ не сегодня-завтра долженъ былъ уже сдѣлаться вольнымъ казакомъ и укатить въ Петербургъ, а послѣднему предстояло еще два школьныхъ вѣка тянуть прежнюю лямку. Тутъ каждый день, каждый мигъ былъ дорогъ. И Высоцкій отправился опять отыскивать своего юнаго друга.

Нашелъ онъ его, какъ не разъ прежде, въ гимназическомъ саду на старой липѣ, гдѣ нашъ журналистъ и поэтъ, полускрытый въ зеленыхъ вѣтвяхъ, съ карандашомъ въ одной рукѣ, съ те-

традкой въ другой, бесѣдовалъ съ своею непо-
слушной музой

— Это кто тамъ: птица или ты, Яновскій?

— Птица пѣвчая.

— Ворона у зоологовъ тоже птица пѣвчая.
Слѣзай-ка внизъ; человѣкомъ быть все-таки какъ-
будто приличнѣй.

— А коли соловьемъ зашелкаю?

— Какъ же, дожидайся! Развѣ что воробыш-
комъ зачирикаешь. Но воробьевъ по огородамъ
не искать стать. Слѣзай, говорятъ тебѣ: межъ
людьми потолкаемся.

Пришлось подчиниться, сдѣлаться опять чело-
вѣкомъ.

— Скоро мы надолго разстанемся съ тобою,
Герасимъ Ивановичъ, быть-можетъ даже навсе-
гда,—заговорилъ Гоголь какимъ-то сдавленнымъ
голосомъ и не поднимая глазъ на пріятеля, когда
они завернули за ворота въ сторону города.—
Скажи же по чистой совѣсти: ты въ самомъ дѣлѣ
сомнѣваешься, что изъ меня выйдетъ порядочный
поэтъ?

— По чистой совѣсти: не токмо сомнѣваюсь,
но твердо увѣренъ, что не выйдетъ —былъ без-
пощадный отвѣтъ.—У тебя, братъ, нѣтъ для того
подходящаго пороха: ты наблюдателенъ, но под-
мѣчаешь въ жизни не изящное и прекрасное, а
одно уродливое и смѣшное.

— Потому что въ семь худшемъ изъ міровъ
уродливостей въ десять разъ болѣе, чѣмъ красотъ.
Издали-то иное и авантажно, а подойдешь, вгля-

дишься — и видишь массу прорѣхъ и изъяновъ. Какъ же тутъ не посмѣяться, не поглумиться?

— Вотъ то-то же. А истинный поэтъ, какъ напр. Пушкинъ, развѣ надъ чѣмъ глумится? Для него и грязная лужа отражаетъ чистое небо; мы же съ тобой, какъ и большинство людей, прозаики и видимъ прежде всего грязь. Но у тебя, Яновскій, какъ я какъ-то уже говорилъ тебѣ, есть самородная сатирическая жилка. Сатира сама по себѣ можетъ быть также очень почтенна. Поэзія — это такъ-сказать золото, украшающее жизнь; сатира — острое, но полезное желѣзо. Не насилуй же, не коверкай своей натуры, а разрабатывай скрытую въ тебѣ желѣзную руду.

— Легко сказать: «разрабатывай!» Развѣ тутъ въ провинціи найдешь для того сколько-нибудь годнаго матеріала?

— Даже болѣе, пожалуй, чѣмъ въ Москвѣ или Петербургѣ. Но для этого тебѣ надо спуститься съ высоты твоего птичьяго гнѣзда, окунуться до макушки въ толпу, изучать ее, какъ подлинный этнографъ, вдоль и поперекъ.

— Въ толпу? т.-е. въ простой народъ?

— Именно. Простой народъ — самый богатый, неразработанный матеріалъ, и тутъ-то ты еще скорѣе, чѣмъ гдѣ-либо, наткнешься на золотую жилу, на «человѣка». Надъ нимъ и экспериментуй.

— Совѣтовать, братъ Герасимъ Ивановичъ, куда легче, чѣмъ исполнять совѣтъ! Что бы тебѣ показать мнѣ этакій экспериментъ.

— Отчего не показать!

Они вышли въ это время на базарную площадь. Окинувъ испытующимъ взглядомъ кишѣвшую на площади толпу, Высоцкій выбралъ для своего «эксперимента» толстую торговку, величественно возсѣдавшую передъ своимъ складнымъ столомъ, нагруженнымъ всякаго рода печеньемъ, и босоногого уличнаго мальчугана, который, съ пальцемъ во рту, торчалъ тутъ же, жадными глазами пожирая недоступныя ему лакомства.

— Здоровеньки булы, ясневелиможніи!—ласково привѣтствовала подходящихъ паничей торговка.—Отъ бублики зъ силью, а ось зъ мачкомъ! Оце пампушки—тільки съ печи!

— Спасибо, титусю: мы-то не голодны, а вотъ кого бы тебѣ угостить,—сказалъ Высоцкій, кивая на мальчика,—Что, братичку мій, палець-то у тебя, поди, медовый?

Сосунъ смущенно вынулъ изо рта мокрый палець.

— Но пампушки, мобуть, еще вкуснѣе?—продолжалъ студентъ и, взявъ одну штуку, подаль ее мальчугѣ.—На вотъ, кушай на здоровье! Ну, что, какова?

Словеснаго отвѣта онъ не дождался; но смачное чавканье малыша служило ему самымъ краснорѣчивымъ отвѣтомъ.

— Вижу: добрый изъ тебя казакъ будетъ,—заговорилъ опять Высоцкій: — будешь тоже горилку пить, люльку курить и турку быть, а?

— Буду,—послышалось теперь невнятно изъ набитаго пампушкой рта.

Паничъ потрепаль будущаго казака по курчавой головкѣ.

— Ай, да козарлюга! Бей ихъ, нехристей! защищай сирыхъ и вдовыхъ! Будешь защищать?

— Буду,—повторилъ лаконически козарлюга.

— Слышишь, бабуся? И тебя, вдовицу, отъ турокъ защититъ. Тебѣ—добрая сказочка, а ему—бубликовъ вязочка.

И, взявъ связку бубликовъ, Высоцкій надѣлъ ее ожерельемъ на шею мальчика.

— Ну, что же, братичку? Поблагодари бабуся за подарочекъ.

Но тотъ по движенію рукъ бабуся понялъ, что она ни мало не намѣрена оставить ему подарокъ, и со всѣхъ ногъ бросился вонъ отъ нея черезъ площадь.

— А, бисивъ сынъ! Держить ёго, держить!—заголосила вслѣдъ ему ограбленная.

Какъ же! Покуда толстуха неуклюже выбиралась изъ-за своего печенья, проворный мальчуганъ юркнулъ уже межъ двухъ возовъ—и слѣдъ простылъ. Баба разразилась цѣлымъ потокомъ отборной брани, но неумѣренный гнѣвъ ея возбудилъ въ окружающихъ только общую веселость: хохотали сосѣднія торговки, хохотали мужики у возовъ, посмѣивалась и прохожая публика.

— А какъ лихо вѣдь ругается! любо-дорого, чистый бисеръ!—отнесся обидчикъ къ своему улыбающемуся спутнику.—Вотъ бы тебѣ сейчасъ ка-

рандашикомъ и записать. Повтори-ка еще разъ ему, матинко, какъ это было? «Чтобъ твоего батьку горшкомъ въ голову стукнуло»; «чтобъ твоему дѣду на томъ свѣтѣ три раза икнулось, а бабкѣ семь разъ отрыгнулось»,—такъ, что ли?

— А щобъ тоби языкъ усохъ!—огрызнулась торговка.—Давай сюды пятака и четъ своею дорогою!

— Вотъ нѣ! цѣлый пятакъ? Да вѣдь я наградила козарлюгу отъ тебя же, вдовицы? Ну, что тебѣ значить? Сама, чай, въ день въ десять разъ больше слопаешь. Смотри-ка, какъ тебя раздуло! А онъ—жиденъкій, махонькій, и вѣкъ за тебя Бога молить будетъ.

Неумолкающій смѣхъ зрителей еще пуще раззадорилъ разгнѣванную. Съ побагровѣвшимъ лицомъ, она такъ рѣшительно стала напирать на панича, что тотъ невольно въ сторону отшатнулся. Ей же сгоряча, видно, представилось, что онъ безъ расплаты утечь хочетъ, и она вцѣпилась въ его фалду.

По случаю табельнаго дня Высоцкій былъ въ своемъ парадномъ платьѣ — синемъ мундирѣ съ чернымъ бархатнымъ воротникомъ. Но носилъ онъ его не первый годъ, да и казенное сукно, надо думать, было не изъ прочныхъ; а ручища бой-бабы были тѣмъ жилистѣе и прочнѣе. При такихъ условіяхъ борьбы могло ли быть сомнѣніе, кто одержитъ верхъ: сукно или баба?

Раздался предательскій трескъ разодраннаго сукна. Неожидавшая такой оказіи торговка пото-

ропилась разжать пальцы. Но одна фалда болталась уже около ногъ панича наподобіе траурнаго флага. Самъ Высоцкій былъ до того озадаченъ, что въ первую минуту не нашелся даже что сказать и только подхватилъ распущенный сзади флагъ, чтобы, чего добраго, совсѣмъ не отвалился. Гоголь же бросилъ бабѣ мелкую серебряную монету и категорически объявилъ ей, что она «круглая» дура—въ прямомъ и переносномъ смыслѣ: студенту на пятакъ не хочетъ повѣрить; а въ заключеніе спросилъ: не найдется ли у нея лишней булавки для шлейфа панича?

— Найдется, якъ не найтись, — проворчала баба и нехотя достала изъ обхватывавшей ее дородный станъ плахты запасную булавку.

Между тѣмъ Высоцкій, видя, что теперь самъ онъ сдѣлался мишенью если не громкихъ насмѣшекъ, то насмѣшливыхъ взглядовъ многочисленныхъ зрителей, счелъ за лучшее, не говоря дурного слова, сойти поскорѣе съ поля дѣйствія. Гоголю пришлось нагонять его.

— А что же сдачи? — крикнула вслѣдъ имъ торговка.

Гоголь на ходу отмахнулся рукой:

— Можешь оставить себѣ за булавку.

Только когда базарная площадь осталась далеко позади ихъ, Высоцкій въ первый разъ взглянулъ опять на пріятеля и съ натянутою усмѣшкой замѣтилъ:

— Первый блинъ всегда вѣдь комомъ. Но мой блинъ можетъ послужить тебѣ на пользу.

— А не пришилить ли мнѣ теперь твоего шлейфа? — спросилъ Гоголь; но едва лишь онъ взялся за это немужское дѣло, какъ булавка выскользнула у него изъ непривычныхъ пальцевъ. — Ой, вай миръ!

— Что такое?

— Да обронилъ булавку. Куда она, проклятая, дѣлась?

Оба наклонились къ землѣ, чтобы отыскать пропавшую; но она должно-быть угодила въ щель между деревянными мостками, потому что ея какъ не бывало.

Случилась же съ ними эта маленькая неприятность на главной мѣстной улицѣ — Московской или Мостовой, которая нѣжинскимъ франтамъ и франтихамъ замѣняла Невскій проспектъ. Погода стояла самая благорастворенная, и весь нѣжинскій бо-мондъ высыпалъ на «променадъ» — людей посмотреть и себя показать. Въ числѣ «променирующихъ» оказался и одинъ изъ начальниковъ гимназіи — инспекторъ Моисеевъ.

Будучи изъ духовнаго званія, Моисеевъ хотя и прошелъ полный курсъ Кіевской духовной академіи, но затѣмъ слушалъ лекціи въ Харьковскомъ университетѣ и, получивъ дипломъ кандидата исторіи и филологіи, началъ свою педагогическую дѣятельность, къ немалому, конечно, удивленію своихъ прежнихъ товарищей-бурсаковъ, въ качествѣ преподавателя французкой словесности, причемъ и внѣшность его, начиная съ покроя платья и прически и кончая манерами, по возмож-

ности «офранцузилась». Съ тѣхъ поръ прошелъ уже десятокъ лѣтъ; французскую кафедру онъ давно промѣнялъ на кафедру исторіи, географіи и статистики, которую сохранилъ и въ должности инспектора, но пристрастіе къ французской рѣчи и щегольству осталось прежнее. При такихъ условіяхъ ему было не легко отыскать себѣ между скромными невѣстами уѣзднаго городка подходящую спутницу жизни. Но теперь, казалось, трудный выборъ былъ наконецъ сдѣланъ: въ послѣднее время Кирилла Абрамовича часто можно было видѣть гуляющимъ по деревянному тротуару Московской улицы въ сообществѣ черноокой и пышной красавицы, дочери мѣстнаго крупнаго коммерсанта, а проще сказать: толстосума-торговца краснымъ товаромъ. Въ согласіи дочки никто въ городѣ уже не сомнѣвался; «тятенька» же, по слухамъ, «изволили еще ломаться», потому что будущій зятекъ не сумѣлъ-де доселѣ выхлопотать его степенству постоянную поставку сукна и бѣлья на пансіонеровъ гимназіи.

Каково же было теперь Кириллу Абрамовичу, вмѣстѣ съ своею необъявленной нареченной, наткнуться на двухъ своихъ великовозрастныхъ питомцевъ, ищущихъ что-то чуть не на карточкахъ подъ ногами гуляющей публики и заставляя всѣхъ и cadaго съ узенькихъ мостковъ сходить на грязную мостовую!

— Что это вы тутъ дѣлаете, господа? — могъ только выговорить Моисеевъ.

Юноши, оторопѣвъ, поспѣшили посторонить-

ся. Озабоченный тѣмъ, чтобы очистить путь своей дамѣ, молодой инспекторъ, по всему вѣроятію, не обратилъ бы дальнѣйшаго вниманія на двухъ студентовъ. Но быстроглазая спутница его тотчасъ замѣтила изъянъ въ нарядѣ одного изъ нихъ и прыснула со смѣха; въ отвѣтъ же на удивленный взглядъ Кирилла Абрамовича ткнула пальчикомъ на предметъ, вызвавшій ея веселость. Она смѣялась надъ его воспитанниками и имѣла полное основаніе смѣяться! Всегда столь формально-привѣтливое лицо Моисеева вспыхнуло огнемъ негодованія.

— Съ кѣмъ это у васъ была коллизія, Высоцкій?

— Съ гвоздемъ-съ, — нашелся тотъ:— торчалъ, гдѣ ему вовсе быть не надлежало.

— Я не шучу, Высоцкій!

— А мнѣ развѣ до шутокъ, Кириллъ Абрамовичъ? Что за пріятность ходить въ отрепьяхъ? Но болѣе гвоздя, по правдѣ сказать, виновато сукно на нашихъ мундирахъ: оно уже до того ветхо...

— Хорошо, хорошо, — нетерпѣливо перебилъ его инспекторъ. — Новые мундиры и безъ того заказать вамъ всѣмъ пора. Но подходящаго матеріала здѣсь, въ Нѣжинѣ, не достать: придется написать изъ Москвы...

— Зачѣмъ же изъ Москвы? — съ живостью вмѣшалась тутъ въ разговоръ купеческая дочка. — У тятеньки на складѣ есть первый сортъ голубой демикотонъ...

— Голубой-то цвѣтъ, знаете, не совсѣмъ по формѣ: надо бы темно-синій...

— Голубой даже не въ примѣръ великатнѣй! Да вотъ зашли бы хоть сейчасъ въ нашу лавку: за поглядѣнье мы ничего не беремъ.

— Пожалуй, зайдемте.

Результатомъ этого разговора было то, что недѣли черезъ три всѣ пансіонеры, за исключеніемъ выпускныхъ и первоклассниковъ, были заново обмундированы, но какъ! Когда подъ вечеръ гурьба ихъ появилась въ первый разъ на площадкѣ передъ колоннадой главнаго подѣзда гимназіи, всѣ проходящіе озадаченно останавливались у ограды.

— Какъ есть небеса! И смѣхъ, и грѣхъ!

Хваленый демикотонъ «тятеньки»-красноярца по яркости своей въ самомъ дѣлѣ могъ поспорить съ небесною лазурью

О такой метаморфозѣ пансіонеровъ директоръ ихъ между тѣмъ даже не подозрѣвалъ. Неустанно занятый общимъ наблюденіемъ за ходомъ учебнаго дѣла и обширною официальною корреспонденціею съ столичнымъ начальствомъ и съ родителями воспитанниковъ, Орлай всю хозяйственную часть заведенія предоставилъ въ послѣднее время своему ближайшему помощнику, инспектору. Тотъ непосредственно отъ себя докладывалъ конференціи о всѣхъ хозяйственныхъ нуждахъ гимназіи. Докладъ его объ обмундированіи пансіонеровъ состоялся случайно въ отсутствіи директора, задержаннаго въ то время въ канцеляріи какимъ-то экстреннымъ рапортомъ попечителю. Такимъ-то образомъ, уви-

дѣвъ вдругъ изъ оконъ своей квартиры, выходявшихъ на площадку передъ колоннадой, свѣтлолазоровую группу молодежи, Иванъ Семеновичъ былъ совершенно пораженъ и выбѣжалъ на площадку даже безъ фуражки.

— Что за маскарадъ? — загремѣлъ онъ. — Попугай, чистые попугай! Кто это васъ такъ разрядилъ?

Кукольникъ, одинъ изъ всѣхъ воспитанниковъ осмѣливавшійся иногда фамилиарничать съ своимъ покровителемъ, рѣшился заявить тутъ, что злые языки поговариваютъ, будто бы у нѣкаго торговца въ городѣ залежался товаръ и засидѣлась дочка; ну, а чтобы угодить дочкѣ, надо было угодить и тятенькѣ...

— Вздоръ! Не можетъ быть! Все это пустяга сплетни!—воспылалъ Орлай благороднымъ гнѣвомъ.

Но далѣе онъ уже не спрашивалъ. А за ужиномъ того-же дня сказались и послѣдствія: вмѣсто Моисеева дежурилъ за столомъ всего годъ назадъ занявшій кафедру римскаго права профессоръ Николай Григорьевичъ Бѣлоусовъ, вскорѣ послѣ того и официально утвержденный въ должности инспектора.

— Судьба, говорятъ, индѣйка, — философствовалъ Высоцкій. — Но иной разъ она и простая булава. Ну, думалъ ли, гадалъ ли Николай Григорьевичъ, что онъ станетъ инспекторомъ по милости булавки и какой вѣдь булава? отъ рыночной торговли!

Бѣлоусовъ, молодой еще человѣкъ 27-ми лѣтъ, и до этого уже выдавался между своими болѣе зрѣлыми коллегами живымъ и пылкимъ темпераментомъ. Предметъ свой онъ читалъ съ такимъ увлеченіемъ, что увлекалъ и своихъ молодыхъ слушателей: подъ его руководствомъ они особенно охотно знакомились теперь по имѣвшимся въ гимназической библіотекѣ источникамъ съ подробностями всего государственнаго и общественнаго строя древняго Рима. Въ средѣ профессоровъ Николай Григорьевичъ, не колеблясь, тотчасъ примкнулъ къ партіи Шаполинскаго и Ландражена и вмѣстѣ съ ними горячо отстаивалъ интересы молодежи. Назначенный же инспекторомъ, онъ въ рвеніи къ своимъ новымъ обязанностямъ зашелъ даже слишкомъ далѣко: не только заглядывалъ на лекціи другихъ профессоровъ, но и вступалъ съ послѣдними то и дѣло въ присутствіи воспитанниковъ въ ученыя препирательства, которыя по самымъ жгучимъ вопросамъ восходили затѣмъ даже на разрѣшеніе конференціи. Орлай, такой же отзывчивый и прямой, склонялся обыкновенно ко взглядамъ своего избранника-инспектора, и изъ конференцъ-залы въ коридоръ явственно доносились бурные раскаты перуновъ Громовержца.

Словно заразившись рьяною энергіей своего молодого помощника, Иванъ Семеновичъ проявлялъ свою требовательность къ исполненію каждымъ «своего гражданскаго долга» еще рѣзче прежняго: доставалось отъ него и прислугѣ, и

воспитанникамъ, и самимъ профессорамъ. Изъ числа послѣднихъ особенно испыталъ это совѣмъ еще юный, съ университетской скамьи, младшій профессоръ естественныхъ наукъ и технологіи Никита Ѳедоровичъ Соловьевъ. Прикативъ въ Нѣжинъ прямо изъ Петербурга, онъ въ короткое время успѣлъ обворожить молодежь не столько своими лекціями, сколько своею изящною внѣшностью, столичными манерами, обходительностью и всегдашнею готовностью подѣлиться съ господами студентами привезенными съ береговъ Невы свѣжими литературными и общественными новостями. Орлай, самъ относившійся къ воспитанникамъ какъ добрый, но строгій родитель, не одобрялъ однако слишкомъ товарищескихъ отношеній между учащими и учащимися, особенно если такія внѣклассныя бесѣды шли въ ущербъ ученію. И вотъ однажды, когда звонокъ давно возвѣстилъ конецъ перемѣны, Иванъ Семеновичъ, уже ранѣе чѣмъ-то раздраженный, засталъ еще въ коридорѣ «петербургскаго профессора» или «гвардейца» (какъ успѣли прозвать Соловьева) среди толпы студентовъ. При видѣ директора тѣ тотчасъ разступились, и весь необузданный гнѣвъ Юпитера обрушился на молодого профессора, смущенно застывшего на мѣстѣ съ неоконченною фразой на губахъ. Схвативъ его за шиворотъ, какъ школяра, Орлай сталъ трясти его, приговаривая:

— Вы, сударь мой, все еще никакъ мните себя вольнымъ буршемъ? Но и бурши должны расходиться по звонку. Прошу!

Блѣдный, какъ его собственная бѣлоснѣжная, кружевная сорочка, и задыхаясь отъ волненія, Соловьевъ могъ только пробормотать:

— Какъ бы я ни былъ нерадивъ по службѣ, званіе профессора должно бы, кажется, все-же ограждать меня отъ такого обращенія... Я уйду домой, а вернусь ли когда—не знаю.

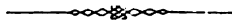
Какъ всѣ вспыльчивые, но благородные люди, Иванъ Семеновичъ, отведя душу, раскаялся уже въ своей горячности.

— Ну, ну, *carissime*, не осуждайте старика! Нервы мои, вы знаете, въ послѣднее время черезчуръ напряжены, а нервы — что струны: нельзя натягивать до конца,—лопнуть. Итакъ миръ?

Оскорбленный профессоръ молча и нехотя принялъ протянутую ему директоромъ руку.

— А вамъ, други мои, живой урокъ,—обратился Орлай къ стоявшимъ еще тутъ же студентамъ:—не дѣлать ничего такого, въ чемъ бы вамъ пришлось затѣмъ приносить публичное покаяніе. Чѣмъ шире власть, тѣмъ надо быть осмотрительнѣй въ каждомъ своемъ дѣйствіи. Какъ въ трагедіи древнихъ, такъ и въ современной трагикомедіи, именуемой жизнью, можетъ явиться вдругъ *deus ex machina—et finis comoediae!*

И *deus ex machina*, точно, явился неожиданно-негадано въ лицѣ почетнаго попечителя гимназіи, графа Александра Григорьевича Кушелева-Безбородко.





ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ.

Deus ex machina.

Названіе свое: «Гимназія высшихъ наукъ князя Безбородко» нѣжинская гимназія получила въ память скончавшагося еще въ 1799 г. государственнаго канцлера, свѣтлѣйшаго князя Александра Андреевича Безбородко. Самъ канцлеръ, умирая бездѣтнымъ, завѣщалъ все свое огромное состояніе своему младшему брату, графу Ильѣ Андреевичу; послѣдній же, найдя случайно въ бумагахъ покойнаго записку, въ которой выражалось желаніе о составленіи послѣ его смерти опредѣленными взносами неприкосновеннаго капитала въ пользу богоугодныхъ заведеній, осуществилъ благодѣтельную мысль брата въ другой формѣ—основаніемъ въ дорогой имъ обоимъ Малороссіи не имѣвшагося еще тамъ «училища, нѣкоторымъ образомъ университету соотвѣтствен-



Графъ Александръ Григорьевичъ
КУШЕЛЕВЪ-БЕЗБОРОДКО
(въ 1850-хъ годахъ).

наго»—гимназіи «высшихъ наукъ» *). Открытіе гимназіи однако по нѣкоторымъ обстоятельствамъ затянулось до 1820 года, и основатель ея, графъ Илья Андреевичъ, такъ и не дожилъ до этого радостнаго для него событія, скончавшись еще за 5 лѣтъ передъ тѣмъ, въ 1815 году. Сыновей послѣ него не осталось, и почетнымъ попечителемъ вновь открытаго заведенія былъ назначенъ сынъ второй дочери основателя, 20-тилѣтній графъ Александръ Григорьевичъ Кушелевъ, который, съ высочайшаго разрѣшенія, къ своей родовой фамиліи присоединилъ прекратившуюся въ мужскомъ поколѣніи фамилію Безбородко.

Восемнадцать лѣтъ удостоенный степени доктора этикополитическихъ наукъ Московскаго университета, молодой графъ успѣлъ уже затѣмъ побывать за границей по дипломатическому порученію, а, по возвращеніи въ Петербургъ пожалованный въ камергеры высочайшаго двора, въ сентябрѣ 1820 года прибылъ въ Нѣжинъ, чтобы лично открыть новую гимназію. Въ послѣдующіе три года онъ аккуратно наѣзжалъ туда для присутствованія на переходныхъ экзаменахъ опекаемыхъ имъ воспитанниковъ. Съ 1824 же года, когда онъ былъ прикомандированъ къ нашей миссіи во Франкфуртѣ-на-Майнѣ и почти безвыѣздно проживалъ за границей, ему было уже не до своихъ нѣжинцевъ. Поэтому внезапный пріѣздъ его послѣ трех-

*) Харьковскій университетъ былъ учрежденъ только въ 1805 году.

лѣтняго отсутствія, наканунѣ публичнаго экзамена, былъ для всѣхъ совершенною неожиданностью.

Остановился графъ Александръ Григорьевичъ, какъ всегда, въ своихъ собственныхъ покояхъ, занимавшихъ цѣлую половину нижняго этажа лицевого корпуса гимназическаго зданія. Въ недавнее еще время (лѣтомъ 1895 г.) пишущій настоящія строки имѣлъ случай лично заглянуть въ эти «графскіе» покои. Помѣщенія—обширныя; потолки—расписные; двери—высокія, бѣлыя, съ позолотой; стѣны въ первомъ покоѣ—подъ розовый мраморъ, во второмъ—густого зеленого колера, съ золотыми разводами. Полы—подъ сплошнымъ ковромъ. Мебель—позолоченая и обита блѣдно-розовымъ шелкомъ. Между окнами—старинные часы съ сидящимъ на нихъ золотымъ орломъ. Все свидѣтельствуеть о томъ комфортѣ, о той роскоши, которые нѣкогда царили здѣсь при первомъ почетномъ попечителѣ гимназіи и отъ которыхъ теперь, увы! вѣтъ духомъ запустѣнья, разрушенья...

Несмотря на свою молодость, графъ Александръ Григорьевичъ, какъ законченный уже европейскій дипломатъ, вѣжливый и деликатный, не желалъ никого застать врасплохъ и терпѣливо выждалъ, пока директоръ явился къ нему съ докладомъ, что профессора и воспитанники *in pleno* собрались наверху въ торжественномъ залѣ. Вновь пожалованный графу шейный орденъ св. Анны подъ бѣлымъ, расшитымъ шелками галстухомъ казался точно также органически связаннымъ со всею его аристократическою особой, какъ изящная простота его

походки и движеній, какъ ласковая улыбка, благозвучный голосъ, съ которыми онъ привѣтствовалъ подчиненныхъ:

— Здравствуйте, господа!

На грянувшее же въ отвѣтъ громогласное: «Здравія желаемъ вашему сіятельству!» онъ милостиво преклонилъ голову и тѣмъ-же ровнымъ мягкимъ тономъ объяснилъ, что «отвѣтственный постъ при иноземной державѣ приковывалъ его къ мѣсту, какъ ни влекли его на родину сердечные сантименты. Нынѣ же его величество снизошелъ на его усерднѣйшую просьбу и, взявъ дипломатическихъ обязанностей, всемилостивѣйше удостоилъ его званія члена главнаго правленія училищъ...»

Директоръ, а за нимъ и весь прочій учебно-воспитательный персоналъ не преминули поздравить его сіятельство съ монаршею милостью. Поблагодаривъ ихъ, графъ продолжалъ:

— Надо ли говорить, господа, что именно побудило меня нынѣ поспѣшить сюда къ вамъ? Могли ли я персонально не присутствовать при первомъ выпускѣ воспитанниковъ столь близкаго моему сердцу заведенія? Вижу я здѣсь, правда, и нѣсколько новыхъ лицъ, но большинство изъ васъ, господа, для меня старые знакомые.

И, говоря такъ, графъ Александръ Григорьевичъ сталъ обходить выстроенныхъ по чинамъ педагоговъ, слегка пожимая каждому руку и равно благосклонно оглядывая какъ «старыхъ знакомыхъ», такъ и рекомендуемыхъ ему директоромъ вновь опредѣленныхъ лицъ.

— Съ вами, друзья мои, мы встрѣтимся еще неоднократно на экзаменахъ,—обратился теперь молодой попечитель къ воспитанникамъ.—Младшіе меня, конечно, не знаютъ; но старшіе, надѣюсь, засвидѣтельствуютъ, что я не такъ страшенъ, какъ кажусь быть-можетъ съ перваго взгляда.

— Мы, старики, ваше сіятельство, давно имъ это уже засвидѣтельствовали,—раздался тутъ изъ группы шестиклассниковъ бойкій голосъ.

— А! это вы, Кукольникъ?—сказалъ графъ и, подойдя къ выдвинувшемуся впередъ высокому, худощавому юношѣ, наклонился къ нему, чтобы прикоснуться губами къ его безбородой щекѣ.—Цѣлую его за всѣхъ васъ, друзья мои: съ нимъ мы знакомы еще съ Петербурга, гдѣ покойный батюшка его, незабвенный Василій Григорьевичъ, первый посвятилъ меня *privatissime* въ таинства опытной физики, а затѣмъ совмѣстно со мною работалъ прожектъ того разсадника просвѣщенія, коего украшеніемъ служить нынѣ его сынъ. Вѣдь вы, *cher ami*, попрежнему главенствуете въ своемъ классѣ?

— Главенствовалъ бы, еслибы не имѣлъ себѣ новаго опаснаго соперника вотъ въ Базили.

— Они, ваше сіятельство, оба настолько преуспѣваютъ,—счелъ нужнымъ заявить съ своей стороны Орлай,—что весьма трудно рѣшить, кому изъ обоихъ отдать первенство.

— Благородное соревнованіе всегда достохвально. Пища духовная, *nutrimentum spiritus*, под-

держиваетъ и согласіе сердечное—l'entente cordiale. Но я все-же разсчитываю, что въ російской словесности Кукольника никто съ позиціи не собьетъ? Вы, господинъ профессоръ, попрежнему вѣдь имъ довольны?—отнесся попечитель къ профессору «російской словесности», Никольскому.

— Преотмѣнно-съ! — поспѣшилъ тотъ подтвердить съ глубокимъ поклономъ.—Буде ваше сіятельство дозволите повергнуть при случаѣ на ваше благовозрѣніе его пѣитическіе и прозаическіе опыты...

— Надѣюсь завтра на публичномъ испытаніи имѣть къ тому случай. Le style—c'est l'homme,—сказалъ Бюффонъ.

— Прошу прошенія у вашего сіятельства: этому молодому человѣку еще три года до выпуска, публичное же испытаніе, на коемъ присутствуютъ родители и родственники нашихъ питомцевъ, имѣетъ цѣлю блеснуть передъ ними зрѣлыми лишь плодами нашего, какъ угодно было вамъ сейчасъ выразиться, разсадника просвѣшенія, сирѣчь выпускнымъ классомъ. Въ виду сего мною заданы уже выпускнымъ подобающія темы для публичной диссертациі. Не желая до времени утруждать вниманіе вашего сіятельства подробностями таковыхъ темъ, осмѣлюсь одначе при сей удобной оказіи доложить вкратцѣ тотъ общій методъ преподаванія словесности, помощью коего я тщуся всѣми мѣрами привить въ нашемъ разсадникѣ здорové ростки отечественнаго слова.

И почтенный Парфеній Ивановичъ принялся

последовательно, хотя и не особенно кратко излагать свой методъ. Молодой попечитель былъ не только дипломатъ, но и джентльменъ. Въ благоклонныхъ чертахъ его не замѣчалось ни тѣни нетерпѣнія, хотя рѣчь профессора, все болѣе увлекавшагося собственнымъ краснорѣчіемъ, обѣщала протянуться еще долго. Но когда Парфеній Ивановичъ послѣ заключительнаго періода перваго отдѣла своего метода остановился на точкѣ, чтобы перевести духъ, графъ воспользовался мгновенною паузой, чтобы запрудить неудержимый потокъ.

— Да, все это чрезвычайно поучительно, — вдумчиво промолвилъ онъ, — и мнѣ самому, долженъ сознаться, открываетъ совершенно новые горизонты. Но усвоить всю вашу систему, господинъ профессоръ, при обиліи высказанныхъ вами мыслей, намъ, не-специалистамъ, можно только *reui à reui*. Мнѣ надобно теперь на досугѣ еще передумать сейчасъ выслушанное. Душевно вамъ благодаренъ!

Графъ вторично прикоснулся кончиками своихъ тонкихъ, бѣлыхъ пальцевъ къ мясистой, шершавой рукѣ профессора-бурсака и, милостиво кивнувъ на прощанье воспитанникамъ: «итакъ до завтра!», вышелъ изъ зала, сопровождаемый до лѣстницы свитою всего учебнаго персонала, среди котораго одинъ носилъ теперь голову выше всѣхъ — Никольскій.

— Ну, Романовичъ, — замѣтилъ послѣдній на ходу одному изъ выпускныхъ: — на васъ моя на-

дежда. Диссертациі вашей я хотя еще и не видѣлъ, но вполне на васъ полагаюсь. Не знаю, найду ли еще нонѣ время ее процензировать.

— Да она у меня еще не готова,—возразилъ Любичъ-Романовичъ, — и къ завтраму едва ли поспѣеть...

— Безъ отговорокъ! Хотя ночь просидите, а должна поспѣть.

Любичъ-Романовичъ, какъ ошалѣлый, глядѣлъ вслѣдъ удалявшемуся профессору.

— Вотъ тебѣ, бабушка, и Юрьевъ день...— пробормоталъ онъ и свистнулъ.

— Да диссертациа же у тебя давнымъ-давно написана?— сказалъ Рѣдкинъ.

— Мало ли что написана, да въ какомъ духѣ! Я нарочно до экзамена не хотѣлъ показывать ее Парфенію Ивановичу. Могъ ли я предвидѣть, что будетъ графъ? Ну, да была не была! Передѣлывать, все равно, уже некогда, да и жаль.

И точно, на другой день, на публичномъ экзаменѣ, когда очередь дошла до Романовича и Никольскій испросилъ для него разрѣшеніе у попечителя прочесть свою диссертацию, Романовичъ прочелъ ее въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ изготавилъ.

Не даромъ ему не было охоты передѣлывать свой трудъ: цѣлымъ рядомъ примѣровъ онъ такъ наглядно доказывалъ легкость и благозвучность поэзіи новѣйшихъ поэтовъ: Жуковскаго, Батюшкова и Пушкина, въ сравненіи съ тяжеловѣсными, нерѣдко оскорбляющими слухъ стихами «россій-

скихъ классиковъ»: Ломоносова, Сумарокова и даже Державина, что какъ молодой попечитель, такъ и большинство посторонней публики выслушали диссертацию съ видимымъ удовольствіемъ. Но что дѣлалось во время этого чтенія съ бѣднымъ Парфеніемъ Ивановичемъ! Онъ мѣнялся въ лицѣ, отдувался, обтиралъ фуляромъ выступившія у него на лбу крупныя капли пота, но прервать молодого чтеца все-же не рѣшался.

— Превосходно!—похвалилъ графъ Александръ Григорьевичъ, когда послѣдній умолкъ.—Но благодарить надо прежде всего, конечно, васъ, господинъ профессоръ, потому что главная заслуга все-таки ваша.

Никольскаго отъ такого одобренія покорило, но на душѣ у него вмѣстѣ съ тѣмъ немного полегчало.

— Осмѣлюсь доложить вашему сіятельству,—заговорилъ онъ, оправляясь:—сочиненіе сіе въ основѣ своей хотя и противорѣчитъ кореннымъ началамъ эстетики, но, какъ выразился нашъ неподдѣльный стихотворъ Сумароковъ:

«Трудолюбивая пчела себѣ беретъ
Отвсюду то, что ей потребно въ сладкій медь,
И, посѣщая благоуханну розу,
Беретъ въ свои соты частицы и навозу.»

Для диспута я позволяю иногда молодымъ людямъ защищать и парадоксы...

Прелесть стиховъ «неподдѣльнаго стихотвора» что-то не плѣнила молодого попечителя: онъ слегка

даже поморщился и возразилъ холоднѣе обыкновеннаго:

— Съ своей стороны я въ этой прекрасной диссертациі не вижу никакого парадокса и полагаю, что и вы, господинъ профессоръ, присудите молодому челоѣку высшій баллъ?

— Какъ угодно будетъ вашему сіятельству...— смутившись, покорился Парфеній Ивановичъ.

— Да, мнѣ угодно! А каковъ онъ по латинской словесности?—спросилъ графъ директора.

— О! онъ у насъ первый латинистъ,—отвѣчалъ Орлай.—Завтрашній день ваше сіятельство изволите въ томъ сами убѣдиться.

— А нельзя ли намъ убѣдиться въ томъ сегодня же, сію минуту?

— Сегодня, ваше сіятельство, намъ предстоитъ еще переспросить многихъ по россійской словесности...

— А quoi bon? (Для какой радости?)—замѣтилъ графъ, конфиденціально понижая голосъ.— Приватными репетиціями каждый профессоръ и безъ того, я полагаю, опредѣлилъ съ достолюбною точностью познанія каждаго воспитанника по своей части. Супсонировать добросовѣстность господъ профессоровъ я отнюдь не считаю себя въ правѣ. Публичный же экзаменъ долженъ такъ сказать пустить только пыли въ глаза посторонней публики—и мнѣ, попечителю,—съ тонкой улыбкой добавилъ графъ.—Это—разъ. А потомъ у меня, *entre nous soi dit* (сказать между нами), терпѣнія, пожалуй, все-таки не достанетъ проси-

дѣтъ этакъ нѣсколько дней подъ рядъ, слушая цѣлые курсы давно знакомыхъ мнѣ наукъ. Поэтому я просилъ бы васъ, достоуважаемый Иванъ Семеновичъ, въ видѣ личнаго для меня одолженія, сократить сію пытку и мнѣ и другимъ.

Хотя желаніе молодого попечителя было выражено въ формѣ просьбы, но Иванъ Семеновичъ хорошо понялъ, что это — приказаніе, противъ котораго прекословить не приходится. И «пытка» была сокращена съ полутора недѣль до трехъ дней.

Въ латинской словесности Любичъ-Романовичъ, дѣйствительно, отличился: на задаваемые ему какъ профессоромъ, такъ и директоромъ-классикомъ по-латыни вопросы онъ отвѣчалъ точно также свободно на языкѣ древнихъ римлянъ и, прочтя вслухъ открытую попечителемъ наугадъ страницу исторіи Тацита, безъ запинки пересказалъ прочтенное по-латыни же своими словами.

На экзаменѣ всеобщей исторіи особенно поразилъ графа Александра Григорьевича необыкновенными познаніями Рѣдкинъ, при чемъ на выраженное графомъ удивленіе, что неужели у насъ на русскомъ языкѣ имѣется столь подробное руководство, профессоръ Моисеевъ объяснилъ, что предписанное руководство — то же, что и въ другихъ заведеніяхъ — Кайданова, и что самому себѣ онъ, Моисеевъ, можетъ приписать развѣ одну заслугу — умѣнье возбудить въ студентахъ интересъ къ предмету. По собственной охотѣ они изучали крестовые походы по Мишо, 30-лѣтнюю войну — по

Шиллеру, которую общими силами почти всю перевели на русскій языкъ, какъ перевели и цѣлый томъ исторіи Роллена-Кремье.

— Честь и слава!—одобрилъ попечитель.—Но меня, признаться, въ исторіи древнихъ народовъ интересовали всегда не столько внѣшнія, политическія событія, сколько гражданскій строй, семейный бытъ...

— Въ этомъ отношеніи я на моихъ лекціяхъ слѣдовалъ именно взгляду вашего сіятельства,—подхватилъ молодой инспекторъ Бѣлоусовъ.—Предметъ мой, римское право, воспитанники изучаютъ ex fontibus, въ подлинникѣ, по Юстиніановымъ конституціямъ, которымъ комментаріями служатъ мои словесныя объясненія о римскомъ общественномъ и семейномъ бытѣ.

— Очень вамъ благодаренъ. Вы всѣ, господа, я вижу, умѣете возбуждать въ молодежи любовь къ наукѣ, а l'appétit vient en mangeant (аппетитъ является во время ѣды). Эти птенцы ваши совсѣмъ, можно сказать, оперились; а птицу не спрашиваютъ, умѣетъ ли она летать. Засимъ, я полагаю, какъ по римскому праву, такъ и по остальнымъ предметамъ мы можемъ ограничиться немногими общими вопросами. Не такъ ли, господа?

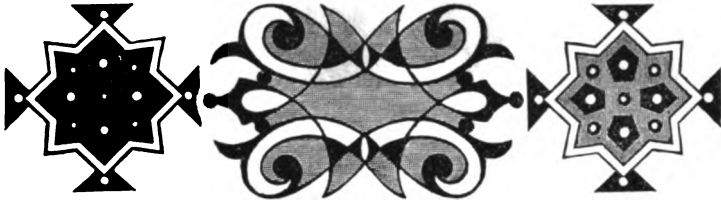
Дипломатъ-попечитель, по неизмѣнной своей вѣжливости, какъ бы совѣтовался, но на дѣлѣ выражалъ свою тайную волю, а воля попечителя была закономъ. Дальнѣйшіе экзамены гнали, какъ говорится, на почтовыхъ, и впечатлѣніе по всѣмъ предметамъ было мимолетное, но одинаково благо-

приятное. Нѣсколько долѣ самъ графъ остано-
вился лишь на французской словесности и въ са-
мыхъ изысканныхъ выраженіяхъ высказалъ про-
фессору Ландражену свою особенную признатель-
ность.

Впечатлительный молодой французъ былъ окон-
чательно очарованъ и искренне восторгался:

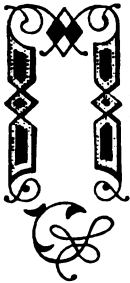
— Европейецъ до кончиковъ ногтей! Аристо-
кратъ, какъ алмазь, чистѣйшей воды! И выговоръ—
то какой—настоящій парижскій! Это счастливѣй-
шій день моей жизни!





ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.

«Нынѣ отпускаеши раба Твоего»...



редстоялъ еще послѣдній экзаменъ—изъ политическихъ наукъ—у профессора Билевича. Но уже наканунѣ вечеромъ на общее свѣтлое настроеніе набѣжала зловѣщая туча. Директоръ и инспекторъ были внезапно потребованы къ попечителю. Тотъ принялъ ихъ хоть и любезно, но все-же какъ-будто суше обыкновеннаго и сталъ разспрашивать что-то очень ужъ обстоятельно о заведенныхъ въ гимназіи распорядкахъ. Потомъ, словно мимоходомъ, упомянулъ, что, по предложенію министра, до пріѣзда еще въ Нѣжинъ, побывалъ въ Казани, чтобы ближе ознакомиться на мѣстѣ съ внутреннимъ строемъ тамошняго университета, который, по мнѣнію министра, послѣ недавняго попечительства Магницкаго могъ въ нѣкоторомъ

отношеніи служить образцомъ высшаго закрытаго учебнаго заведенія. Дѣйствительно, все — и мебель, и постели, и бѣлье воспитанниковъ — оказалось-де тамъ въ самомъ образцовомъ видѣ; ѣда — вкусная, сытная. Но зато же и порядокъ! Къ роднымъ студенты отпускаются только по билетамъ; у каждого своя комната, но входить туда они могутъ лишь на ночь для сна; все остальное время дня они проводятъ либо на лекціяхъ, либо въ «занимательныхъ» комнатахъ (т.-е. въ рабочихъ залахъ), либо въ саду, и вездѣ подъ непрерывнымъ надзоромъ субъ-инспектора.

— Правда, строгость, пожалуй, чрезмѣрная, для молодежи удручающая, но порядокъ образцовый, идеальный! — заключилъ съ легкимъ вздохомъ зависти графъ Александръ Григорьевичъ и поднялся съ кресла, — *Mais revenons à nos moutons* *); вамъ и такъ вѣдь довольно хлопотъ съ вашей молодежью? Простите, господа, что обезпокоилъ. Вы, я думаю, тоже утомились?

Съ тою-же официальной любезностью онъ пожалъ обоимъ подчиненнымъ руку и проводилъ совершенно озадаченныхъ до дверей.

Перейдя черезъ вестибюль къ себѣ въ квартиру и кабинетъ, Орлай обернулся къ послѣдовавшему туда за нимъ Бѣлоусову съ вопросомъ:

— Ну, что вы скажете, Николай Григорьевичъ?

*) «Возвратимся къ нашимъ баранамъ», говоритъ судья по поводу тяжбы о баранахъ въ одномъ французскомъ фарсѣ XVI или XV вѣка неизвѣстнаго автора, позаимствовавшего сюжетъ свой у римскаго писателя Марціала.

Тотъ только руками развелъ.

— Чтò сказать тутъ? НѢтъ дыма безъ огня.

— Вы полагаете, что съ чьей-либо стороны противъ насъ были наговоры?

— Всякое бываетъ. И у васъ, Иванъ Семеновичъ, и у меня, грѣшнаго, есть тайные враги.

— НѢтъ, Николай Григорьевичъ, вы ошибаетесь!—горячо возразилъ Орлай.—Среди нашего благороднаго ученаго сословія мнѣнія могутъ быть, конечно, разныя; но рыть яму своему собрату никто изъ насъ не станетъ, о, нѢтъ!

— Къ сожалѣнію, Иванъ Семеновичъ, я въ этомъ не совсѣмъ убѣжденъ и кое-кого даже подозрѣваю.

— Лучше и не называйте!

— Пока окончательно не удостовѣрюсь,—извольте, я буду молчать. Доброй ночи!

Пять минутъ спустя, Бѣлоусовъ, сильно взволнованный, снова ворвался въ кабинетъ къ Орлаю.

— Теперь, кажется, нѢтъ уже сомнѣній! Яма для насъ вырыта; вопросъ только въ томъ: лѣзть намъ въ нее или нѢтъ?

— Да чтò и какъ вы узнали?

— А вотъ лишь только я вышелъ отъ васъ на площадку, какъ изъ дверей его сіятельства навстрѣчу мнѣ его гайдукъ. «Тебя-то, братецъ», говорю, «мнѣ и надо. Не былъ ли давеча у графа кто-либо изъ профессоровъ?»—«Какъ же; были.»—«Кто былъ?»—«Какъ ихъ, бишь? Фамилію свою велѣли еще доложить. Би... би...»—«Билевичъ?»—«Они самые.»

*

— Михайла Васильевичъ!—воскликнулъ Орлай.— Но, можетъ статья, онъ хотѣлъ только privately засвидѣтельствовать свое почтеніе его сіятельству. Разговора ихъ гайдукъ вѣдь, вѣроятно, не слышалъ?

— Секретнаго разговора—нѣтъ, потому что двери были притворены. Но аудіенція продолжалась съ добрыхъ полчаса, а для засвидѣтельствванія почтенія—получаса, какъ хотите, черезчуръ много. Когда же я помогъ памяти гайдука звонкою монетой, ему вспомнились и прощальныя слова графа: «Покорнѣйше благодарю васъ, господинъ профессоръ. Но насчетъ эмисаровъ я держусь правила Суворова: Святой Духъ даетъ мнѣ внушенія; другихъ эмисаровъ мнѣ не нужно.»

Орлай вздохнулъ и поникъ головой.

— Какъ грустно, право, разочаровываться въ человѣкъ, которому, кажется, ничего дурного не сдѣлалъ! Но прошу васъ, Николай Григорьевичъ, не предпринимайте сами ничего противъ него.

— Скрыто я ничего не предприму. Но мнѣ, какъ инспектору, не можетъ быть возбранено, кажется, задавать воспитанникамъ на экзаменѣ вопросы?

— Понятно, нѣтъ; но, ради меня—то хоть, поумѣрьте немного вашъ пылъ.

— Ради васъ—извольте; но впередъ за себя все-таки не ручаюсь.

Дѣйствительно, когда на слѣдующее утро начался публичный экзаменъ изъ предмета профессора Билевича—естественнаго права, Бѣлоусовъ

старался сдерживать свое нервное возбужденіе. Но вопросы, которые онъ ставилъ экзаменуемымъ, были для послѣднихъ такъ неожиданы и замысловаты, что большая часть отвѣтовъ была невпопадъ. Михайла Васильевичъ пытался ихъ выгораживать, но не особенно успѣшно. Въ публикѣ стали шептаться; попечитель съ безпокойствомъ поглядывалъ то на публику, то на двухъ экзаменуемыхъ, между которыми какъ-бы происходило безкровное единоборство на жизнь и на смерть. А молодой инспекторъ, все болѣе увлекаясь, забылъ уже присутствіе и директора и попечителя и наконецъ рѣзко оборвалъ одного изъ студентовъ, когда тотъ, спутавшись, опять зарпортовался:

— Что вы чушь городите!

Тутъ Билевичъ тоже не вытерпѣлъ и сорвался съ мѣста.

— Ваше сіятельство! я протестую. Это мои собственныя записки...

— Записокъ вашихъ я не знаю, — возразилъ Бѣлоусовъ, — а сужу по отвѣту студента.

— Messieurs! messieurs! tant de bruit pour une omelette! *) — счелъ нужнымъ вступитья попечитель. — Естественное право — предметъ столь своеобразный и многосторонній, что по оному и у меня, и вотъ у господина директора, я увѣренъ, многіе взгляды не сходятся съ вашими. Сама жизнь

*) Господа! господа! столько шуму изъ-за пустяковъ (буквально: изъ-за яичницы).

ближе всего ознакомить господъ студентовъ съ ихъ естественнымъ правомъ, а почерпнутыя доселѣ изъ книгъ познанія помогутъ имъ лишь выбрать на надлежащій путь. Но я надѣюсь, друзья мои,— повернулся графъ къ самимъ студентамъ,— что, и покинувъ стѣны возрадившаго васъ заведенія, вы не перестанете упражнять вашъ умъ. Изъ всѣхъ земныхъ тварей одни люди вѣдь одарены умомъ; они такъ-сказать мысли земли, и свѣточъ, который вы зажжете для себя, будетъ свѣтить еще многимъ-многимъ, а самихъ васъ на служебной стезѣ отчизнѣ доведетъ до первыхъ шаржей. Однако глубокочтимый директоръ вашъ, безъ сомнѣнія, гораздо краснорѣчивѣе меня объяснить вамъ ваше будущее призваніе. Ваше превосходительство, Иванъ Семеновичъ! не благоволите ли улетающимъ изъ вашего гнѣзда птенцамъ-сказать напутственное слово?

И Иванъ Семеновичъ, выйдя изъ-за экзаменационнаго стола, сказалъ имъ это слово.

— Вѣра двигаетъ горами, совершаетъ чудеса,— говорилъ онъ.— Твердо вѣрьте въ себя и продолжайте вѣрить, хотя бы иное вамъ и не сразу давалось. Строго исполняйте вашъ долгъ, будутъ ли васъ за то восхвалять или забрасывать грязью— что также, увы! не рѣдкость... Стойко идите впередъ къ намѣченной цѣли— и чудо совершится! Но за какое бы дѣло вы ни принялись— не будьте его рабомъ, будьте его господиномъ— и самое трудное станетъ наконецъ въ вашихъ рукахъ послушнымъ орудіемъ, любимымъ для васъ занятіемъ,

неисчерпаемую утѣхой жизни. И для меня вы, милыя дѣти мои (я полагаю: вы позволите на прощанье такъ назвать васъ старику?), и для меня, говорю я, среди тяготъ служебныхъ, вы были доселѣ лучшимъ утѣшеніемъ. Положа руку на сердце, могу сказать, какъ передъ Всевышнимъ Богомъ: что отъ меня, многогрѣшнаго, зависѣло, то мною для васъ сдѣлано, и никто изъ васъ, хочу думать, не помянетъ меня лихомъ. Нынѣ отпускаеши раба Твоего...

Голосъ Орлая осѣкся отъ подступившихъ къ горлу слезъ. Задушевное напутствіе не могло не тронуть отзывчивыхъ молодыхъ сердецъ; всѣ выпускные студенты поголовно принялись усиленно сморкаться, а Рѣдкинъ, наскоро отеревъ глаза, выступилъ впередъ, чтобы за всѣхъ отвѣтить любимому директору.

Но это уже не входило въ программу публичнаго экзамена. Графъ Александръ Григорьевичъ быстро приподнялся съ кресла, выразилъ господамъ педагогамъ свою глубокую признательность за «блистательный» первый выпускъ и, съ милостивымъ общимъ поклономъ всѣмъ присутствующимъ, поспѣшилъ къ выходу. Свитою за нимъ двинулись Билевичъ и еще кое-кто изъ другихъ служащихъ. Всѣ же остальные, также какъ и всѣ студенты, обступили Ивана Семеновича, чтобы наперерывъ забросать его вопросами: какъ понимать его послѣднія слова? Неужто онъ хочетъ вовсе покинуть гимназію?

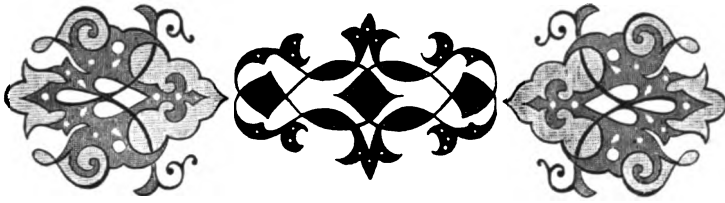
— У хорошаго педагога, други мои, должны

быть стальные нервы,—отвѣчалъ Орлай,—а у меня сталь порядкомъ поистерлась, и пришло мнѣ время искать болѣе мирной пристани отъ житейскихъ непогодъ.

— Богъ съ вами, Иванъ Семеновичъ! — воскликнулъ Бѣлоусовъ, котораго, какъ ближайшаго его помощника, такое рѣшеніе должно было потрясти болѣе другихъ:—опытному старому капитану грѣшно покидать свой корабль, когда подымается буря.

— У стараго капитана, Николай Григорьевичъ, есть молодой замѣститель, который настолько уже опытенъ, что зря не посадить корабля ни на мель, ни на подводный рифъ. На фамильномъ склепѣ одного магната въ Галиціи я прочелъ какъ-то, помнится, слѣдующую прекрасную надпись: «*Nis finis est invidiae, persecutionis et querelae!*» (Здѣсь конецъ зависти, угнетенію и раздору!) Таковую же надпись я желалъ бы теперь начертать надъ собою...

Не желаемый склепъ, но все-таки болѣе или менѣе мирную пристань усталый педагогъ, точно, нашелъ вскорѣ: узнавъ, что по случаю предстоявшей осенью коронаціи молодого императора Николая Павловича министръ народнаго просвѣщенія Шишковъ прибылъ въ Москву, Орлай въ концѣ лѣта съѣздилъ туда же, и самъ министръ предложилъ ему вакантное мѣсто директора въ Рижельевскомъ лицѣѣ въ Одессѣ.



ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

Тѣнь Пушкина тревожитъ нѣжинскихъ парнасцевъ.

Наникулы кончились, и воспитанники съѣхались опять въ Нѣжинъ. Посреди рекреационнаго зала, окруженный со всѣхъ сторонъ студентами, стоялъ профессоръ-«гвардеецъ» Соловьевъ, довольный и сияющій. Онъ сейчасъ только вернулся изъ Москвы и рассказывалъ о царской коронаціи и сопровождавшихъ ее блестящихъ празднествахъ съ такимъ одушевленіемъ, что молодые слушатели уши развѣсили.

— И выпало же вамъ такое счастье, Никита Федоровичъ! — замѣтилъ одинъ изъ нихъ.

— Я очень счастливъ, правда ваша, — отвѣчалъ Соловьевъ, — особенно же потому, что видѣлъ при этомъ случаѣ и Пушкина.

Гоголь, едва ли не одинъ изъ всѣхъ оставшійся до сихъ поръ довольно равнодушнымъ, при имени Пушкина вдругъ оживился.

— Какъ! вы видѣли настоящаго Пушкина, племянника?

— Настоящаго, не томпаковаго; о дядѣ я не сталъ бы слова тратить.

— Да вѣдь молодой Пушкинъ живетъ изгнанникомъ въ своей псковской деревнѣ?

— Жиль цѣлыхъ два года; но теперь, передъ самой коронаціей, государь вызвалъ его въ Москву, обласкалъ и объявилъ ему, что отнынѣ будетъ самъ его цензоромъ. Но потому-то до прочтенія государемъ Пушкинъ не даетъ уже никому въ руки своихъ сочиненій; а то я непременно привезъ бы вамъ, господа, списокъ съ его новой исторической драмы.

— Изъ русской исторіи?

— Да, изъ смутнаго времени, и главными героями въ ней являются первый Самозванецъ и Борисъ Годуновъ.

— Какое это должно быть восхищеніе! А написана драма стихами или прозой?

— Бѣлыми стихами по примѣру Шекспира; да и вещь, говорятъ, дивная, самому Шекспиру въ пору.

— Такъ Пушкинъ, значитъ, все-таки читалъ ее кому-нибудь въ Москвѣ?

— Читалъ тѣсному кружку литераторовъ и профессоровъ у Веневитинова, и впечатлѣніе было громадное. Когда онъ кончилъ, всѣ присутствующіе со слезами восторга бросились обнимать, поздравлять поэта. Пили, разумѣется, шампанское и не расходились до самаго утра.

— Господи, Боже мой! Николай Чудотворецъ, угодникъ Божій! Да когда же мы-то прочтемъ эту вещь?

— Кое-что изъ нея, вѣроятно, вскорѣ будетъ напечатано. Профессоръ Погодинъ съ будущаго января собирается издавать новый журналъ «Московскій Вѣстникъ» и тутъ же, послѣ чтенія, взялъ съ Пушкина слово дать ему, съ разрѣшенія государя, хоть отрывокъ изъ его драмы для первой книжки новаго журнала.

— Господа! господа!—вскричалъ Гоголь.—Вы позволите мнѣ, конечно, подписаться на этотъ журналъ для нашей библіотеки?

— Понятное дѣло! Обязательно подпишись!—былъ единогласный отвѣтъ.

— А вы, Никита Ѳедоровичъ, видѣли Пушкина тамъ же, у Веневитинова?

— Нѣтъ, къ крайнему сожалѣнію, я не могъ попасть туда. Видѣлъ я его потомъ на званомъ вечерѣ у княгини Зинаиды Александровны Волконской, о которой вы, конечно, тоже слышали?

— Откуда намъ-то, захолустнымъ жителямъ, слышать?

— Помилуйте! Это среди нашихъ русскихъ дамъ въ своемъ родѣ феномень. Княгиня не только пишетъ повѣсти и сказки (кто ихъ нынче не пишетъ?), но считается рѣдкимъ знатокомъ родной словесности, родныхъ древностей, родного быта, причемъ знаетъ впрочемъ и по-гречески, и по-латыни. Общество исторіи и древностей російскихъ выбрало ее даже въ свои члены. Въ ея-то

салонѣ стекаются всѣ свѣтила ума и поэзіи, среди которыхъ Пушкинѣ блещетъ теперъ ярче всѣхъ.

— А что онѣ и собой красавецъ?

— Гм... Что вы разумѣете подѣ красотою въ мужчинѣ XIX вѣка? Пушкину 27 лѣтъ, но на видъ можно дать 30; роста онѣ средняго, строенѣ какъ юноша и лицомѣ худѣ. Съ точки зрѣнія классической красоты онѣ отнюдь не Аполлонѣ Бельведерскій. Но въ томѣ-то и сила современнаго генія, что онѣ своею духовною красотою облагораживаетъ и самыя невзрачныя черты. Отѣ постоянного, видно, размышленія на лбу Пушкина врѣзались глубокія складки и все лицо его африканскаго типа такѣ и дышитъ мыслью; а темныя брови, густыя широкія бакенбарды и цѣлый лѣсъ вьющихся волосѣ на головѣ дѣлаютъ его наружность еще выразительнѣе.

— И въ сознаніи своего генія онѣ говоритъ поневолѣ громче обыкновеннаго и высокопарно?— спросилъ Кукольникѣ.

— Напротивѣ: голосъ у него тихій и пріятный, рѣчь—простая, общепонятная и льется сама собой; но жемчужины остроумія такѣ и сыплотся у него экспромтомѣ; когда же тутѣ лицо его еще разгорится, глаза заискрятся — вы невольно заслушаетесь, залюбуетесь на него, какѣ на перваго красавца!

— А одѣвается онѣ франтомѣ?

— Нѣтъ, у Волконской онѣ даже не былѣ во фракѣ; черный сюртукѣ у него былѣ застегнутѣ



Александръ Сергѣевичъ
ПУШКИНЪ.

наглухо, черный галстухъ повязанъ довольно небрежно...

— Какъ и подобаеть поэту!—подхватилъ Гоголь.—На что ему всѣ эти свѣтскія финтифляриюльки? Зато въ своемъ рабочемъ кабинетѣ, онъ, вѣрно, окружилъ себя разными предметами искусства?

— То-то, что и здѣсь онъ, слышно, устроился донельзя неприсотливо. Единственнымъ украшеніемъ его кабинета служитъ повѣшенный надъ письменнымъ столомъ портретъ Жуковскаго. Портретъ этотъ подарилъ ему самъ Жуковскій послѣ перваго чтенія «Руслана и Людмилы» и собственноручно сдѣлалъ на немъ надпись: «Ученику-побѣдителю отъ побѣжденнаго учителя въ высокаторжественный день окончанія Руслана и Людмилы». Этимъ отзывомъ Пушкинъ дорожитъ болѣе, чѣмъ всякими печатными похвалами.

— Эхъ, Никита Ѳедоровичъ! и какъ это вы не догадались привезти отъ него чего-нибудь новенькаго?

Никита Ѳедоровичъ самодовольно улыбнулся и досталъ изъ бокового кармана бумажникъ, а изъ бумажника сложенный вчетверо листокъ.

— Нѣтъ, это не то...—пробормоталъ онъ, складывая опять листокъ.

— А! значить, все-же привезли кое-что? Спасибо вамъ! Но это у васъ что — же? Также стихи?

— Стихи, да, московскихъ студентовъ въ юмористическомъ родѣ. Вы помните, вѣроятно, эпи-

столу Ломоносова къ Шувалову: «О пользѣ стекла?»

— Еще бы нѣтъ:

«Неправо о вещахъ тѣ думаютъ, Шуваловъ,
Которые стекло чтутъ ниже минераловъ.»

— Ну, вотъ. А при московскомъ университетскомъ пансіонѣ есть экономя Болотовъ, прозванный студентами Болотовымъ, большой почитатель огурцовъ. Въ честь ему они сложили пародію: «О пользѣ огурцовъ».

И среди неумолкающаго смѣха нѣжинскихъ студентовъ Соловьевъ прочелъ пародію, начинающуюся такъ:

«Неправо о вещахъ тѣ думаютъ, Болотовъ,
Которы огурцы чтутъ ниже бергамотовъ...»

— Но теперь, господа, я полагаю, вы еще съ большимъ удовольствіемъ прослушаете новѣйшее произведеніе Пушкина, одобренное уже государемъ, — сказалъ молодой профессоръ, принимая серьезный видъ, и развернулъ другой листокъ. — Называется оно «Пророкъ». Едва ли есть надобность говорить вамъ, что «пророкъ» этотъ — онъ самъ, поэтъ-изгнанникъ, который въ своемъ деревенскомъ уединеніи, какъ анахоретъ въ пустынь, строгою, вдумчивою жизнью въ теченіе двухъ лѣтъ готовился къ своему высокому призванію — «обходя моря и земли, глаголомъ жечь сердца людей». У Ломоносова и Державина среди грубаго бульжника можно отыскать несомнѣнные перлы поэзіи;

но неумѣстныя славянскія выраженія то и дѣло досадно рѣжутъ ухо. Пушкинъ же въ этомъ своемъ стихотвореніи доказалъ самымъ нагляднымъ образомъ, до какого пагуба можетъ доходить церковно-славянскій языкъ, если употреблять его тамъ, гдѣ того требуетъ самая тема.

Подготовивъ такимъ образомъ молодежь къ пушкинскому «Пророку», Никита Федоровичъ прочиталъ вслухъ это великолѣпное какъ по содержанию, такъ и по формѣ стихотвореніе, прочиталъ такъ хорошо, что вызвалъ единодушный восторгъ. По общей просьбѣ онъ долженъ былъ повторить стихи во второй и въ третій разъ, а въ заключеніе нѣсколько человѣкъ, въ томъ числѣ, разумѣется, и Гоголь, выпросили ихъ, чтобы списать для себя.

— Вотъ бы показать Парфенію Ивановичу! — замѣтилъ одинъ изъ студентовъ.

— Онъ и читать ихъ не станетъ, — возразилъ другой.

— Развѣ какъ-нибудь ему подсунуть, не горя, чьи стихи? — шепнулъ Гоголь Данилевскому. — Не можетъ же онъ тоже не восхититься, а затѣмъ и увѣрять въ Пушкина! Только, пожалуйста, братъ, никому ни слова.

Случай къ предположенному опыту представился скоро. Профессоръ французской словесности Ландраженъ захворалъ, и замѣнить его на лекціи взялся Никольскій, который, несмотря на свое семинарское воспитаніе, считался знатокомъ французскаго языка. Задано было студентамъ, оказа-

лось, заучить изъ хрестоматіи какой-то стихотворный отрывокъ и пересказать его затѣмъ порусски. Переспросивъ по книгѣ двухъ-трехъ челоуѣкъ, Парфеній Ивановичъ предпочелъ перейти отъ чуждой словесности къ отечественной.

— «Что очень хорошо на языкѣ французскомъ.

То можетъ въ точности быть скаредно на русскомъ,» *)

—сказалъ онъ.—А стихи пересказывать прозой— послѣднее дѣло; коли пересказывать, такъ ужъ стихами же. Беру изъ хрестоматіи наугадъ куплетъ отъ точки до точки. Прошу вниманія.

Медленно и четко прочитавъ четыре строки, онъ медленно продолжалъ:

— Ну-съ, а теперь не угодно ли передать сіе стихами. Вѣдь межъ вами, слышно, не мало тоже самородныхъ талантовъ? Вы пишете, и я буду писать: посмотримъ, кто кого перещипитъ

Отыскавъ въ своихъ хрестоматіяхъ прочтенное, студенты заскрипѣли перьями; но ни у кого ничего не выходило.

— Ну, что же?—немного погодя, спросилъ профессоръ.—Не справитесь? А у меня уже готово:

«Подвинулся весь адъ, Нептунъ какъ восшумѣлъ;
Плутонъ съ престола вдругъ вскочилъ, вскричалъ,
взблѣднѣлъ,
Страшася, чтобъ сей богъ въ ужасные вертепы
Трезубцемъ не пробилъ путь свѣту сквозь заклепы.»

*) Стихи Сумарокова.

Какъ видите, переведено слово въ слово и, полагаю, достаточно благозвучно. Какъ это и вы-то, Кукольникъ, спасовали? А числитесь еще у насъ яко-бы лавреатомъ!

— Переводить чужіе стихи, Парфеній Ивановичъ, куда труднѣе, чѣмъ самому сочинять...—старался оправдаться «лавреатъ».

— Отсебятину? Эхъ вы, горе-риемоплеты! Всякая козявка лѣзетъ въ букашки. Ну, что жъ, будь по-вашему. Къ завтрашней лекціи моей, господа, извольте-ка каждый приготовить мнѣ что-нибудь свое, оригинальное; темой я васъ не стѣсняю, но засимъ прошу не пенять: по косточкамъ беру.

Для Кукольника задача не представляла никакой трудности: онъ выбралъ готовую уже «отсебятину», притомъ написанную «высокимъ слогомъ». Благодаря послѣднему обстоятельству, Никольскій отнесся къ автору довольно благодушно. Зато остальнымъ сочинителямъ пришлось плохо, даже и тѣмъ, которые для своего облегченія просто-напросто переписали изъ послѣднихъ номеровъ столичныхъ журналовъ стихи новѣйшихъ поэтовъ: благо, Парфеній Ивановичъ ихъ не признавалъ, а потому и не читалъ.

— Ода не ода, элегія не элегія, а чортъ-знаетъ что такое!—ворчалъ себѣ подъ носъ Парфеній Ивановичъ и самымъ немилосерднымъ образомъ хѣрилъ, исправлялъ вдоль и поперекъ стихи Баратынского, Козлова и другихъ. — Писать стихи, государи мои, не простое ремесло, всякому доступное, а ве-

ликое искусство! Кто мнѣ скажетъ, что такое искусство?

— Что для одного искусство — то для другого пустячки, — подалъ голосъ съ своей третьей скамьи Гоголь.

— Что за нелѣпица!

— Да какъ же: дѣло мастера боится; стало-быть для мастера оно уже не искусство.

— Да, да! играть словами вы мастеръ; это для васъ не искусство. Поросенокъ только на блюдѣ не хрюкаетъ. А вотъ стихи писать — не вашего ума дѣло.

— Напротивъ, Парфеній Ивановичъ; у меня уже готовы стихи и восхитительные!

— Воображаю, что за стряпня.

— Извольте взглянуть; не нахвалитесь.

— «Пророкъ», — прочелъ Никольскій заглавіе поданныхъ ему Гоголемъ стиховъ. — Гмъ! Это что же у васъ — переложеніе изъ какого-нибудь ветхозавѣтнаго пророка?

— Нѣтъ, это аллегорія: подъ пророкомъ я разумѣлъ истиннаго поэта, какъ просвѣтителя, глашатая народнаго.

— Такъ-съ. Мысль сама по себѣ сносная. Какое-то выполненіе?

При всей приверженности своей къ стихотворцамъ минувшаго вѣка, Никольскій не былъ лишенъ поэтическаго чутья; а «старинный слогъ» знаменитаго нынѣ стихотворенія Пушкина настроилъ его еще болѣе въ пользу мнимаго автора.

— Изряднѣхонько, — похвалилъ онъ и обмак-

нулъ перо, чтобы приступить къ обязательнымъ поправкамъ.—На себѣ самомъ вы теперь видите, любезнѣйшій, сколь важно руководствоваться классическими образцами! Пушкину съ компаніей вовѣки не сочинить ничего подобнаго.

Со скамеекъ послышался сдержанный смѣхъ. Профессоръ поднялъ голову.

— Вы чего тамъ, Риттеръ?

— Да вѣдь это же стихи Пушкина! — выпалилъ Риттеръ.—Никита Ѳедоровичъ привезъ ихъ изъ Москвы, а мы списали.

Парфеній Ивановичъ былъ такъ озадаченъ, что даже не вспылилъ. Онъ отложилъ въ сторону перо и исподлобья окинулъ Гоголя и весь классъ глубоко-огорченнымъ взглядомъ.

— За вашу продѣлку, Яновскій, вамъ надлежало бы поставить двѣ палицы,— произнесъ онъ: — одну—за поведеніе. другую—за невыполненіе заданнаго урока. Но въ такомъ разѣ можетъ—статься участь вашу пришлось бы раздѣлить здѣсь и многимъ другимъ. А посему до времени поставлю вамъ лишь *nota bene*.

Теперь и Гоголю было не до смѣха.

— Вы очень добры, Парфеній Ивановичъ, — по-видимому искренне сказалъ онъ.—Но простите за вопросъ: почему же всякая новая поэма Пушкина раскупается публикой нарасхватъ, а Херасковъ съ Сумароковымъ гніютъ въ кладовыхъ книгопродавцевъ?

— А почему, спрошу въ отвѣтъ, на свѣтѣ по-жирается не въ примѣръ больше желудей, чѣмъ

*

ананасовъ? Потому, что по потребителямъ и пища. А какая упражненіямъ господина Пушкина подлинная цѣна—о томъ будетъ рѣчь въ слѣдующій разъ.

И, точно, всю слѣдующую лекцію свою Никольскій посвятилъ разбору или, вѣрнѣе сказать, разгрому «Руслана и Людмилы». Такой выборъ его очень просто объяснялся тѣмъ, что при выходѣ въ свѣтъ въ 1820 году этой первой юношеской поэмы Пушкина многіе изъ тогдашнихъ журнальныхъ рецензентовъ яростно набросились на начинающаго пѣту, дерзнувшаго писать стихи на древнерусской сюжетъ изящнымъ, не ходульнымъ языкомъ и употреблять даже простонародныя выраженія. Рецензії тѣ были какъ разъ въ духѣ Парфенія Ивановича, который затѣмъ находилъ уже бесполезнымъ читать дальнѣйшія упражненія «какого-то» Александра Пушкина. Ёдко и мѣтко выдвинулъ онъ въ своей лекціи всѣ слабыя стороны недозрѣлой еще поэмы и, не оставивъ въ ней, что называется, камня на камнѣ, иронически закончилъ словами пушкинскаго Руслана:

— «Я ѣду, ѣду, не свищу,
А какъ наѣду—не спущу!»

На другой же день онъ явился съ фоліантомъ подъ мышкой и, взойдя на кафедру, съ торжественнымъ видомъ разложилъ его передъ собою.

— Юные друзья мои!—не поднимая взора со страницъ фоліанта, заговорилъ онъ.—Въ бесѣдахъ нашихъ постоянно обрѣтаю моральное услажденіе.

При точномъ свѣтѣ наукъ мы обозрѣли сокровищницу россійскихъ письменъ; не обошли вниманіемъ и менѣе достойныхъ служителей родного слова. Говоря съ Сумароковымъ:

«Довольно нашъ языкъ въ себѣ имѣетъ словъ,
Но нѣтъ довольнаго на немъ числа писцовъ.»

Да позволено же мнѣ будетъ познакомить васъ и съ твореніемъ собственныхъ словесныхъ силъ моихъ; надъ нимъ же проведены не малые годы въ трудѣ многомъ...

«Юные друзья» разинули рты и переглянулись: никто изъ нихъ и не подозрѣвалъ, что Парфеній Ивановичъ самъ также изощрялся на стихотворномъ полѣ.

— Сіе есть дидактическая поэма «Умъ и рокъ»,—продолжалъ профессоръ и, вдругъ замѣтивъ, что Риттеръ, какъ ни въ чемъ не бывало, шепчется съ кѣмъ-то, строго его окликнулъ:

— Риттеръ? что есть дидактическая поэма?

— Дидактическая?..

— Не слышали? Знаете ли вы вообще, что есть поэма?

— Поэма-съ—это... это...

— Хороши, нечего сказать! Какіе, скажите, есть роды поэзіи?

— Поэзія лирическая, драматическая и ..

— Э—э... эпи... ну?

— Эпидемическая,—подсказалъ Гоголь.

— Эпидемическая!—ляпнулъ барончикъ.

— Безтолковость у васъ иначе не эпидемическая, а хроническая. На нѣтъ впрочемъ и суда нѣтъ!

Хоть сидѣли бы смирно и не мѣшали бы другимъ!
Итакъ, государи мои, приступаю къ чтенію моей
философской поэмы, приступаю со смиреніемъ
творца «Россіады»:

«О ты, витающій превыше свѣтлыхъ звѣздъ,
Стихотворенья духъ! приди отъ горнихъ мѣстъ;
На слабое мое и темное творенье
Пролей твои лучи, искусство, озаренье!» *)

И чтеніе началось. Какъ мы имѣли уже случай
упомануть, природа щедро надѣлила Парфенія Ива-
новича голосовыми средствами, а возрастающее съ
каждымъ стихомъ воодушевленіе придало имъ еще
большую мощь. Шестистопные ямбы, съ монотон-
но-чередующимися двойными, то женскими, то
мужскими приемами, потрясали воздухъ—четверть
часа, полчаса, часъ. Съ коридора донеслись звуки
колокольчика, шумъ и гамъ высыпавшихъ туда
воспитанниковъ другихъ классовъ; за стекляною
дверью показалось нѣсколько любопытныхъ лицъ.
И дверь подъ напоромъ смотрѣвшихъ затрещала.
Тутъ только Парфеній Ивановичъ очнулся.

— Да развѣ уже звонили?—спросилъ онъ, а на
утвердительный отвѣтъ съ видимымъ сожалѣніемъ
захлопнулъ фоліантъ и сошелъ съ каеэдры.

— А что, Парфеній Ивановичъ, еще много оста-
лось?—спросилъ его Кукольникъ.

— Первой-то части немного: страницъ двадцать.

— Такъ есть, значить, еще и вторая часть?

*) Стихи Хераскова.

— И вторая, и эпилогъ. А что, любезнѣйшій Несторъ Васильевичъ,—перешелъ Никольскій въ «партикулярный» тонъ, кладя руку на плечо любимаго ученика:—скажите-ка по совѣсти, совѣмъ, знаете, откровенно: какъ вамъ мое твореніе показалось?

— Изъ ряда вонъ! — съ почтительнымъ поклономъ отвѣчалъ ученикъ-дипломатъ.—И Сумароковъ, и Херасковъ, безъ сомнѣнія, съ радостью подписали бы подъ нимъ свое имя.

— Хочу думать, хочу думать!—промолвилъ Никольскій, вполне удовлетворенный такимъ отзывомъ.—Литературнаго вкуса у васъ, другъ мой, я вижу, болѣе, чѣмъ у всѣхъ вашихъ товарищей, купно взятыхъ. Вотъ что не соберетесь ли вы нонече вечеромъ ко мнѣ на стаканчикъ чая?

— Покорнѣйше благодарю.

— Да пожалуй прихватите съ собой и кое-кого изъ знающихъ толкъ: хоть бы Халчинскаго, Гороновича, Новохацкаго.. Много званыхъ, да мало избранныхъ.

Вернулись четыре избранника отъ Парфенія Ивановича уже послѣ казеннаго ужина, когда товарищи ихъ ложились спать.

— Ну, что, «рока» своего не избѣгли, а «ума» не набрались? — спросилъ Гоголь.

— Ума-то сколько угодно, а морали хоть отбавляй,—отвѣчалъ Кукольникъ.

— А чѣмъ васъ угостили-то, кромѣ чая? Порядочнымъ ужиномъ?

— М-да, однимъ только блюдомъ, но полно-

вѣснымъ: двумя тысячами александрійскихъ стиховъ; до завтрашняго вечера, пожалуй, не переваримъ.

— Эге! Такъ вы приглашены и на завтра?

— Да, надо же докушать: осталась еще добрая половина.

— Несчастные! Такъ посовѣтуй ему подать свое блюдо хоть подъ другимъ соусомъ.

— Т. е. подъ другимъ заглавіемъ?

— Да.

— Подъ какимъ?

— «Умъ за разумъ».

— А что же, названіе самое подходящее!—разсмѣялся Кукольникъ; но дать автору такой совѣтъ онъ все-таки не посмѣлъ, а подъ разными предлогами уклонился только отъ дальнѣйшаго слушанія его философской поэмы, которая съ тѣхъ поръ у нѣжинскихъ студентовъ называлась уже не иначе, какъ «Умъ за разумъ».





ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

За х а н д р и л ь .

И ходъ Орлая изъ гимназіи совершился въ глухую лѣтнюю пору, на каникулахъ, когда не было на лицо ни профессоровъ, ни пансіонеровъ. Не было поэтому и торжественныхъ проводовъ: ни рѣчей, ни слезъ. Ушелъ онъ, словно крадучись, «по-французски», чтобы не возбуждать ни переполоха, ни излишнихъ сожалѣній.

И учебная жизнь съ осени потекла опять заведеннымъ порядкомъ, точно безплотный духъ отсутствующаго продолжалъ еще невидимо руководить всѣмъ. Но долго оставаться безъ хозяина никакой домъ не можетъ, тѣмъ болѣе столь многолюдный, какъ учебное заведеніе съ пансіономъ. Правда, что впредь до назначенія новаго директора обязанности его долженъ былъ исполнять старшій по чину профессоръ, а тако-

вымъ былъ профессоръ политическихъ наукъ Билевичъ. Но природа отказала Михайлѣ Васильевичу въ самомъ драгоценномъ качествѣ чело-вѣка—въ чело-вѣколюбіи, и душевная черствость проявлялась у него такъ явно въ отношеніяхъ къ сослуживцамъ и воспитанникамъ, что однихъ отъ него отталкивало, а другихъ, болѣе строптивыхъ, подстрекало еще къ противодѣйствию и непослушанію. Слухи о безначаліи гимназіи дошли, видно, и до почетнаго попечителя ея, графа Кушелева-Безбородко, потому что съ 28 октября 1826 года временное исправленіе должности директора было поручено профессору математическихъ и естественныхъ наукъ Шаполинскому. Казимиръ Варѳоломеевичъ былъ справедливъ и мягокъ. Но именно по своей деликатности, въ виду своего временнаго, неопредѣленнаго положенія, онъ не рѣшался слишкомъ туго натягивать бразды—и ученіе, какъ и весь внутренній порядокъ заведенія все болѣе ослабѣвали, распускались. Особенно распушенность эта замѣчалась за стѣнами гимназіи. Вольноприходящіе, жившіе въ городѣ на частныхъ квартирахъ и не имѣвшіе потому внѣ классовъ за собою никакого начальническаго надзора, заражали своимъ примѣромъ и пансіонеровъ. Послѣ классныхъ занятій студенты-пансіонеры отлучались, не спрашиваясь, въ городъ и гуляли тамъ нерѣдко до утра. Инспекторъ Бѣлоусовъ бился какъ рыба объ ледъ, чтобы нѣсколько хоть поддержать прежній строй заведенія. Но когда онъ однажды сталъ было усовѣщевать Куколь-

ника, что тотъ, какъ первый ученикъ въ классѣ, долженъ бы служить примѣромъ для остальныхъ, а между тѣмъ вотъ цѣлую ночь напролетъ проигралъ опять на билиардѣ, Кукольникъ легкомысленно отшутился:

— Да вѣдь игра на билиардѣ, Николай Григорьевичъ, такое же свободное искусство, какъ живопись, музыка, танцы, а современному чело-вѣку съ артистическими наклонностями какъ не упражняться, скажите, во всѣхъ искусствахъ? Моя ли вина, что у насъ тутъ нѣтъ еще каедры билиардной игры? А лишь только ее откроютъ— я явлюсь первымъ кандидатомъ.

Дѣйствительно способный на всѣ руки, Кукольникъ сдѣлался на билиардѣ настоящимъ артистомъ и не имѣлъ себѣ въ Нѣжинѣ соперника. Зато въ наукахъ онъ преуспѣвалъ уже значительно менѣе, и если сохранялъ еще за собою первенство въ классѣ, то скорѣе по традиціи да потому, что общій уровень успѣховъ воспитанниковъ одновременно понизился.

А Гоголь? Городскія развлечения были не для него, домосѣда, и онъ еще болѣе прежняго сторонился вѣтренниковъ-товарищей. Но Орлая уже не было, въ семьѣ котораго онъ находилъ какъ бы отраженіе своей родной семьи. Не было и старшаго друга его—Высоцкаго, который, бывало, своимъ трезвымъ юморомъ и сарказмомъ расшевеливалъ, подбодрялъ 17-тилѣтняго меланхолика.

Прощанье у нихъ, помнится, вышло какое-то совсѣмъ особенное, изъ ряду вонъ. Сперва было

ни тотъ, ни другой и виду не показывали, что горюють. Высоцкій, собиравшійся въ отъѣздъ днемъ раньше, сталъ укладываться; Гоголь сидѣлъ тутъ-же, сложа руки, и прехладнокровно перебрасывался съ нимъ шуточками по поводу оконченныхъ экзаменовъ. О Петербургѣ оба почему-то не заикались, точно боялись затронуть большую струну. Но вотъ подали на дворъ и тарантасъ. Покамѣстъ гимназическимъ сторожемъ нагружались туда пожитки отъѣзжающаго, самъ Высоцкій, никогда не отличавшійся румянымъ видомъ, а теперь еще болѣе блѣдный, съ какою-то дѣланною веселостью болталъ съ толпой провожавшихъ его товарищей.

— Готово, Герасимъ Ивановичъ, — объявилъ сторожъ, хлопая рукою по сидѣнью тарантаса. — Пожалуйте садиться.

— Надо бы и всѣмъ присѣсть передъ разлукой, — шуточно замѣтилъ Высоцкій; — но на голой землѣ, господа, я думаю, не совсѣмъ-то удобно? Обойдемся и такъ.

Подойдя къ крайнему изъ обступившихъ его, онъ трижды съ нимъ облобызался; затѣмъ повторилъ тоже со вторымъ, съ третьимъ. Очередь дошла до Гоголя. Какъ онъ весь день ни крѣпился, имъ овладѣвало все большее уныніе, а потому онъ одинъ изъ всѣхъ присутствующихъ не принималъ участія въ общемъ разговорѣ и держался на второмъ планѣ. Теперь пришлось выступить впередъ.

Но Высоцкій поверхъ своихъ синихъ очковъ

быстро взглянулъ на него и, промолвивъ: «съ тобой подъ конецъ», обратился къ слѣдующему. Вотъ другъ такъ другъ! Его онъ приберегаетъ подъ конецъ.

Обходъ былъ оконченъ.

— Ну, другъ сердечный, теперь и съ тобой почеломкаемся,—сказалъ Высоцкій, возвращаясь къ Гоголю и обтирая губы для предстоящаго послѣдняго цѣлованья; но тутъ, когда протянулъ уже руки, вдругъ остановился—Да впрочемъ не далѣе, какъ черезъ два года, мы встрѣтимся съ тобою въ Сѣверной Пальмирѣ; неправда ли?

— Это давно уже рѣшено.

— А до тѣхъ поръ будемъ прилежно переписываться. Такъ развѣ это разлука? Мы все время будемъ какъ бы вмѣстѣ. Стоить ли, значить, серьезно прощаться?

— Понятно, не стоить.

— Такъ будь здоровъ.

— И ты тоже.

Два закадычные друга ограничились крѣпкимъ рукопожатіемъ, и старшій повернулся уже къ тарантасу. Но тутъ младшему все-же измѣнило его присутствіе духа: изъ груди его вырвался не вопль, о, нѣтъ! а такъ, будто легкій стонъ.

Высоцкій услышалъ, обернулся,—и очень ужъ грустно, видно, было выраженіе лица его юнаго друга, потому что онъ сжалъ его въ объятяхъ и поцѣловалъ. То былъ одинъ всего мигъ забвенья, котораго самъ Высоцкій, казалось, усты-

дился, потому что тотчас же оторвался, вскочилъ въ тарантасъ и хрипло крикнулъ:

— Пошелъ!

На другой день и Гоголь укатилъ въ свою степную родовую глушь.

А теперь онъ опять въ Нѣжинѣ и можетъ только вспоминать о минувшемъ лѣтѣ. Да есть ли о чемъ и вспоминать? Нашелъ онъ дома все то-же, или почти то-же, что и прежде. Было только люднѣе: старушка бабушка Анна Матвѣевна почасту наѣзжала изъ Яресокъ и заживалась по недѣлямъ; да двое двоюродныхъ дядей, Косяровскихъ, съ сестрицей своей Варварой Петровой, загостились въ Васильевкѣ вплоть до сентября. Дядя-то Петръ Петровичъ держалъ себя даже не по лѣтамъ важно и степенно; все трактовалъ, критиковалъ свысока: не даромъ побывалъ въ Петербургѣ и въ Одессѣ.

Зато дядя Павелъ Петровичъ—душа на распашку: насильно, бывало, тащитъ племянника-нѣженку и увальня въ фруктовый садъ полакомиться «не въ счетъ абонементъ» и, жуя полнымъ ртомъ, безъ умолку, знай, болтаетъ съ юношей, какъ съ ровней.

— Какъ это вы, Павелъ Петровичъ, можете ѣсть такъ зря малину?—говоритъ племянникъ:— не взглянете даже, нѣтъ ли червяка?

— Да червяки эти, откормленные на малинѣ, развѣ не та-же малина, только триплъ-экстрактъ?—отзывается Павелъ Петровичъ и звонко вдругъ хохочетъ:—а знаешь ли ты, Никоша, что я вѣдь

на этакомъ червякѣ однажды цѣлый пятакъ заработалъ?

— Какъ такъ?

— А вотъ какъ. Были мы тогда съ братомъ Петромъ еще мальчишками, забрались точно также вотъ, какъ теперь съ тобой, въ малину. А братъ Петръ и въ тѣ времена былъ уже брезгливъ, не то, что я. Попался ему червякъ. «Фи!» говорить, «и какой жирный!»—«Тѣмъ», говорю, «сочнѣе.»—«Ну, да! дай мнѣ хоть тысячу рублей—не съѣмъ.»—«А я съѣмъ и за пятакъ.»—«Правда?»—«Правда.»—«Ну, такъ нѣ вотъ, ѣшь.» Взялъ я у него червяка (а каналья, въ самомъ дѣлѣ, былъ прежирный!), всунулъ въ ягоду да вмѣстѣ съ нею и скушалъ; потомъ руку протянулъ: «Давай-ка пятакъ.» Опѣшилъ мой Петенька, до ушей покраснѣлъ: не ожидалъ отъ меня такой прыти; да дѣлать нечего: полѣзъ въ карманъ за пяточкомъ, чуть ли не послѣднимъ.

— Вотъ такъ анекдотъ!—заливается теперь и племянникъ.

— Пстой, анекдотъ еще не весь... Дня два спустя обѣдали у насъ гости—старые пріатели отца; на третье подали имъ малину со сливками. Одинъ вотъ и выуди у себя въ сливахъ пару такихъ малиновыхъ червяковъ и положи ихъ на край тарелки. Увидѣлъ отецъ, вспомнилъ про анекдотъ сыновей и со смѣхомъ рассказываетъ. «Экая невидаль!» говорить другой изъ пріателей; «и я бы съѣлъ за пятакъ.» А тотъ, что выудилъ червяковъ, кладетъ уже ему на столъ пятакъ: «Прошу

покорно.» Скорчилъ этотъ кислую рожу да— взялся за гужъ, не говори, что не дюжъ,—взялъ одного червяка и съѣлъ. «Ну, такъ и я, пожалуй, съѣмъ», говоритъ первый, взялъ второго червяка и тоже съѣлъ.

— А пятакъ-то что же?—спрашиваетъ рассказчика племянникъ, покатываясь со смѣху.

— Пятакъ онъ, конечно, потребовалъ опять назадъ, такъ что оба съѣли по червяку только такъ, здорово живешь, ради собственного плезира.

Ахъ, да! и этакихъ-то потѣшныхъ анекдотовъ у дяди Павла Петровича сколько угодно. Гдѣ онъ, тамъ веселье и смѣхъ. А какъ затащить тебя, бывало, на сельскую ярмарку—потолкаться межъ народомъ, такъ только гляди да слушай. Для всякаго-то мужиченка, для всякой бабѣнки найдется у него привѣтъ и шутка; тутъ отвѣдаетъ гречаниковъ, горѣховняковъ, буханцевъ, тамъ велитъ спечь себѣ блинъ на горячей сковородкѣ, да такъ, чтобы масло съ пальцевъ текло; мимоходомъ возьметъ у инвалида-солдата щепотку тертаго тютюна съ кануперомъ; старца-кобзаря заставитъ спѣть Лазаря, цыганѣнка—проплясать «халандри», цыганку—«на ручкѣ» поворожить; а торговки кругомъ ему просто проходу не даютъ, на каждомъ шагу за полы дергаютъ: «ходы сюды, пане добродію, визьми въ мене!»—и беретъ онъ справа и слѣва, набиваетъ себѣ полные карманы всякою дрянью, а дома, понятно, раздаетъ всѣмъ желающимъ. За ужиномъ за то ему приходится

всегда слышать реприманды отъ домовитой сестрицы, тетеньки Варвары Петровны, что племянника-де съ пути совращаетъ.

— Напротивъ, тетенька,—выгораживаетъ дядю племянникъ:—мы повторяемъ такъ на практикѣ географію и геометрію.

— Геометрію?—спрашиваетъ сидящая тутъ-же за столомъ веселая молодая гостя, Александра Ѳедоровна Тимченко:—что же вы ногами по землѣ теоремы рѣшаете?

— И премудренныя: Пифагоровы штаны... виновать! панталоны.

Общій смѣхъ; только тетушка брюзжитъ, укорительно головой качаетъ... Да какъ же и иначе? Она, немолодая уже дѣвица, въ своемъ родѣ фамильная реликвія и къ племяннику-студенту по старой памяти относится все еще какъ къ малышу съ нравоучительными наставленіями. Но кто же претендуетъ на кипящій самоваръ, что онъ пыхтитъ и ворчитъ? И брюзжанье милой тетушки—неотъемлемая принадлежность всей ея цѣльной натуры, подобно вязальнымъ спицамъ, которыми она однимъ и тѣмъ-же жестомъ негодованія отгоняетъ надоѣдливыхъ осеннихъ мухъ, или подобно чулку, которымъ она во время вязанья, вмѣсто платка, отираетъ съ лица перлы пота.

Нотации тетушки въ томъ отношеніи даже не безъ пріятности и пользы, что даютъ поводъ безгранично-слабой къ родоначальнику семьи Гоголь-Яновскихъ бабушкѣ Аннѣ Матвѣевнѣ принимать

внука подъ свою защиту, а маменькѣ—наклады-
вать сынку въ утѣшенье лишнюю порцію арбуза
или варениковъ.

— Варёныки побидёныки! — бормочетъ про
себя, облизываясь, мечтающій племянникъ, внукъ и
сынъ—эту любимую поговорку одного сосѣда,
такого-же, какъ самъ онъ, охотника до націо-
нальныхъ блюдъ малороссовъ:—сыромъ бо́кы по-
запыханы, масломъ очы позалываны—вареныки
побидёныки!

Ахъ, маменька, маменька! И какъ-то она те-
перь тамъ одна со всѣмъ управится? Планъ-то и
фасадъ новаго дома, нарисованные еще при па-
пенькѣ, посланы ей; хоть и сдѣланы безъ мас-
штаба, но пользоваться ими все-же можно, осо-
бливо по части наружныхъ украшеній. Да и на-
писано ей тоже, чтобы крыла домъ непременно
черепицей: черепичная крыша вѣдь лѣтъ пять-
десять не требуетъ починки; при томъ какъ кра-
сивы подъ нею строенія! Но для маменьки это—
тарабарская грамота; ей куда понятнѣй, любопыт-
нѣй картинка новѣйшихъ модъ. Ну, что жъ, по-
шлемъ и картиночку.

Чтобы не забыть послать, Гоголь выдвинулъ
ящикъ своего рабочаго стола и сталъ рыться тамъ
въ беспорядочной грудѣ бумагъ, но вмѣсто ри-
сунка модъ обрѣлъ надняхъ только перебѣленные
стихи и—сердце не камень—сталъ ихъ перечиты-
вать. Но они его уже не удовлетворяли. Онъ
взялъ перо и глубоко задумался.

Кромѣ самого его, въ музеѣ никого не было:

одни изъ товарищей легли уже спать, другіе не возвратились еще изъ города, въ томъ числѣ и Данилевскій, приглашенный на вечеринку съ танцами. Тишина кругомъ располагала къ поэзіи...

Вдругъ черезъ плечо поэта протянулась чья-то рука и завладѣла его писаньемъ. Гоголь быстро обернулся.

— Опять вѣдь напугалъ, Саша!

— А ты опять риѣмы подбираешь?—говорилъ въ отвѣтъ Данилевскій.—И какъ тебѣ, право, не надоѣсть?

— А тебѣ-то какъ не надоѣсть вертѣть ногами?

— Я ими тоже риѣму подбираю, но подъ музыку!

— Потому что у тебя вся сила въ ногахъ.

— А у тебя въ мозгахъ? Посмотримъ, что ты ими навертѣлъ. «Непого-да!»

— Отдай!—прервалъ Гоголь и хотѣлъ отнять листокъ.

Данилевскій однако не намѣренъ былъ сейчасъ отдать, и между двумя друзьями завязалась борьба. Данилевскій былъ сильнѣе и ловче, а потому скоро восторжествовалъ; только клочекъ изъ самой середины листка остался въ рукахъ автора.

— Такую глубокомысленную штуку надо смаковать на досугѣ! сказалъ со смѣхомъ Данилевскій и удралъ съ своей добычей.

Такъ похищенный имъ листокъ случайно уцѣлѣлъ и до насъ, за исключеніемъ, конечно, вырванныхъ изъ середины строкъ. Выписываемъ здѣсь

*

эти юношескіе стихи Гоголя—не потому, чтобы они имѣли литературное значеніе, а потому, что въ нихъ особенно наглядно отразилось его тогдашнее душевное настроеніе.

НЕПОГОДА.

«Невесель ты?» — «Я весель былъ,»
 Такъ говорю друзьямъ веселья:
 «Но радость жизни пережилъ
 И грусть зазвалъ на новоселье.
 Я молодъ былъ, и свѣтлый взглядъ
 Былъ непечалень; съ тяжкой мукой
 Не зналось (сердце) ѣй садъ
 И голу
 . . . какъ осень, вянетъ младость:
 Угрюмъ; не веселится мнѣ,
 И я тоскую въ тишинѣ
 Одинъ, и радость мнѣ не въ радость.»
 Смѣясь, мнѣ говорятъ друзья:
 «Зачѣмъ расплакался? Погода
 И разгулялась и ясна,
 И не темна, какъ ты, природа.»
 А я въ отвѣтъ: «Мнѣ все равно,
 Какъ день, всѣ измѣненія года:
 Свѣтло ль, тамно ли—все одно,
 Когда въ семъ сердцѣ непогода.»

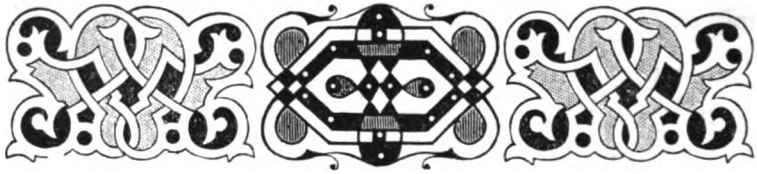
Недолго послѣ этого Гоголю пришлось разстаться и съ Данилевскимъ: послѣдній по какой-то таинственной причинѣ, которой не довѣрилъ даже своему старѣйшему другу, внезапно, въ двадцать четыре часа, собрался въ Москву, гдѣ и поступилъ затѣмъ въ университетскій пансіонъ. Съ этого времени муравейникъ уѣзднаго города пред-

ставлялся одинокому мечтателю еще мельче, тѣснѣе прежняго, и отводить душу онъ могъ только въ перепискѣ съ петербургскимъ другомъ: Высоцкимъ, который сталъ ему тамъ, въ недосыгаемой дали, какъ-будто еще ближе.

«Ни къ кому сердце мое такъ не привязалось, какъ къ тебѣ,» признавался онъ ему въ письмѣ отъ 17 января 1827 года: «Съ первоначальнаго нашего здѣсь пребыванія уже мы поняли другъ друга, а глупости людскія уже рано сроднили насъ; вмѣстѣ мы осмѣивали ихъ и вмѣстѣ обдумывали планъ будущей нашей жизни. Половина нашихъ думъ сбылась: ты уже на мѣстѣ, уже имѣешь сладкую увѣренность, что тебя замѣтятъ; а я... Душа моя хочетъ вырваться изъ тѣсной своей обители, и я весь—нетерпѣніе... Я здѣсь совершенно одинъ: почти всѣ оставили меня; не могу безъ сожалѣнія и вспомнить о нашемъ классѣ... Дураки все такъ же глупы. Барончикъ-Доримончикъ, Фонъ-Фонтикъ-Купидончикъ, Мишель Дюсенька, Хопцики здоровъ и невредимъ и часъ отъ часу глупѣетъ...»

И среди «дураковъ» Гоголь окончательно было захандрить.





ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

Около сцены, на сценѣ и за кулисами.



— Ты что это, братъ, въ молчальники опять записался?— замѣтилъ какъ-то Гоголю Кукольникъ.— Снялъ бы хоть разъ маску, Таинственный Карло.

— Во многомъ глаголаніи нѣсть спасенія,— былъ унылый отвѣтъ.— Всѣ мы носимъ невидимую маску, которую снимаемъ только подъ видимой.

— Зафилософствовалъ! А что, въ самомъ дѣлѣ, скоро масленица; не устроить ли намъ маскарада или хоть спектакля?

Гоголь встрепенулся.

— Умное слово пріятно и слышать! Билевичъ, правда, противъ спектаклей; но толчите—и отверзется.

— Все вѣдь теперь во власти Бѣлоусова,—под-

• хватилъ Кукольникъ.— Шаполинскій хотъ и директорствуетъ, но только номинально.

— Ну, онъ-то, какъ и Бѣлоусовъ, за насъ. Лишь бы намъ предоставили самимъ выбрать пьесы.

— Слава Богу, мы уже теперь не мальчики! Нынче же созовемъ свой театральнй комитетъ.

— И прекрасно. А режиссеромъ будешь по-прежнему ты, Несторъ? Знаешь что: я, признаться, не прочь бы взять на себя русскія пьесы...

— А сдѣлай, братъ, одолженіе. Съ меня будетъ и иностранныхъ да музыки.

— Вотъ за это сугубое спасибо. Идемъ же, идемъ сейчасъ къ Бѣлоусову.

Согласіе инспектора Бѣлоусова было получено безъ затрудненій, а вечеромъ того-же дня въ библиотечной комнатѣ состоялось и засѣданіе «театральнаго комитета», въ составъ котораго двумя заправилами были допущены только намѣченные ими впередъ актеры. Послѣ довольно оживленныхъ преній былъ составленъ полный репертуаръ, да тутъ же разобраны и роли. «Коронною» пьесой былъ назначенъ фонвизинскій «Недоросль», а двѣ главныя въ ней роли, Простаковой и Митрофанушки, предоставлены самимъ режиссерамъ; роль Скотинина взялъ себѣ Божко, Кутейкина—Григоровъ, Цыфиркина—Миллеръ, Софья—Бороздинъ Яковъ, Стародума—Базили.

Далѣе изъ русскихъ пьесъ выборъ остановился еще на двухъ оригинальныхъ: «Неудачный примиритель» Княжнина и «Лукавинъ» Писарева, да на одной переводной—«Береговое пра-

во» Коцебу; а изъ иностранныхъ — на двухъ французскихъ комедіяхъ Мольера и Флоріана и одной нѣмецкой — Коцебу.

Ближайшею заботою Гоголя были теперь кулисы. По этой части онъ нашелъ себѣ незамѣнимаго помощника въ Прокоповичѣ: тотъ безъ устали рыскалъ для него по городскимъ лавкамъ за всякими матеріалами, а затѣмъ, по указаніямъ своего друга-патрона, оклеивалъ вчернѣ кисеей и бумагой дѣревянные остовы, сколоченные старикомъ-дядькой Симономъ. Самъ Гоголь давалъ декорациямъ «послѣднюю политуру», расписывая ихъ широкою кистью декоратора-художника. Подъ его волшебною рукою выростала то новая стѣна съ окнами и дверью, то раскидистое дерево, то цѣлая малороссійская хата. Послѣдняя возбуждала не малое недоумѣніе и любопытство остальныхъ актеровъ, такъ какъ ни въ одной изъ репертуарныхъ пьесъ не значилось такой хаты. Но на всѣхъ разспросы по этому поводу у «Таинственнаго Карла» былъ одинъ загадочный отвѣтъ:

— Стало, треба.

Для сооруженія подмостковъ пришлось обратиться къ посторонней помощи — плотниковъ, и гулкой стукъ ихъ топоровъ, донесшись до аудитории, гдѣ читалъ въ то время лекцію Билевичъ, едва не разстроилъ всей затѣи.

«Такъ какъ таковыя театральныя представленія въ учебныхъ заведеніяхъ не могутъ быть допущены безъ особаго дозволенія высшаго начальства,» доносилъ конференціи въ письменномъ ра-

портѢ Билевичъ, «то дабы мнѢ, какъ члену конференціи, на которой лежитъ отвѣтственность смотрѣнія за нравственнымъ воспитаніемъ обучающагося юношества, безвинно не отвѣтствовать за мое о семъ молчаніе передъ высшимъ начальствомъ, всепокорнѣйше оную прошу уволить меня по сему предмету отъ всякой отвѣтственности».

Но инспекторъ Бѣлоусовъ принялъ передъ конференціей всю отвѣтственность на себя, а затѣмъ съ самихъ студентовъ-актеровъ взялъ обѣщаніе вести себя какъ на репетиціяхъ, такъ въ особенности во время самихъ представленій возможно чинно и смиренно.

Такъ подошла масленица. Хотя двумъ режисерамъ и удалось выхлопотать на этотъ разъ для своего спектакля, вмѣсто рекреационнаго зала, болѣе обширный торжественный залъ, но и этотъ не вмѣстилъ бы всѣхъ зрителей: вѣдь, кромѣ всего начальства да 250-ти воспитанниковъ, каждому актеру предоставлялось еще раздать по нѣскольку входныхъ билетовъ своимъ роднымъ и знакомымъ. Поэтому спектакли были распределены на четыре вечера, и только начальству да студентамъ не возбранялось присутствовать на всѣхъ четырехъ вечерахъ.

Первые три спектакля прошли не только безъ всякихъ замѣшательствъ, но съ большимъ «ансамблемъ». По крайней мѣрѣ зрители очень тепло и повидимому вполне чистосердечно поздравляли обоихъ режиссеровъ послѣ cadaго вечера, увѣряя, что ни одинъ провинціальный театръ не можетъ

сравнятся съ ихъ любительскимъ. Одинъ только профессоръ Ландраженъ счелъ нужнымъ съ глаза на глазъ сдѣлать дружескій репримандъ Кукольникову за то, что и самъ-то онъ, режиссеръ, и подначальные ему исполнители дозволили себѣ искажать великаго Мольера неумѣстными вводными фразами.

— Будьте снисходительны: мы еще не настолько въ курсѣ французскихъ *bonmots*!—со смѣхомъ отозвался вѣтреникъ-режиссеръ.—Въ русскихъ пьесахъ для краснаго словца мы вдвое противъ того вставляли, а зрители только хлопали, стало-быть одобряли.

— Ну, Богъ вамъ судья!—сказалъ добрякъ-французъ, махнувъ рукой.—Побѣдителей не судятъ. Закончите только такъ же успѣшно, какъ начали.

— О! конецъ всему дѣлу вѣнецъ. Самую капитальную русскую вещь — «Недоросля» мы нарочно приберегли для конца.

— А иностранныхъ уже не будетъ?

— Въ строгомъ смыслѣ слова иностранныхъ—нѣтъ, но въ видѣ преміи, *pour la bonne bouche*, для любителей будетъ дана еще одна полурусская—малороссійская.

— Но объ ней, кажется, до сихъ поръ и помину не было?

— Официально—не было, потому что авторы дѣлаютъ изъ нея секретъ даже для другихъ актеровъ.

— А! такъ авторы, значитъ, изъ своихъ? можетъ-быть вы сами, monsieur Nestor?

— Нѣтъ, я не желаю украшаться чужими перьями. Авторы... Но вы меня не выдадите, monsieur Landragin?

— Помилуйте! За кого вы меня принимаете? Одного-то я, пожалуй, и самъ угадаю: это— Яновскій?

— Вѣрно; а другой—его Санхо-Панса.

— Прокоповичъ? Такъ я и думалъ. Ну, что-жъ, посмотримъ, посмотримъ.

И вотъ насталъ четвертый и послѣдній театральный вечеръ. Зрительная зала была переполнена: все начальство со чады и домочадцы было на лицо, да и многихъ изъ почетныхъ горожанъ пришлось снабдить экстренными входными билетами, потому что всякому хотѣлось посмотрѣть фонвизинскую комедію въ исполненіи господъ студентовъ, которые уже два года назадъ, будучи гимназистами, играли ее весьма изрядно. Кромѣ того, въ публикѣ держался неопредѣленный, но упорный слухъ, будто въ заключеніе будетъ преподнесено нѣчто совсѣмъ новенькое, никѣмъ еще невиданное, неслыханное.

Послѣ увертюры «Фрейшица», сыгранной оркестромъ изъ 10-ти воспитанниковъ очень лихо или, какъ говорилось въ тѣ времена, «съ шикомъ», взвился занавѣсъ. При этомъ передніе зрители, благодаря тому, что актеры на сценѣ предстали передъ ними на полсекунды ранѣе, чѣмъ сидѣвшимъ въ заднихъ рядахъ, успѣли уловить

не относившійся еще къ дѣйствию жестъ Простаковой.

— Замѣтили: перекрестилась? — съ улыбкой вполголоса передавали они другъ другу: — труситъ бѣдняжка!

Но съ первыхъ же словъ Гоголя-Простаковой: «Кафтанъ весь испорченъ. Еремѣвна! введи сюда мошенника Тришку», вниманіе всей зрительной залы приковалось къ нему одному. Хотя въ двадцатыхъ годахъ XIX столѣтія просвѣщеніе у насъ замѣтно подвинулось уже впередъ противъ екатерининскихъ временъ, давшихъ Фонвизину такой богатый матеріалъ для его нравоописательной комедіи, однако Нѣжинъ съ окружающею его деревенскою глушью представлялъ тогда еще не мало отживавшихъ типовъ, между которыми быть-можетъ всѣхъ цѣльнѣе сохранился типъ Простаковой. Игра Гоголя дѣйствовала тѣмъ неотразимѣе, что онъ не пересаливалъ, а совершенно какъ-бы сжившись съ своею ролюю, тонко отбѣнялъ нѣжность матери къ баловню-сыну противъ неотесанной грубости ея въ отношеніи всѣхъ остальныхъ въ домѣ.

— Неужто это актеръ, а не актриса? — выражались кругомъ сомнѣнія. — Точно весь вѣкъ свой ходилъ въ юбкѣ!

— Да это же живой портретъ, — сообщала одна барыня на ушко своей сосѣдкѣ: — ни дать, ни взять Мавра Никифоровна!

— Ай нѣтъ, мать моя! — возражала сосѣдка. — Ужъ коли кто, такъ Юлія Кузминична.

Разногласіе объяснялось очень просто: актеръ нашъ сумѣлъ подмѣтить и воплотить въ изображаемомъ имъ типѣ характерныя черты и Мавры Никифоровны и Юліи Кузминичны. Понятно, что щедрыхъ рукоплесканій и вызововъ послѣ каждаго дѣйствія наибольшее число выпадало на его долю.

Но въ антрактѣ между вторымъ и третьимъ дѣйствіемъ разыгралась за кулисами маленькая интермедія, едва не прекратившая сразу всего спектакля.

Базили, которому была поручена неблагодарная роль резонера-Стародума, вызубрилъ ее самымъ добросовѣстнымъ образомъ. Тѣмъ не менѣе онъ былъ спокоенъ за себя и, въ ожиданіи своего выхода въ третьемъ дѣйствіи, въ теченіе двухъ первыхъ безъ конца повторялъ по тетрадкѣ свои длинные монологи, расхаживая взадъ и впередъ по уборной. За этимъ же засталъ его и режиссеръ русскихъ пьесъ, Гоголь, когда послѣ несчетныхъ вызововъ во второмъ антрактѣ, весь пылая отъ небывалаго успѣха, заглянулъ въ уборную, чтобы убѣдиться, тамъ ли его подчиненные, имѣвшіе выступить въ третьемъ дѣйствіи.

— Полно тебѣ гвозди въ башку вбивать—продырявишь!—сказалъ онъ, безъ околичностей вырывая тетрадку изъ рукъ Базили и швыряя ее въ уголь.

— И то никакъ уже продырявилъ...—упавшимъ голосомъ отвѣчалъ Базили:—въ головѣ какой-то туманъ и сумбуръ. Еслибы нашелся только желающій замѣстить меня...

— Во-время догадался! Главное, душенька, не трусь. А забыть что, такъ тоже не бѣда: спокойно пропусти или свое вклей; у тебя вѣдь своей учености, пожалуй, больше, чѣмъ у самого Стародума.

— И боюсь я, какъ бы бакены не отстали...— продолжалъ въ томъ-же минорномъ тонѣ Базили и, заглянувъ въ стоявшее на столѣ складное зеркало, сталъ ощупывать на щекахъ искусственные бакенбарды.

— Да ты не дергай—оторвешь. Ну, такъ, съ корнями вырваль! Экой ты, прости Господи, чудила-мученикъ! Лишилъ свою благородную щеку самого капитальнаго украшения. Садись-ка: я его тебѣ мигомъ опять приращу.

Опытный и по части гримировки, Гоголь живой рукой «прирастилъ» отставшій бакенбардъ къ прежнему мѣсту.

— А знаешь ли что, Базилиусъ, — замѣтилъ онъ тутъ:—какъ я этакъ хорошенько погляжу на тебя, ты все-таки еще не Стародумъ.

— Мало морщинъ?

— Не то, что морщинъ; а носъ у тебя непристойно приличенъ: надо придать ему хоть вишневою окраску.

— Ну, вотъ! Развѣ Стародумъ пьяница? У Фонвизина объ этомъ ничего не сказано.

— Забылъ сказать или просто не подумался. По-моему же, этотъ ходульный моралистъ обязательно долженъ заглядывать въ рюмочку, только не явно, а тайно. Въ этомъ, братъ, вся соль са-

тиры: человекъ выступаетъ идеаломъ добродѣтели, громогласно проповѣдуетъ прописную мораль, а самъ тихомолочкомъ клюкъ-клюкъ.

И, говоря такъ, Гоголь вооружился уже кисточкой, чтобы придать носу Стародума требуемую окраску. Но послѣдній воспротивился этому самымъ рѣшительнымъ образомъ и вскочилъ со стула.

— Я не дамъ себя безобразить!

— Хе-хе! понимаемъ-съ.

— Что ты понимаешь?

— Какъ же вдругъ передъ избранною публикой, особливо же передъ цѣлымъ букетомъ нѣжинскихъ красавицъ, безобразить свой безподобный античный носикъ, коему равнаго не было нѣтъ и не будетъ?

Базили вспыхнулъ.

— Все не потому, а потому что это было бы несогласно съ ролью Стародума.

— Напротивъ, какъ нельзя болѣе согласно, и посему, ваше благородіе, не извольте жеманиться.

— Ахъ, отвяжись!

— Не отвяжусь, милочка. Кто режиссеръ, скажи: ты или я? Я отвѣчаю за удачу спектакля и потому не выпущу тебя на сцену, покамѣстъ ты не будешь загримированъ какъ быть слѣдуетъ.

Горячаго молодого грека окончательно взорвало.

— Такъ я совѣмъ не стану играть!—вскричалъ онъ и сорвалъ съ головы сѣдой парикъ.

— Не станешь?! га!—въ тонъ ему заревѣлъ

Гоголь.—Такъ давай стрѣляться! Гдѣ pistols? Чортъ побери! гдѣ pistols?

Однимъ изъ актеровъ была пожертвована для пьесы Флоріана пара старыхъ pistols безъ курковъ. Со вчерашняго спектакля они лежали еще тутъ-же на столѣ.

— Вотъ они! На, бери, ну? Да, чуръ, не дрожать: не то я, чего добраго, промахнусь.

Воинственная поза Гоголя-Простаковой съ двумя pistols въ рукахъ и со сбитымъ на бекрень чепцомъ была до того комична, что всѣ присутствовавшіе при этомъ товарищи-актеры разразились дружнымъ хохотомъ, и самъ Базили уже не устоялъ, разсмѣялся.

А тутъ въ дверяхъ уборной показался инспекторъ Бѣлоусовъ.

— Да что жъ это наконецъ, господа? Вы здѣсь забавляетесь межъ собой, а публика жди.

Публика въ самомъ дѣлѣ начинала уже терпѣніе: изъ театральной залы донесся смѣшанный гулъ отъ рукоплесканій, топота ногъ и стука стульевъ.

— А парикъ-то свой, душа моя, ты все-таки напяль,—сказалъ Гоголь Базили.— И баки дай ужъ приклеить. Чего боишься? Классическаго нюхала твоего я уже не трону; такой антикъ, дѣйствительно, грѣхъ портить.

Послѣ этого «Недоросль» сошелъ «какъ по маслу», и вызовамъ не предвидѣлось конца. Тутъ Митрофанушка-Кукольникъ, подойдя къ рампѣ, попросилъ, «милостивыхъ государынь и государей»

не расходиться: «будетъ-де сейчасъ еще, внѣ программы, малороссійскій экспромтъ, авторы коего желаютъ сохранить инкогнито. Но такъ какъ они же, авторы, выступятъ въ экспромтѣ дѣйствующими лицами, то имѣющіе очи да видятъ, имѣющіе уши да слышатъ». Несмотря на общее утомленіе отъ долгаго пребыванія въ душномъ, жаркомъ залѣ, публика не безъ любопытства стала ожидать обѣщаннаго сверхпрограмнаго зрѣлища.





ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

Переиграль.

Нвотъ подь замирающіе звуки народнаго малороссійскаго мотива занавѣсь тихо-тихо поднимается. На авансценѣ—малороссійская хата, передь нею—скамейка. Очевидно, уже глубокая осень: на растущихъ по бокамъ хаты деревьяхъ—ни листочка. На заднемъ планѣ—заросшая камышомъ рѣка; но и камышъ весь пожелтѣлъ, засохъ.

Музыка въ оркестрѣ снова замираетъ, но на сценѣ точно также ни звука, ни живой души. Что-то будетъ?

Тутъ изъ-за угла хаты долетаетъ прерывистый старческій кашель, а затѣмъ появляется и сгорбленный старецъ. Баранья шапка, кожухъ, смазные сапоги да посохъ—весь уборъ «дида». Еле волоча ноги и постукивая при каждомъ шагѣ по

землѣ посохомъ, старичина съ великимъ трудомъ добирается до скамейки, кряхтя усаживается и начинаетъ вдругъ хихикать дребезжащимъ хриплымъ фальцетомъ.

Зрители недоумѣвая переглядываются, шопотомъ спрашиваютъ другъ друга:

— Что это съ нимъ?

А дидъ, знай, хихикаетъ, всѣмъ дряблымъ тѣломъ своимъ трясясь при этомъ, какъ ковыль отъ вѣтра, да проклятый кашель, вишь, еще одолеваетъ: закашлялся снова старецъ, а смѣяться тоже никакъ перестать не можетъ:

— Хи-хи-хи-хи... кррр-кррр-кррр...

И кашель-то душитъ, и смѣхъ изъ нутра претъ, да такъ заразительно, что не сводящія глазъ съ старичины сотни людей невольно также начинаютъ смѣяться; отъ одного конца зрителей залы до другого слышно проносится:

— Хи-хи-хи! хе-хе-хе! ха-ха-ха!

Дидъ же того пуше, да вдругъ... Ахъ ты, старый хрычъ! Никакъ рыгаетъ? Хихикаетъ, кашляетъ и рыгаетъ; еще и еще...

Вся зала кругомъ отъ неудержимаго хохота, какъ одинъ человѣкъ, загрохотала. Но одна изъ зрительницъ, возмущенная, быстро поднимается съ мѣста и направляется къ выходу; за нею другая и третья...

— Занавѣсъ! — раздается изъ первыхъ рядовъ голосъ инспектора.

Но и сторожъ, приставленный къ занавѣсу, видно, такой же человѣкъ, какъ прочіе: отъ смѣха

*

у него руки не слушаются, не могут справиться съ занавѣсомъ.

А дидъ на сценѣ что же? Покряхтывая и подпираясь посохомъ, онъ не спѣша встаетъ съ своей скамейки и съ тѣмъ-же хихиканьемъ и кашлемъ скрывается за угломъ хаты въ тотъ самый моментъ, когда занавѣсъ наконецъ съ обрывистымъ шелестомъ падаетъ.

Наскоро ублаживъ городскихъ гостей—не быть черезчуръ строгими къ ученической игрѣ, Бѣлоусовъ кинулся за кулисы въ уборную.

— Помилуйте, Яновскій! Бога въ васъ нѣтъ! Благовоспитанному молодому человѣку развѣ можно вести себя такъ?

— Да какой же это благовоспитанный и молодой человѣкъ, Николай Григорьевичъ?—съ самую простодушную миной оправдывался Гоголь.—Это древній убогій старецъ, питающійся капустой да лукомъ; у него всѣ пружины разслабли и отрыжка—вторая натура.

— Какъ бы вамъ самимъ не отрыгнулось!—оборвалъ Бѣлоусовъ безполезныя объясненія съ отпѣтымъ шутникомъ и въ сердцахъ хлопнулъ дверью.

Въ письмахъ своихъ къ матери, перечисляя весь разыгранный на масленицѣ 1827 года репертуаръ, Гоголь благоразумно умолчалъ однако о своей малороссійской пьесѣ, недоигранной по его собственной же винѣ; зато тѣмъ восторженнѣе повѣствовалъ онъ о томъ, какъ «всю недѣлю веселились безъ устали»:

«Играли превосходно всѣ... Декорации (4 перемѣны) сдѣланы были мастерски и даже великолѣпно. Прекрасный ландшафтъ на занавѣсѣ завершалъ прелесть. Освѣщеніе залы было блистательное. Музыка также отличалась... Восемнадцать увертюръ Россини, Вебера и другихъ были разыграны превосходно... Короче сказать, я не помню для себя никогда такого праздника, какой провелъ теперь... И еще не насытились: къ Свѣтлому Празднику заготовляемъ еще нѣсколько пьесъ.»

Увы! этому плану не суждено было осуществиться.

За нѣсколько лишь дней до Свѣтлаго Праздника, когда всѣ роли для новыхъ представлений были уже разучены, Бѣлоусовъ вошелъ къ молодымъ актерамъ, которые въ библиотечной комнатѣ только-что репетировали свои пьесы, и съ необычно-хмурымъ видомъ объявилъ имъ:

— Можете и не трудиться, господа: спектакль вашъ отмѣняется.

Тѣхъ какъ громомъ поразило.

— Отмѣняется?! Богъ Ты мой! Что же такое случилось?

— Новаго ничего не случилось, но старыхъ грѣховъ накопилось на васъ столько, что они переполнили чашу.

— Какихъ же грѣховъ, Николай Григорьевичъ?

— Они обстоятельно изложены въ нѣкоемъ

коллективномъ рапортѣ, поступившемъ въ конференцію.

— А! такъ на насъ опять донесли? Но кто, скажите? Михайла Васильевичъ?

— Имена тутъ не при чемъ. Ни одинъ изъ пунктовъ рапорта не вызвалъ въ конференціи существеннаго разногласія.

— Но вѣдь этакъ можно на всякаго взвести какія угодно небылицы!

— Въ рапортѣ, о которомъ идетъ рѣчь, къ сожалѣнію, нѣтъ небылицъ, а все горькая правда. Перечислить вамъ отдѣльные пункты?

— Сдѣлайте милость: надо же знать осужденнымъ, за чтò ихъ казнятъ!

— Пунктъ первый: въ классахъ во время лекцій господы студенты заняты заучиваніемъ театральныхъ ролей.

— Да нельзя же намъ, Николай Григорьевичъ, не заучивать ролей?—возразилъ Кукольникъ.—Monsieur Landragin и то укорялъ насъ, что мы искажаемъ Мольера.

— Значить, первый пунктъ обвиненія вами не отвергается. Второй пунктъ: вы читаете недозволенные книги. Возражайте мнѣ, господы, пожалуйста, только тогда, когда на васъ взводится напраслина.

Николай Григорьевичъ сдѣлалъ небольшую паузу въ ожиданіи, не будетъ ли возраженія. Такъ какъ такового не послѣдовало, то онъ продолжалъ:

— Третій пунктъ: въ городѣ вы проигрываете немалыя суммы въ карты и на билиардѣ...

Взоръ инспектора невольно скользнулъ при этомъ на искуснѣйшаго билиарднаго игрока—Кукольника. Тотъ покраснѣлъ и нашелъ нужнымъ защититься:

— Мы, Николай Григорьевичъ, кажется, не дѣти; заглядывать въ наши карманы начальству какъ-то странно...

— Цифру вашего проигрыша начальству, дѣйствительно, не такъ важно знать, а очень важно ему, напротивъ, чтобы вы предосудительнымъ поведеніемъ не роняли репутаціи цѣлаго заведенія. Пунктъ четвертый: въ свободные часы нѣкоторые изъ васъ, вмѣсто какого-либо благороднаго развлечения, пускаютъ ракеты въ саду и даже въ музеяхъ, вывѣшиваются изъ оконъ и громко свистутъ, дѣлаютъ вслухъ неумѣстныя замѣчанія на счетъ проходящихъ мимо дамъ и офицеровъ... Вы молчите? Значитъ и это не пустая выдумка? Надо ли мнѣ еще пересчитывать вамъ остальные пункты?

— Да вѣдь все это, Николай Григорьевичъ, въ сущности такіе мелкіе грѣшки,—замѣтилъ Божко,—что за каждый въ отдѣльности довольно было бы лишить третьяго блюда.

— Въ отдѣльности, да, но не въ совокупности: совокупность всѣхъ вашихъ мелкихъ прегрѣшеній, какъ видите, вызвала одну общую, довольно суровую кару. Засимъ, господа, отъ васъ самихъ только зависитъ возстановить вашу репутацію, и

тогда я болѣе или менѣе отвѣчаю вамъ за отмѣну этой мѣры въ будущемъ. До поры же до времени вамъ слѣдуетъ непрекословно ей покориться.

И молодые грѣшники покорились.





ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.

Нашествіе готовъ.

Назначеннаго вмѣсто Орлая, новаго директора—Ясновскаго ожидали въ Нѣжинѣ со дня на день еще на сырной недѣлѣ; но сдача прежней службы (по дворянскимъ выборамъ) и семейныя дѣла задержали его пріѣздъ. Прошелъ Великій постъ, прошла и Свѣтлая недѣля, а гимназія оставалась попрежнему безъ начальника. Профессоръ Шаполинскій, временно исполнявшій обязанности директора, и ранѣе не находилъ нужнымъ вмѣшиваться въ распоряженія инспектора Бѣлоусова, какъ ближайшаго замѣстителя директора; а теперь Казимиръ Варѣоломеевичъ, жившій всегда анахоретомъ исключительно для своей науки, на 37-мъ году жизни рѣшился вдругъ сдѣлаться семьяниномъ. Совершенно понятно, что на первыхъ порахъ послѣ свадьбы свой

собственный домъ былъ для него куда ближе казеннаго съ сотнями чужихъ и довольно распущенныхъ дѣтей. Такимъ образомъ всю тяжесть управления этою громадною семьей долженъ былъ нести на своихъ плечахъ постоянный помощникъ неприбывшаго еще главы дома—инспекторъ Бѣлоусовъ. Всего болѣе озабочивали его студенты-литераторы и театралы, которые, того и гляди, могли выкинуть опять какое-нибудь непредвидимое колѣнцо. Но тутъ на выручку Николаю Григорьевичу явился профессоръ нѣмецкой словесности—Зингеръ, сумѣвшій пробудить опять въ молодежи охоту къ литературнымъ занятіямъ.

Нѣжинской гимназіи въ отношеніи преподавателей новыхъ иностранныхъ языковъ вообще посчастливилось, благодаря незабвенному директору ея Орлаю: какъ завзятый филологъ, придавая особенное значеніе чтенію иностранныхъ авторовъ въ оригиналъ, онъ успѣлъ завербовать для своего заведенія такихъ двухъ образцовыхъ словесниковъ, глубоко преданныхъ своему дѣлу, какъ французъ Жанъ-Жакъ (по-нѣжинскому Иванъ Яковлевичъ) Ландраженъ и нѣмецъ Фридрихъ-Іосифъ Зингеръ (перекрещенный нѣжинцами точно также въ Федора Осиповича).

«Зингеръ открылъ намъ новый, живоносный родникъ поэзіи,» говоритъ въ своихъ воспоминаніяхъ Кукольникъ. «Любовь къ челоуѣчеству, составляющая поэтическій элементъ твореній Шиллера, по свойству своему прилипчивая, быстро

привилась и къ намъ и много способствовала развитію характера многихъ. До Зингера на нѣмецкихъ лекціяхъ обыкновенно отдыхали сномъ послѣобѣденнымъ. Онъ умѣлъ разогнать эту сонливость увлекательнымъ преподаваніемъ, и не прошло и года—у новаго профессора были ученики, переводившіе «Донъ-Карлоса» и другія драмы Шиллера; а вслѣдъ затѣмъ и Гёте, и Кернеръ, и Виландъ, и Клопштокъ, и всѣ, какъ называли, классики германской литературы, не исключая даже своеобразнаго Жанъ-Поль-Рихтера, въ теченіе четырехъ лѣтъ были любимымъ предметомъ изученія многихъ учениковъ Зингера».

Къ числу этихъ многихъ до 1827 года Гоголь во всякомъ случаѣ не принадлежалъ. Едва ли не имъ же временное увлеченіе товарищей нѣмецкою литературой было названо «нашествіемъ готовъ». Но однажды какъ-то онъ подготовилъ заданный Зингеромъ урокъ лучше обыкновеннаго и заслужилъ двойку съ крестомъ, а послѣ класса Ѳедоръ Осиповичъ совершенно неожиданно взялъ его подъ руку и пошелъ разгуливать съ нимъ по коридору.

— Я имѣю кой о чемъ побесѣдовать съ вами, другъ мой,—объяснилъ профессоръ смѣшаннымъ нѣмецко-русскимъ языкомъ, къ которому прибѣгалъ по необходимости съ воспитанниками, не говорившими по-нѣмецки.—Я желаю вамъ одного добра, какъ старшій братъ младшему, вѣрите вы мнѣ?

На такой вопросъ Гоголь невольно покосился

на шедшаго съ нимъ объ руку «старшаго брата». Самъ Гоголь былъ роста ниже средняго; Зингеръ же, несмотря на высокіе каблуки и взбитый хохолокъ, приходился ему чуть не по плечо. Но малый ростъ выкупался у него гордою осанкой и выразительными чертами лица.

«Какъ есть сказочный гномъ, вылѣзшій изъ своей подземной норы благодѣтельствовать простымъ смертнымъ,» мелькнуло въ головѣ Гоголя.

— Ну, отъ старшихъ братьевъ у младшихъ иной разъ и затылокъ чешется, — промолвилъ онъ вслухъ. — Но что вы, Ѳедоръ Осиповичъ, не изъ такихъ старшихъ братьевъ, доказываетъ крестикъ, который вы прибавили мнѣ нынче къ двоицѣ и который мнѣ дороже, чѣмъ иному чиновнику Святополкъ въ петличкѣ.

— Какъ бы только онъ не сталъ вамъ могильнымъ крестомъ! — съ удареніемъ проговорилъ Зингеръ, задѣтый, видно, за живое неумѣстнымъ острословіемъ школяра. — Вы, Яновскій, не обижены природой, въ чемъ я недавно и съ горестью и съ радостью убѣдился на вашемъ театральномъ дебютѣ. Съ горестью — ибо природныя дары свои вы приложили доселѣ лишь къ самому сомнительному искусству — сценическому...

— А Шекспиръ? онъ тоже вѣдь былъ актеромъ... — сталъ было возражать Гоголь.

Маленькій профессоръ внушительно до боли сжалъ ему локтемъ руку.

— Извольте сперва дослушать! Съ радостью — ибо вашъ замѣчательный успѣхъ на этомъ небла-

годарнѣйшемъ поприщѣ позволяетъ надѣяться, что зарытые вами въ землю таланты по другимъ отраслямъ пустятъ тоже ростки и увидятъ свѣтъ Божій. Вы, я слышалъ, пописываете; стало-быть любите литературу. Ужели, скажите, у васъ нѣтъ ни малѣйшей охоты ближе познакомиться съ первыми корифеями нѣмецкой литературы: Шиллеромъ и Гёте?

— Охота смертная, да участь горькая. Въ переводѣ я съ ними хотя немножко и знакомъ, но въ оригиналѣ эти господа для меня—книга о семи печатяхъ, и мнѣ, признаться, какъ-то не вѣрится, что они могли писать такъ хорошо сразу по-нѣмецки; вѣрно, они писали сперва по-русски или хоть по-французски, а тамъ уже переводили на нѣмецкій языкъ.

Для коренного нѣмца Зингера своеобразный юморъ Гоголя былъ недоступенъ. Онъ улыбнулся, правда, но только надъ наивностью молодого малоросса, слова котораго принялъ буквально за чистую монету.

— Самое легкое трудно, другъ мой, пока на него не рѣшишься, — поучительно замѣтилъ онъ. — А что языкъ нашъ — языкъ Шиллера и Гёте — вовсе не такъ труденъ, вы видите на Халчинскомъ: давно ли, кажется, онъ ни слова не зналъ по-нѣмецки? а теперь вотъ вмѣстѣ съ Кукольниковъ и другими перевелъ всю Шиллерову «Исторію тридцатилѣтней войны». Поступите точно такъ-же, какъ Халчинскій: возьмите лексиконъ, подыскивайте вначалѣ хоть каждое слово;

на сотой страницѣ добрая половина словъ вамъ будетъ уже понятна, а изъ остальныхъ почти всѣ вамъ дадутся уже по общему смыслу. Такъ вы совершенно незамѣтно втянетесь въ незнакомый вамъ языкъ, и передъ вами откроется новый и, повѣрьте мнѣ, чудный міръ! Само собою разумѣется, что начинать вамъ прямо съ Шиллера, а тѣмъ болѣе съ Гёте нельзя; начните хоть съ идилліи Фосса, которыя вамъ придутся уже потому по душѣ, что сами вы вѣдь, какъ я знаю, провели все дѣтство свое въ деревенской идилліи.

Такъ убѣждалъ карликъ-профессоръ, и хотя фигура его была ни мало не внушительна, хотя нѣмецкая рѣчь его ради большей понятности пересыпалась русскими словами, которыя произносились съ невозможнымъ акцентомъ, но насмѣшнику-студенту было не до смѣха: очень ужъ искренне говорилъ Ѳедоръ Осиповичъ, и слова его какъ-то сами собой проникали въ сердце.

— Но въ нашей казенной библиотекѣ здѣсь, кажется, есть какая-то «Луиза» Фосса въ русскомъ переводѣ...—сказалъ Гоголь.

— И очень хорошо. А я дамъ вамъ свой экземпляръ — даже въ деревню на каникулы: сперва прочтете стихъ по-русски, потомъ по-нѣмецки...

— Благодарю васъ, Ѳедоръ Осиповичъ... Если уже приниматься за нѣмецкихъ авторовъ, такъ я все-таки предпочелъ бы Шиллера, который мнѣ и безъ того уже нѣсколько знакомъ по переводамъ Жуковского. У меня вотъ страсть къ миниатюрнымъ изданіямъ. «Математическую Энци-

клопедію» Перевошикова, которая издана въ прелестнѣйшей миниатюрѣ—въ $\frac{1}{16}$ долю листа, я нарочно напр. выписалъ себѣ изъ Москвы, хотя къ самой математикѣ, правду сказать, не питаю ни малѣйшей слабости. Такъ я можетъ-быть выписалъ бы и Шиллера, еслибы онъ нашелся въ такомъ форматѣ...

— Найдется!—съ живостью подхватилъ Зингеръ, видимо очень счастливый, что уломалъ-таки строптивца:—если и не въ Москвѣ, такъ навѣрное въ Лембергѣ, моемъ родномъ городѣ. Угодно вамъ. я напишу туда, чтобы выслали для васъ?

— Но мнѣ совѣстно беспокоить васъ, добрѣйшій Ѳедоръ Осиповичъ...

— Что за беспокойство! Я радъ, я очень, очень радъ. Черезъ меня вамъ обойдется даже дешевле, потому что мнѣ мой поставщикъ-книгопродавецъ дѣлаетъ извѣстную уступку. Такъ я, значить, выписываю одинъ миниатюрный экземпляръ?

Могъ ли Гоголь отказаться отъ такого любезнаго предложенія?

— О чемъ это у васъ были съ нимъ такія нѣжныя объясненія?—полюбопытствовалъ Прокоповичъ, когда пріятель его раскланялся наконецъ съ благодѣтельнымъ гномомъ.—Нашествіе готовъ?

— Въ томъ родѣ... — уклонился отъ прямого отвѣта Гоголь, которому словно было совѣстно признаться, что и его одолѣли «готы».

Но что вліяніе ихъ прошло для него не безслѣдно, видно изъ слѣдующихъ строкъ его къ матери:

«Мой планъ жизни теперь удивительно строгъ и точенъ во всѣхъ отношеніяхъ. Каждая копейка теперь имѣетъ у меня мѣсто; я отказываю себѣ даже въ самыхъ крайнихъ нуждахъ, съ тѣмъ, чтобы имѣть хотя малѣйшую возможность поддержать себя въ такомъ состояніи, въ какомъ нахожусь, чтобы имѣть возможность удовлетворить моей жаднѣ видѣть и чувствовать прекрасное. Для него-то я съ трудомъ величайшимъ собираю все годовое свое жалованье, откладываю малую часть на нужнѣйшія издержки. За Шиллера, котораго я выписалъ изъ Лемберга, далъ я 40 рублей: деньги весьма немаловажныя по моему состоянію; но я награжденъ съ излишкомъ и теперь нѣсколько часовъ въ день провожу съ величайшею пріятностью... Иногда читаю объявленіе о выходѣ въ свѣтъ творенія прекраснаго; сильно бьется сердце—и съ тяжкимъ вздохомъ роняю изъ рукъ газетный листокъ объявленія, вспомя невозможность имѣть его. Мечтаніе—достать его смущаетъ сонъ мой и въ это время полученію денегъ я радуюсь болѣе самаго жаркаго корыстолюбца.»

А вскорѣ затѣмъ у нашего молодого мечтателя была готова цѣлая трагедія «Разбойники» въ пятистопныхъ ямбахъ, навѣянная, безъ сомнѣнія, трагедіей Шиллера того-же названія.





ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ.

Нашествіе гунновъ.

Лекціи профессора Билевича по русскому праву распались на два отдѣла: практическій и теоретическій. До тонкости изучивъ самъ такъ-называемые «судейскіе крючки», Михайла Васильевичъ не безъ воодушевленія наставлялъ воспитанниковъ, какъ примѣнять на практикѣ тѣ или другіе законы, смотря по тому, кто долженъ былъ выиграть дѣло: истецъ или отвѣтчикъ. Сперва такое «процессуальное словопреніе» забавляло студентовъ. Но когда на Святой недѣлѣ спектакль ихъ былъ внезапно отмѣненъ, и изъ намековъ самого Билевича можно было заключить, что онъ же главнымъ образомъ настоялъ на томъ,—нелюбовь свою къ человѣку они перенесли и на его предметъ или, точнѣе сказать, на его способъ преподаванія.

— А крючоктворство это, Михайла Васильевичъ, въ самомъ дѣлѣ, прехитрая штука,—обратился къ нему какъ-то на лекціи Гоголь:—законы, значить, больше пишутся для того, чтобы ихъ обходить?

— Не обходить, а примѣнять!—рѣзко оборвалъ его Михайла Васильевичъ.—Законъ, по вашей же русской пословицѣ, паутина: муха завязнетъ, а шмель проскочить.

— А вы готовите изъ насъ шмелей, чтобы прорывать эту паутину?

Профессоръ-русинъ вспыхнулъ.

— Вы, Яновскій, нарочно, кажется, искажаете мои слова! Старую пословицу я привелъ только какъ примѣръ житейской мудрости вашего русскаго простолюдина. Съ нашей же европейской точки зрѣнія законъ—фонарь. поставленный надъ ямой, чтобы проходящіе въ нее не падали; но этихъ фонарей у васъ на Руси со временъ петровскихъ не одинъ, не два, а сотни сотенъ; иные фонари давно разбились и погасли, другіе еле мерцаютъ въ ночномъ мракѣ, подобно блудящимъ огнямъ, и сбиваютъ только съ пути добрыхъ людей своимъ обманчивымъ свѣтомъ. Такъ вотъ—съ, опытный, благонамѣренный юристъ выбираетъ тѣ именно законы, которые каждому данному казусу по совѣсти и справедливости наиболѣе приличествуютъ. Казуистика—обоюдоострый ножъ, правда; но можно ли человѣку въ обыденной жизни обойтись безъ ножа?

Такъ Билевичъ отстоялъ необходимость су-

дебной казуистики. Но съ этого времени онъ самъ къ ней какъ-будто нѣсколько охладѣлъ и посвящалъ уже свои лекціи преимущественно теоріи права. Преподавалъ онъ ее по печатному руководству, причемъ для своего облегченія прочитывалъ просто по книжкѣ вслухъ весь слѣдующій урокъ, а затѣмъ задавалъ студентамъ приготовить «отселѣ доселѣ». Обыкновенно онъ бралъ для этого книгу у «примаса» — Божко. Но разъ сидѣвшій съ края на второй скамьѣ Григоровъ предупредительно подскочилъ къ профессору и подаль свою книгу. Тотъ раскрылъ ее гдѣ слѣдуетъ и сталъ читать. Но что бы это значило? Закончивалась страница словами: «то тѣхъ судей», а на оборотѣ стояло: «сдавать въ архивъ».

— Тутъ какая-то опечатка... — пробормоталъ Михайла Васильевичъ и заглянулъ въ конецъ книги, гдѣ имѣлся списокъ опечатокъ, но гдѣ этой опечатки не нашлось. — Гмъ... Это, господа, изволите ли видѣть, метафора: «тѣхъ судей» значитъ иносказательно: «тѣ дѣла сдавать въ архивъ».

Григоровъ не выдержалъ и фыркнулъ. Профессоръ окинулъ его негодующимъ взоромъ и счелъ нужнымъ отнестись болѣе внимательно къ поданной ему извѣстнымъ школяромъ книгѣ. Тутъ пальцы его явственно ощупали, что листокъ съ метафорой вдвое толще другихъ. Въ нумераціи страницъ оказался ключъ къ разгадкѣ: два листка были искусно склеены гумми-арабикомъ.

— Горбатаго только могила исправить, — проговорилъ Билевичъ и выставилъ проказнику въ

журналъ два толстыхъ «кола»: одинъ за поведеніе, другой за успѣхи.

Самъ по себѣ этотъ частный случай не долженъ былъ-бы имѣть серіозное значеніе для прочихъ студентовъ; но въ сухое и жаркое лѣто отъ одной искры сгораетъ цѣлая деревня. Недружелюбныя отношенія Михайлы Васильевича какъ къ студентамъ, такъ и къ тѣмъ профессорамъ, которые имъ «потворствовали», обозначились еще рѣзче. Часто можно было видѣть его теперь тайно совѣщающимся съ сослуживцами «своей партіи».

Такъ прошла весна, прогремѣлъ первый громъ... И надъ нѣжинскою гимназіей, какъ ровно за годъ назадъ, передъ уходомъ Орлая, нависла грозовая туча. Начавшіеся экзамены шли какъ-то нестройно и вяло. То была тишина передъ бурей; какъ экзаменаторамъ, такъ и экзаменующимся дышалось тяжело въ насыщенной электричествомъ атмосферѣ.

И громъ грянулъ: войдя однажды послѣ утренняго чая въ свой музей, молодежь нашла все свое имущество въ шкапикахъ и рабочихъ столахъ перерытымъ, а при ближайшей проверкѣ не досчиталась разныхъ тетрадей, въ томъ числѣ и своихъ литературныхъ упражненій. Можно себѣ представить, какъ въ особенности литераторы приняли близко къ сердцу свою пропажу! Первымъ дѣломъ былъ опрошенъ дежурный сторожъ. Вначалѣ онъ отъ всего отнѣкивался: «знать не знаю, вѣдать не вѣдаю», но когда его приперли къ стѣнѣ, пригрозили ему «безпардонною встрепкой», онъ

нехотя выдалъ, что ночью-де произведена была начальствомъ ревизія музея.

— И неужто Казимиръ Вареоломеевичъ былъ тоже при этомъ?

— Нѣтъ-съ, они сказались больными.

— А Николай Григорьевичъ?

— Имъ, кажись, о томъ даже ничего не докладывали.

— Да вѣдь онъ же инспекторъ?

— Инспекторъ-то инспекторъ...

— Такъ кто же всѣмъ орудовалъ? Билевичъ?

— Точно такъ: Михайла Васильевичъ приказывали, а господа надзиратели выбирали, что нужно, изъ шкапиковъ да столовъ. Только Бога ради, ваши благородія, не выдайте меня грѣшнаго!

— До тебя ли намъ!—крикнулъ Кукольникъ и, ероша волоса, ломая руки, забѣгалъ по комнатѣ.—Господи! Господи! Да что же это такое?

Изъ глазъ его брызнули слезы, и, чтобы скрыть ихъ, онъ быстро отошелъ къ окошку.

— Экій ты нюня, Несторъ! — услышалъ онъ за собою тихій голосъ Гоголя. — Просмотрятъ и возвратятъ.

— А коли нѣтъ?

— Такъ на память опять все возстановишь.

— Легко сказать: написать на память четыре большія драмы!

— Какъ четыре?

— Да двѣ оригинальныя: «Торквато Тассо» и «Марій въ Минтурнахъ», и двѣ перевод-

ныя изъ Шиллера: «Донъ-Карлосъ» и «Дмитрій Самозванецъ».

— Напишешь! Память вѣдь у тебя чертовская. У меня тоже отобрали моихъ «Разбойниковъ», а я, какъ видишь, и въ усъ не дую.

— И я тоже, хотя у меня отобрали мой сборникъ,—подхватилъ тутъ Риттеръ, подслушавшій нашихъ двухъ драматурговъ.

— А, Дюсенки Хопчики!—сказаль Гоголь.— Ну, братъ Несторъ, намъ ли съ тобою послѣ этого горевать? Безъ цвѣтовъ нашей музы родная нива еще какъ-нибудь обойдется, но безъ «Парнаскаго Навоза» совсѣмъ заглохнетъ. А вотъ и Николай Григорьевичъ!—заклучилъ Гоголь при видѣ входящаго въ музей инспектора.—Вы слышали вѣдь, Николай Григорьевичъ, про ночную ревизию?

— Слышалъ, господа, слышалъ, — отвѣчалъ Бѣлоусовъ, но съ такимъ мрачнымъ видомъ, что не могло быть сомнѣнiя въ его полномъ несочувствiи ревизii.—Вы, милые мои, не придавайте этому дѣлу слишкомъ большаго значенiя: васъ оно почти не касается.

— Какъ не касается!—воскликнулъ Кукольникъ.—У насъ забрали все, что мы до сихъ поръ сочиняли...

— Но вѣдь оно вполнѣ цензурно?

— Кажется, что такъ.

— Такъ о чемъ же вамъ беспокоиться?

— Что я говорилъ, Несторъ?—подхватилъ Гоголь.—Просмотрятъ и возвратятъ.

— Ну, это — другой вопросъ, — сказалъ инспекторъ. — Какъ еще разсудятъ въ Петербургѣ...

— Въ Петербургѣ? Такъ это сдѣлано было по приказу изъ Петербурга?

— Эхъ, господа! Вотъ вы и выпытали у меня то, о чемъ я долженъ былъ бы умолчать. Писанія-то ваши, очень можетъ быть, вы получите обратно; а не получите, такъ тоже не бѣда: напишите что-нибудь вдвое лучше.

— Но изъ-за чего же тогда было огородъ городить? для чего вся ревизія?

— Для чего? А у васъ, скажите, кромѣ вашихъ собственныхъ писаній, все въ цѣлости?

— У меня пропали ваши записки по естественному праву, — заявилъ одинъ изъ студентовъ.

— И у меня тоже! И у меня! — раздалось тутъ съ разныхъ сторонъ.

Бѣлоусовъ горько улыбнулся.

— Вотъ видите ли: моя новѣйшая философія права интересуется кого-то не менѣе вашихъ литературныхъ опытовъ.

— Но вѣдь это какое-то нашествіе гунновъ!

— Какъ вы неосторожно выражаетесь, друзья мои! У меня теперь къ вамъ одна просьба: ради васъ самихъ, да и ради меня, не поднимайте, пожалуйста, никакой исторіи, никому даже изъ вашихъ домашнихъ не говорите ни о чемъ. Обѣщаетесь?

И нравственное вліяніе любимаго профессора на студентовъ было такъ велико, что они дали ему требуемое обѣщаніе — и сдержали его.



ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

Куколка начинаетъ превращаться въ мотылька.

Ты знаешь всѣхъ нашихъ существователей, всѣхъ населившихъ Нѣжинъ. Они задавили корою своей земности, ничтожнаго самодовольствія высокое назначеніе чело-вѣка. И между этими существователями я долженъ пресмыкаться... Никогда еще экзаменъ для меня не былъ такъ несносенъ, какъ теперь. Я совершенно весь истомленъ, чуть движусь. Не знаю, что со мною будетъ далѣе. Только я надѣюсь, что поѣздкою домой немного обновлю свои силы...»

Такъ жаловался Гоголь своему петербургскому другу Высоцкому въ длиннѣйшемъ письмѣ, начатомъ еще въ Нѣжинѣ 26 іюня 1827 года.

Вторая половина письма, которая, судя по другимъ черниламъ и по другому, болѣе небрежному почерку, была написана позднѣе и при другихъ

обстоятельствахъ, звучала совершенно иначе, тамъ съ удовольствіемъ рассказывалось объ ожидаемомъ обилии фруктовъ: «деревья гнутся, ломаются отъ тяжести; не знаемъ, дѣвать куда»; а въ заключеніе, совершенно уже неожиданно, конечно, для «единственного друга, Герасима Ивановича», давалось ему такое порученіе:

«Нельзя ли заказать у васъ въ Петербургѣ портному самому лучшему фракъ для меня? Мѣрку можетъ снять съ тебя, потому что мы одинакаго росту и плотности съ тобой. А ежели ты разжирѣлъ, то можешь сказать, чтобы немного ўже. Но объ этомъ послѣ, а теперь—главное—узнай, что стоитъ пошитье самое отличное фрака по послѣдней модѣ, и цѣну выставь въ письмѣ, чтобы я могъ знать, сколько нужно послать тебѣ денегъ. А сукно-то, я думаю, здѣсь купить, оттого, что ты говоришь—въ Петербургѣ дорого... Напиши, пожалуйста, какія модныя матеріи у васъ на жилеты, на панталоны, выставь ихъ цѣны и цѣну за пошитье. Какой-то у васъ модный цвѣтъ на фраки? Мнѣ очень бы хотѣлось сдѣлать себѣ синій съ металлическими пуговицами *); а черныхъ фраковъ у меня много, и они мнѣ такъ надоѣли, что смотрѣть на нихъ не хочется. Съ нетерпѣніемъ жду отъ тебя отвѣта, милый, единственный, безцѣнный другъ.

*) «Этотъ вкусъ сохранился у Гоголя до конца жизни», замѣчаетъ его біографъ (П. Кулишъ): «между платьемъ его послѣ смерти остались синій фракъ съ металлическими пуговицами и нѣсколько синихъ жилетовъ».

«Письмо мое началъ укоризнами унынія и при концѣ развеселился. Тебѣ хочется знать причину? Вотъ она: я началъ его въ Нѣжинѣ, а кончаю дома, въ своемъ владѣніи, гдѣ окруженъ почти съ утра до вечера веселіемъ...»

Въ чемъ же заключалось это веселье? Да въ томъ, что оба молодые дяди Гоголя, Косяровскіе, гостили по-прошлогоднему въ Васильевкѣ, оживляли все и вся, и такъ какъ племяннику-студенту минуло уже 18 лѣтъ, то даже дядя Петръ Петровичъ обходился съ нимъ почти за панибрата; а когда оба дяди, какъ люди военные, изрядные-таки щеголи, собирались куда-нибудь въ гости къ сосѣдямъ, то безъ отговорокъ заставляли племянника надѣвать свой лучшій фракъ или парадный мундиръ и ѣхать вмѣстѣ съ ними. Такъ-то подъ вліяніемъ двухъ мотыльковъ наша куколка начала раскукливаться изъ своего невзрачнаго мохнатаго кокона, и, чтобы сдѣлаться также наряднымъ мотылькомъ, ей недоставало только петербургскаго «синяго фрака съ металлическими пуговицами».

Но еще до этого ей суждено было самостоятельно дебютировать въ качествѣ мотылька. Въ началѣ августа Марьѣ Ивановнѣ вспомнилось вдругъ, что завтра—день ангела одного сосѣда-помѣщика, стариннаго пріятеля ея покойнаго отца. Между тѣмъ оба двоюродные брата ея укатили на нѣкоторое время въ Полтаву, и отрядить съ поздравленіемъ къ имениннику не оставалось никого другого, какъ Никошу.

— Да я не былъ въ домѣ Ивана Ѳедоровича съ самаго дѣтства!—попытался тотъ отлынуть.

— Но Иванъ-то Ѳедоровичъ, несмотря на свои 70 лѣтъ, былъ у меня здѣсь съ визитомъ при тебѣ еще прошлымъ лѣтомъ, — убѣждала Марья Ивановна. — И надо же тебѣ, наконецъ, милый мой, выѣзжать одному, до Петербурга межъ людьми потереться, набраться лоску? Я очень рада, что ты теперь хоть немножко начинаешь франтить. Новый фракъ у тебя, правда, вышелъ мѣшковатъ, но онъ все-таки тебѣ къ лицу.

— Вы, маменька, только утѣшить меня хотите! Въ Нѣжинѣ у насъ, право, не портные платьѣ шьютъ, а какіе-то сапожники! Нѣтъ, коли ужъ ѣхать, такъ въ казенной формѣ: все уютнѣе...

И на другое утро, прямо съ постели, онъ облекся въ свой студенческій мундиръ. Напоивъ сына чаемъ, Марья Ивановна проводила его на крыльцо, наказывая сдѣлать въ платкѣ двойной узелъ, чтобы никакъ не забыть поздравить именинника.

— Да у меня же, маменька, нѣтъ насморка, такъ и платка, пожалуй, не выну. Эй, Ничипоре! завяжи-ка хвосты конямъ двойнымъ узломъ...

— Не слушай его, Ничипоре, не слушай!—поспѣшила отмѣнить его распоряженіе мать. — Нѣтъ, голубчикъ, право же, ради Бога, не забудь! И потомъ, смѣтри, подойди непременно къ ручкѣ ко всѣмъ замужнимъ дамамъ: сперва которыя постарше, а потомъ помоложе.

— Я, маменька, не шаркунъ...

— Не шаркунъ еще, а модникъ; отъ модника же до шаркуна одинъ шагъ.

— Но въ Петербургѣ, говорилъ дяденька Петръ Петровичъ, молодымъ дамамъ уже не цѣлуютъ рукъ...

— Ну, ну, пожалуйста; что-за вольнодумство! Меня же за невѣжу-сына всѣ здѣсь попрекать станутъ. Не надѣлай мнѣ этакого сраму!

И вотъ онъ единственнымъ представителемъ Гоголей-Яновскихъ, развалясь въ родовой желтой коляскѣ, подѣзжалъ уже къ усадьбѣ именинника. Слуга въ бѣлыхъ нитяныхъ перчаткахъ бережно высадилъ его изъ экипажа и, все поддерживая подъ одну руку, проводилъ въ прихожую, гдѣ снялъ съ него плащъ, а затѣмъ платяною метелкой сталъ стряхать съ его мундира пробившуюся и сквозь плащъ дорожную пыль. Самъ Гоголь въ то-же время передъ зеркаломъ головою щеточкой приглаживалъ себѣ виски и вихорь: первый разъ въ жизни вѣдь приходилось ему выступить здѣсь одному передъ совершенно незнакомымъ ему обществомъ.

— А гдѣ Иванъ Федоровичъ?

— Да вотъ пожалуйста въ гостиную; тамъ и баринъ, и всѣ гости.

«Уфъ! Господи, благослови!» прошепталъ Гоголь и, мысленно перекрестясь, переступилъ порогъ.

Но въ первой комнатѣ, небольшой и низенькой, заставленной грузною старинною мебелью и потому еще болѣе тѣсной, никого не было. Издали

только доносился смутный, многоголосый говоръ, указывая направлѣніе, гдѣ искать гостиную.

За первую комнату слѣдовала такая же маленькая вторая, за второю третья. Въ дверяхъ четвертой спиною къ входящему стоялъ самъ хозяинъ, высокій, осанистый старикъ, который, слышавъ шаги за собою, быстро обернулся.

— А! очень радъ. Наконецъ-то вспомнили тоже объ насъ. Ну, что, какъ здоровье вашей ма-тушки?

Облобызавъ юношу въ обѣ щеки, онъ взялъ его за руку, чтобы представить другимъ гостямъ.

«Фу-ты, нѣ: поздравить-то и забылъ!» ударило въ голову Гоголю; но поправить свою оплошность ему уже не пришлось, потому что тутъ-же у дверей онъ очутился въ объятіяхъ какого-то толстяка, который затѣмъ огорошилъ его еще вопросомъ:

— А халву съ собой взять не забыли?

То былъ, оказалось, его веселый спутникъ, пирятинскій помѣщикъ Щербакъ, съ которымъ три года назадъ онъ совершилъ поѣздку изъ Нѣжина домой и которому спящему изъ шалости обмазалъ двойной подбородокъ халвою.

— Халвы-то у насъ, пожалуй, не найдется,— сказалъ хозяинъ.— Но свѣжіе медовые соты можетъ-быть сослужатъ ту-же службу?

— Какъ нельзя лучше,— отвѣчалъ со смѣхомъ Щербакъ.— Молодой человекъ нашъ, изволите видѣть, большой любитель мухъ, и чтобы ихъ подкармливать...

— Виновать, — прервалъ весельчака Иванъ Оедоровичъ, который, замѣтивъ смущеніе буки-студента, не хотѣлъ дать его слишкомъ въ обиду. — Потомъ какъ-нибудь доскажете. Мнѣ надо еще отрекомендовать его дамамъ.

Дамы размѣстились въ глубинѣ просторной и свѣтлой гостиной на длинномъ турецкомъ диванѣ, тянувшемся отъ одной стѣны до другой, откуда уже на стульяхъ по всей стѣнкѣ до дверей красовалась цвѣтная гирлянда барышень. Первою съ края возсѣдала на диванѣ пожилая барыня, очень рѣшительная и нѣсколько даже свирѣпая на видъ, благодаря сросшимся надъ переносьемъ густымъ бровямъ и темному пушку надъ верхнею губой.

— Позвольте, почтеннѣйшая Пульхерія Трофимовна, — обратился къ ней хозяинъ, — познакомить васъ съ сыночкомъ нашей общей доброй сосѣдки — Марьи Ивановны Яновской.

— Такъ вотъ ты, батюшка, теперича какой изъ себя будешь? — промолвила чуть не мужскимъ басомъ Пульхерія Трофимовна, подставляя къ губамъ склонившагося передъ нею юноши свою мясистую руку. — Видѣла я тебя вонъ какимъ; никакъ бы, право, не признала. А почему ты, сударикъ, скажи-ка, о сю пору ко мнѣ съ поклономъ не пожаловалъ?

— Я на-дняхъ только изъ Нѣжина... — пробормоталъ въ оправданье свое Гоголь и повернулся къ сидѣвшей рядомъ съ допросчицею старушкѣ въ сѣдыхъ букляхъ.

Но Пульхерія Трофимовна не дала ему такъ скоро отдѣлаться:

— Постой, погоди! А ты что теперича по вашему школьному чину—скубентъ, что ли, будешь?

— Скубентъ,—повторилъ за нею Гоголь, закусывая губу.

— А какъ покончишь съ наукой—куда мѣтишь: по гражданской, аль по военной?

— По гражданской.

— Ну, съ твоей-то фигурой оно, точно, и лучше. А вотъ мой Васенька...

Гоголь не дослушалъ уже про «Васеньку» и поспѣшилъ приложиться къ рукѣ сосѣдки ея въ сѣдыхъ букляхъ, съ виду болѣе кроткой. Памятуя наказъ матери—не пропустить ни одной замужней дамы, не отдавъ ей этого искони установленнаго знака почтенія, онъ, скрѣпя сердце, съ опущеннымъ взоромъ прикладывался къ цѣлому ряду рукъ, ручищъ и ручекъ, морщинистыхъ и пухлыхъ, бѣлыхъ и загорѣлыхъ, пока вдругъ одна ручка съ тонкими, розовыми пальцами съ испугомъ не отдернулась отъ его губъ. Онъ поднялъ глаза и увидѣлъ передъ собою совсѣмъ молоденькое, залитое румянцемъ личико. Оказалось, что то была первая изъ барышень, которымъ цѣловать ручку не полагалось.

Самъ вспыхнувъ до ушей, Гоголь пробормоталъ какое-то извиненіе и поскорѣе отретировался опять къ мужчинамъ. Съ каждымъ изъ нихъ пришло ему теперь, по стародавнему обычаю, также

обняться, расцѣловаться. Наконецъ-то и это было продѣлано, и онъ со вздохомъ облегченія опустился на ближайшій стулъ рядомъ съ Щербаккомъ

— Молодой человекъ! вы сѣли на мою шляпу!— вскричалъ Щербакъ.

— Ахъ, простите... я думалъ, что это моя...

— А на свою вы садитесь? Поздравляю!

Тутъ вниманіе обоихъ было отвлечено двумя вновь прибывшими гостями.

— Ага! Стороженко съ сыномъ,— замѣтилъ Щербакъ.— Вотъ съ кого бы вамъ, любезнѣйшій, примѣръ брать: здоровѣетъ не по днямъ, а по часамъ.

Въ самомъ дѣлѣ, Стороженко-сынъ, однолѣтокъ съ Гоголемъ, былъ свѣжъ и румянъ, какъ крымское яблочко, а по дородности своей общался со временемъ перещеголять самого Щербака. Длиннополый фракъ оливковаго цвѣта съ синимъ бархатнымъ воротникомъ былъ сшитъ на него, очевидно, еще тогда, когда станъ у него былъ гораздо стройнѣе. Теперь раздобрѣвшаго юношу съ силою выпирало изъ фрака, талья котораго начиналась чуть ли не подъ лопатками, а узенькія и не по модѣ длинныя фалды доходили до полныхъ икръ. Послѣднія казались тѣмъ круглѣе, что ихъ облегалі в плотную когда-то нѣжно-розовыя, а теперъ осѣвшія отъ стирки и отцвѣтшія до тѣлеснаго цвѣта панталоны.

Подходя поочередно къ ручкамъ дамъ, онъ какъ-то особенно молодцовато вывертывалъ ло-



· Алексѣй Петровичъ
СТОРОЖЕНКО
(въ 1860-хъ годахъ).

котъ и шаркалъ ножкой, что при его необыкновенномъ нарядѣ выходило еще комичнѣе. Слѣдившія за каждымъ его движеніемъ барышни, настроенныя уже смѣшливо давешнимъ недосмотромъ Гоголя, всѣ разомъ вдругъ захихикали. Стороженко совсѣмъ растерялся и, кое-какъ докончивъ церемонію «рукоприкладства», искалъ спасенія въ мужскомъ лагерѣ. Когда онъ тутъ, послѣ неизбежныхъ опять объятій и поцѣлуевъ, добрался до Гоголя, потъ лилъ съ него въ три ручья, а руки его судорожно прижимали къ груди скомканный картузь. Жалкій видъ этого прыщущаго здоровьемъ молодчика придалъ бодрости Гоголю, и онъ уже покровительственно указалъ на освободившейся между тѣмъ стулъ Щербака.

— Не угодно ли сѣсть?

— Благодарствуйте...— пропыхтѣлъ, подсаживаясь къ нему, новый знакомецъ и сердито исподлобья покосился въ сторону барышень.— Терпѣть не могу этихъ хохотушекъ!

— Отчего же имъ не хохотать, коли хохотушки?—вступился Гоголь.—Однако, смѣю спросить объ имени и отчествѣ?

— Алексѣй Петровичъ.

— А я—Николай Васильевичъ. Такъ вотъ-съ, Алексѣй Петровичъ, я говорю, что къ нимъ нельзя относиться черезчуръ строго, какъ къ нашему брату. Это такъ-сказать однодневныя мошки, которымъ бы только поиграть, порѣзвиться на солнцѣ. Долго ли имъ вообще наслаждаться поэзіею жизни? Не нынче—завтра закабалятъ ихъ въ су-

пружеское ярмо, окунуть съ головою въ лохань семейной прозы. Будетъ имъ тогда хоть чѣмъ помянуть свои красные дни.

— Вы сами, Николай Васильевичъ, видно, дамскій кавалеръ?

— Я-то? Боже меня упаси! Вотъ вы, Алексѣй Петровичъ, такъ дѣйствительно паркетный шаркунъ. И гдѣ это вы, скажите, научились выдѣлывать ногами такіе мастерскіе фокусъ-покусы? Зависть даже беретъ.

— А въ Петербургѣ у нашего учителя танцевъ, балетмейстера императорскихъ театровъ...

— Ну, вотъ; оттого-то барышни теперь и глазъ съ васъ не сводятъ.

— Что вы! Онѣ смотрятъ вовсе не на меня, а на васъ...

— Нѣтъ, ужъ извините, на васъ: что я за невидаль? провинціальный медвѣдь. А вы—столичная штука. Эхъ, хоть бы поучили меня!

Подтрунивая такъ надъ своимъ наивнымъ сосѣдомъ, Гоголь однако самъ чувствовалъ себя далеко не по себѣ подъ стрѣлами любопытныхъ глазъ, перелетавшими къ нимъ съ того конца гостиной.

— Однако, и скучище-же!—тоскливо признался онъ и безпокойно заерзалъ на стулѣ.—Сидимъ, какъ въ западнѣ...

— А не пойти ли намъ въ садъ?

— И то, пойдѣте.

Оба разомъ сорвались со стульевъ.

— Куда, куда, господа!—остановилъ ихъ старикъ-хозяинъ. — Сейчасъ обѣдъ.

И точно, вскорѣ обѣ половинки двери настежь распахнулись, и слуга съ поклономъ доложилъ, что «кушанье подано».

— Прошу, господа, не побрезгать: чѣмъ Богъ послалъ, — пригласилъ хозяинъ, и всѣ чиннымъ порядкомъ двинулись въ столовую; въ хвостѣ шествія—наши два юнца.

— Сядемте опять вмѣстѣ: все веселѣе будетъ, — шепнулъ Гоголь новому знакомцу, и оба пристроились на нижнемъ концѣ длиннѣйшаго обѣденнаго стола, гдѣ оставалось еще нѣсколько незанятыхъ приборовъ.





ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ.

Застольные разговоры.

Иже съ перваго блюда общее вниманіе обладающихъ приковалъ къ себѣ балагуръ Щербакъ. Уписывая за обѣ щеки, онъ въ то-же время умудрялся не только отвѣчать на отрывочные вопросы сосѣдей относительно житья-бытья въ Карлсбадѣ, гдѣ шесть недѣль лѣчился отъ своей тучности, но и иллюстрировать чуть не каждый отвѣтъ свой потѣшнымъ анекдотомъ.

— Смѣйтесь, смѣйтесь надъ нѣмецкими порядками,—замѣтилъ степенный хозяинъ.—Зато нѣмецъ аккуратень, все у него по ниточкѣ, не то, что у насъ, малороссовъ...

— Ну, нѣтъ-съ, не говорите!—перебилъ Щербакъ.—Иной малороссъ по части аккуратности всякаго нѣмца за поясъ заткнетъ.

— И примѣръ у васъ есть?

— А вотъ послушайте. Поселился я въ Карлсбадѣ въ гостиницѣ, гдѣ жилъ и нѣкій баронъ изъ Помераніи, отставной прусскій лейтенантъ — милый человѣкъ, только спорить куда гораздъ. Какъ окончили это мы съ нимъ курсъ лѣченія, пригласилъ я его въ свой номеръ — на прощанье бутылочку рейнвейну распить. Глядь — опять затѣяли горячій споръ изъ-за того, кто лучше служитъ своему господину: нѣмецъ или русскій.

«— Да что попусту слова тратить, — говоритъ наконецъ баронъ: — сейчасъ вамъ на дѣлѣ докажу. He, Carl!

«А Карлушка словно выросъ уже изъ земли:

«— Zu dienen, Herr Baron! *)

«— Вотъ тебѣ, братецъ, два гульдена. Сходи-ка за уголь въ погребъ за бутылкой іоганнисбергера. Да чтобы въ пять минутъ она была тутъ передо мной, какъ листъ передъ травой.

«— Sehr wohl, Herr Baron.

«Баронъ же передъ собою часы на столъ положилъ.

«— А я вамъ, mein lieber Herr, тѣмъ временемъ, какъ по писанному, каждый шагъ его высчитаю. Теперь, изволите видѣть, онъ сходить съ лѣстницы... Теперь идетъ по улицѣ... Теперь завернулъ за уголь... Сходить въ погребъ... Расплачивается и выходитъ опять на улицу... Идетъ назадъ...

*) «Здѣсь, г-нъ бароны!» Буквально же: «Къ услугамъ г-нъ бароны!»

Поднимается по лѣстницѣ... Идетъ коридоромъ...
Входитъ въ прихожую... Не, Carl! bist du da?

«— Zu dienen, Herr Baron!

«Ахъ, чортъ тебя возьми! Въ самомъ дѣлѣ, онъ уже тутъ какъ тутъ; запыхался, какъ самоваръ, раскраснѣлся, какъ ракъ, но ставитъ на столъ бутылку іоганнисбергера. А господинъ его обращается ко мнѣ съ торжествующимъ видомъ:

«— Nun, mein lieber Herr, was sagen Sie dazu?

«— Чтò скажу? Чтò мой Ивашка исполнитъ то-же ничуть не хуже вашего Карлушки. Эй, Иване!

«— Що треба панови?

«— Вотъ тебѣ, друже, четыре гульдена. Сбѣгай-ка въ погребокъ за парой іоганнисбергера. Да живо, смотри, у меня!

«— Мигомъ слетаю.

«Выложилъ я тоже на столъ свои часы и высчитываю:

«— Теперь вотъ онъ сходитъ съ лѣстницы... Теперь идетъ по улицѣ... Теперь завернулъ за уголъ.. Сходитъ въ погребъ... Расплачивается... Выходитъ изъ погреба... Идетъ назадъ... Поднимается по лѣстницѣ... Идетъ коридоромъ... Входитъ въ прихожую... Эй, Иване! здѣсь ты?

«— Тута, пане.

«— А вино-то гдѣ?

«— Вына нема.

«— Какъ нема?

«— Та я ще не ходывъ: картузь, бачъ, проклятый десь запропастывся...

«Картина! Мабуть, не для Грыця паляниця».

Есть рассказчики и плохие, и хорошие. Плохой рассказчик и самую занимательную историю разведетъ въ водицѣ не идущихъ къ дѣлу подробностей или же испортитъ ее неумѣлымъ переразвиваніемъ дѣйствующихъ лицъ и преждевременнымъ смѣхомъ. Хорошій рассказчикъ выражается сжато и точно, діалоги ведетъ естественно и просто и своею равнодушно-серіозною миной еще болѣе отгнѣяетъ забавную сторону рассказа. И Гоголь и Щербакъ принадлежали къ числу такихъ хорошихъ рассказчиковъ, съ тою лишь разницею, что Гоголь и по окончаніи рассказа сохранялъ прежнюю невозмутимость, тогда какъ Щербакъ въ заключеніе своего карлсбадскаго анекдота первый же разразился громогласнымъ смѣхомъ, и этотъ задушевный, заразительный смѣхъ, подобно фитилю, поднесенному къ пороховой бочкѣ, вызвалъ кругомъ единодушный взрывъ хохота.

Едва ли однако не громче всѣхъ заливался молодой Стороженко; Гоголь же нарочно еще подталкивалъ его то локтемъ, то подъ столомъ колѣнкомъ, и тотъ, едва собравшись перевести духъ, закатывался снова до одышки, до слезъ. Даже хозяинъ съ верхняго конца стола неодобрительно поглядывалъ на смѣшливаго юношу, а отецъ послѣдняго съ укоризной покачивалъ ему издали головою.

— Смилуйтесь, Николай Васильевичъ... ей-Богу, силъ уже не стало...— простоналъ Стороженко,

утирая катившіяся по его побагровѣвшимъ щекамъ слезы.

Между тѣмъ бесѣда за столомъ перешла на животрепещущую злобу дня — войну нашу съ Персіей. Особенно восхвалялись подвиги Паскевича и Ермолова.

— Да что ваши Паскевичи да Ермоловы! — неожиданно забасила тутъ знакомая уже читателямъ Пульхерія Трофимовна. — Что бы они подѣлали безъ моего Васеньки?

— Да! что бы они, бѣдные, безъ него подѣлали! хочь сядь та й плачь! — подхватилъ Шербакъ, лукаво подмигивая другимъ гостямъ на чадолюбивую толстуху, слѣпо вѣрившую во все, что писалъ ей изъ арміи про себя баловень-сынъ. — Для отечества кровь ушатами вѣдь проливалъ?

— Ушатами не ушатами: Господь Богъ доселѣ его миловалъ отъ вражескихъ пуль; но онъ готовъ отдать послѣднюю каплю крови...

— Да, это бываетъ и нерѣдко, — не унимался насмѣшникъ, — что люди, готовые отдать послѣднюю каплю крови, черезчуръ уже экономны на первую каплю. Забылъ я вотъ только, чѣмъ вашъ Васенька особенно отличился?

— Чѣмъ мой Васенька особенно отличился? — въ тонъ вопрошающему повторила задѣтая за живое мать, окидывая его презрительно-гордымъ взглядомъ. — Во-первыхъ, онъ впереди своего полка взлѣзъ на непріятельскую крѣпость...

— На какую-съ?

— На какую-сь! Очень нужно мнѣ помнить всѣ эти басурманскія названія!

— Еще бы: они и безъ того при нихъ останутся. А во-вторыхъ-сь?

— Во-вторыхъ-сь, онъ своими руками забралъ въ плѣнъ этого... ну, какъ бишь его?

— Не визирия ли?

— Да, именно что визирия!

— А можетъ и самого шаха персидскаго? Но отчего газетчики-то, злодѣи, воды въ ротъ набрали. замалчиваютъ его геройскіе подвиги?

— И награды ему, кажись, доселѣ тоже ника-ка-кой не вышло?—подхватилъ теперъ и другой гость, имѣвшій природный недостатокъ—заикаться:—вотъ хоть бы Павла Григорьевича сынъ по-лучилъ Георгія, Кондрата Ивановича—Владиди-ди-мира съ бантомъ, а вашъ Ва-ва-ва...

— А мой Ва-ва-васенька и Георгія, и Владимира и Андрея! И въ газетахъ объ этомъ было.

— Не читали, не читали!—раздался вокругъ стола веселый хоръ голосовъ.—Куда же ему тѣ ордена навѣсили?

— Георгія на сабельку, Владимира на...

— На киверъ?—не безъ ехидства подсказалъ заика.

— Да, на киверъ!

— А Андрея?

— А Андрея въ петличку.

Заика прыснулъ со смѣха.

— Слышите, госпо-по-пода? Да этакихъ орденъ вовсе и не сущ-че-че-че-ствуеть!

Бѣдную Пульхерію Трофимовну окончательно взорвало.

— Не сущ-че-че-че-ствуетъ! — передразнила она снова.—Такъ, по вашему, я лгунья? Вотъ вы такъ точно лгунъ, и батюшка вашъ и матушка ваша испоконъ вѣку лгали! За эта-то Господь Богъ и покаралъ ихъ сына, т. е. васъ, сударь мой, косноязычіемъ!

— Ме-ме-ме-ня?

— Ме-ме-ме... Да, васъ! Лишилъ васъ даже человѣческой рѣчи; бараномъ мекечите: «ме-ме-ме!»

Пререканія зашли далеко за предѣлы безобидной шутки. Но въ глухой провинціи патріархальныя грубости и въ наше время, случается, сходятъ за настоящій юморъ; а 70 лѣтъ назадъ онѣ были почти необходимою солью всякаго «пріятнаго» застольнаго разговора. И всѣ за столомъ поголовно хохотали — хохотали неудержимо, потому что у возбужденнаго, озлобленнаго общимъ хохотомъ заики все лицо судорожно задергало, перекосило, и, вмѣсто членораздѣльныхъ звуковъ, изъ захлебывающихся устъ его вылетали только шипъ да свистъ; Пульхерія же Трофимовна, чтобы не дать ему что-нибудь выговорить, побѣдоносно и громче прежняго продолжала «мекекѣкать».

Когда, много лѣтъ спустя, въ Петербургѣ Гоголь и Стороженко вспоминали вмѣстѣ эту безобразную сцену, имъ было стыдно какъ за двухъ главныхъ дѣйствующихъ лицъ, такъ еще болѣе быть-можетъ за самихъ себя. Но въ ту пору они были еще молоды-зелены, а главное — на глазахъ у

нихъ былъ примѣръ окружающихъ, въ томъ числѣ и людей вполнѣ солидныхъ, преклоннаго возраста, которые отъ души тоже «животы надрывали».

Не безъ труда удалось наконецъ хозяину умиротворить расходившуюся Пульхерию Трофимовну и перевести бесѣду на нейтральную почву. Не уgomонились только два юнца на нижнемъ концѣ стола: одинъ вполголоса, но съ неподобнымъ звукоподражаніемъ воспроизводилъ захлебываніе заики и «мекеченіе» его противницы, а другой то пофыркивалъ, то закатывался во все горло, такъ что по окончаніи обѣда родитель счелъ нужнымъ задать ему добрую «головомойку». Во время послѣдней Гоголь благоразумно стушевался, но затѣмъ дернулъ новаго пріятеля за фалду:

— Уйдемте-ка лучше въ садъ.

— Да вѣдь туда нельзя иначе, какъ черезъ диванную...

— Такъ что жъ такое?

— Да развѣ вы не видѣли, что всѣ дамы прошли уже туда?

— Ахъ ты, Господи!

— Ну, какъ-нибудь попроберемся...

И сторонкой два храбреца одинъ за другимъ проскользнули черезъ диванную на терассу.





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

Опять этнографія.

Терасса выходила прямо въ садъ; но домъ стоялъ на косогорѣ, и садовыя деревья не совсѣмъ заслоняли открывавшуюся съ террасы живописную картину: разбросанныя подъ гору крестьянскія хаты, за ними— сверкающую на солнцѣ рѣку, а за рѣкою, на возвышенномъ берегу—привѣтливо манящій дубовый лѣсъ.

— Фу, какая теплынь!—говорилъ Стороженко, заслоняясь рукою отъ бившихъ въ глаза яркихъ солнечныхъ лучей.—Вотъ бы искупаться!

— Купаться сейчасъ послѣ обѣда нѣсколько рискованно, — возразилъ осторожный насчетъ своего здоровья Гоголь, — а вотъ прогуляться въ лѣсъ — другое дѣло: тамъ должно быть теперь дивно-прохладно.

— Да какъ попасть-то туда черезъ рѣку?

— Вѣроятно, найдется челнокъ; а то, можетъ, и мостъ есть.

Ни тотъ, ни другой не обмолвился словомъ о настоящей причинѣ ихъ бѣгства изъ-подъ гостепріимной кровли: въ комнатахъ обширнаго помѣщичьяго дома съ открытыми настежь окнами не было слишкомъ душно, въ саду также можно было найти тѣнистое мѣстечко; но и въ домѣ и въ саду было не безопасно отъ «хохотушекъ», а въ лѣсу—поди-ка-съ, ищи!

— Эй, Алеша! куда?—раздался тутъ изъ окна хозяйскаго кабинета голосъ старика Стороженко.

Но сынъ и его новый пріятель были уже за садовою калиткой. Форсированнымъ маршемъ спустились они къ рѣкѣ съ пологого косогора по узенькимъ, извилистымъ проулкамъ, огороженнымъ плетнями и раздѣлявшимъ владѣнія разныхъ крестьянъ-домохозяевъ. Но дорога свернула вдругъ круто въ сторону: приходилось или сдѣлать большой крюкъ, или перелѣзть плетень и вторгнуться въ чужую собственность. Юноши въ нерѣшительности остановились.

— Направо или налево?—спросилъ Стороженко.

— А почему же не прямо?—спросилъ въ отвѣтъ Гоголь.

— Черезъ плетень и леваяду? *)

*) Лева да—огороженный или окопанный лугъ, а также пашня, огородъ или садъ.

— Да.

— Потому что есть такая пѣсня:

«Ой, не ходы Грыцю
На тую улыцю,
Бо на тій улыци
Тебе съидять птыци...»

— Ну, съ птицами-то мы, пожалуй, справимся, — сказалъ Гоголь, и оба, не задумываясь долѣе, перелѣзли плетень.

Леваду они также миновали благополучно; но когда тутъ изъ баштана, засаженнаго тыквами и подсолнечниками, они выбрались къ какому-то задворкамъ, то угодили какъ разъ къ птицамъ: пѣтуху да курамъ, мирно копошившимся на грудѣ мусора. Пѣтухъ забилъ крыльями тревогу и во всю мочь загорланилъ; жены его, кудахтая, пометались во всѣ стороны, а на поднятый ими переполохъ явились тотчасъ и два четвероногихъ стража — пара дворовыхъ псовъ, которые съ бѣшенымъ лаемъ накинулись на нарушителей идилліи. Гоголь едва успѣлъ схватить съ земли хворостину, чтобы отбиться отъ злыхъ бестій; а молодцоватый, но безоружный Стороженко искалъ защиты за спиною тщедушнаго камрада.

— Гей вы, школяры! — долетѣлъ къ нимъ звонкій женскій голосъ. — Откуда васъ принесло? Убирайтесь-ка назадъ, пока въ шею не наклали.

«Школяры» оглянулись. У околицы стояла рослая, дебелая молодица съ груднымъ младенцемъ на рукахъ. Такой же цвѣтущей, ядреный какъ мать, онъ не обращалъ однако на пришельцевъ ни ма-

лѣйшаго вниманія, потому что былъ занятъ уничтоженіемъ сладкаго пирога, отъ котораго все лицо его сверхъ природнаго румянца было уже вымазано вишневымъ сокомъ.

— Вотъ злючка! — проговорилъ Гоголь и, не слушаясь, двинулся опять впередъ.

— Назадъ, курохваты! Чи ни чуєте, що я вамъ кажу? — не унималась разгнѣванная домохозяйка. — Отъ позову чоловика (мужа), такъ винъ проучить васъ лазыть черезъ чужи тыні!

— Годи, годи, моя матинко, — пробормоталъ про себя Гоголь: — не то сейчасъ запоешь.

И, какъ ни въ чемъ не бывало, онъ продолжалъ путь мимо того мѣста, гдѣ стояла задорная бабѣнка. Та выступила изъ-за околицы и рѣшительно загородила обоимъ дорогу.

— Куды, куды, ироды! Чого вамъ треба?

— А говорили намъ, — отвѣчалъ съ самымъ простодушнымъ видомъ Гоголь, — что есть здѣсь молодлица, у которой дытына похожа на поросенка.

— Ну, вже такъ! На поросѣ?

— Да вотъ же она! — словно обрадовался Гоголь и указалъ своему спутнику на ея дитину: — Алексѣй Петровичъ! смотрите-ка, какое сходство: какъ есть поросенокъ!

Стороженко громко разсмѣялся:

— Удивительное сходство! чистѣйшій поросенокъ!

Но молодой матери было совѣмъ не до смѣха. Отъ нестерпимой обиды она какъ листъ затряслась, какъ смерть поблѣднѣла и, такъ и сверкая

своими чудесными черными глазами, во все горло заголосила:

— Якъ! моя дытына похожа на поросѣ? Сто болячокъ вамъ! Остапе! Остапе! скоришь, Остапе!

Изъ-за угла показался «чоловикъ» ея—дюжій мужикъ, съ заступомъ въ рукахъ, и неспѣшно подошелъ къ нимъ.

— Чого раскудахталась?—спросилъ онъ и слегка кивнулъ головою двумъ обидчикамъ, которые, въ противоположность женѣ его, стояли совершенно спокойно.—Здорови булы, панычи! А я думаль, жинко, шо съ тебе кожу сдирають!

— Бый ихъ заступомъ!—попрежнему внѣ себя горланила молодица.—Бый, кажу, шыбеныкивъ!

— За що быть-то?

— Та чи знаешь ты, Остапе, шо вони выдумали, оци богомерзки школяры? Шо дытына наша похожа на поросѣ!

Остапъ взглянулъ на свою дитину и отвѣчалъ съ тою-же невозмутимою флегмой:

— А може воно й такъ. Не сама хиба ты мене кабаномъ зовешъ? Отъ бобра бобренѣ, отъ кабана поросѣ.

Собственный «чоловикъ» ея бралъ сторону «богомерзкихъ школяровъ»! Негодованію кровно оскорбленной въ своемъ дѣтищѣ молодой матери не было уже предѣловъ. Осыпавъ и «шибениковъ» (висьльниковъ), и мужа градомъ ругательствъ и проклятій, она въ заключеніе плюнула. «Тьфу, сатано!» и, не оглядываясь, унесла своего неоцѣненного младенца въ хату.

Въ ожиданіи, пока домашняя гроза пронесется, Остапъ стоялъ, опершись на заступъ, съ поникшею головой. Теперь онъ исподлобья поднялъ глаза на двухъ паничей и не столько сердито, сколько уныло, какъ-бы съ затаенною грустью спросилъ ихъ: куда имъ лежитъ путь-дорога?

— Да вотъ пробираемся къ лѣсу, — былъ отвѣтъ.

— Такъ... Черезъ хату вамъ было бы ближе; да жинка моя шутить не любитъ, съ сердцовъ васъ може еще хватомъ поколотить. Ступайте жъ по той вотъ дорожкѣ.

Онъ повернулся уходить, но на ходу еще разъ обернулся:

— Эй, панычи! увидите у хаты мою бабу—не подходите, не дразните: и такъ ужъ мнѣ теперь съ нею возни на цѣлую недѣлю будетъ.

— Увидимъ, такъ помиримся,—улыбнулся въ отвѣтъ Гоголь.

— Ой, лучше и не миритесь; вы жинки моей не знаете. Кобыла зъ вовкомъ мырылась, та до дому не вернулась.

— А сколько вѣдь юмора, сколько благоразумія и такта!—говорилъ Гоголь, когда они съ новымъ пріателемъ пошли по указанной имъ дорожкѣ:—за это вотъ я люблю нашихъ малороссовъ! Другой бы полѣзъ на драку, а онъ, вишь, какъ самый тонкій дипломатъ, разрѣшилъ вопросъ разлюбезно и мило. Настоящій Безбородко!

Тутъ дорожка повернула нѣсколько въ сто-

рону хаты. У крыльца, дѣйствительно, поджидала ихъ жинка Остапа, чтобы не пропустить озорниковъ мимо на ближайшую дорогу. Съ ребенкомъ на лѣвой рукѣ, она въ правой держала суковатую палку. Лицо ея было еще такъ же грозно и блѣдно, губы плотно сжаты, а темные глаза метали молніи. Въмѣсто того, чтобы идти прежнею окольною дорожкой, Гоголь неожиданно направился прямо хонько къ хатѣ.

— Куда вы, Николай Васильевич! — испуганно крикнулъ ему Стороженко. — Она все-таки дама въ силу своего пола, хоть и лается, какъ собака.

— Лающая собака не кусается — по крайней мѣрѣ пока лаетъ, — былъ шуточный отвѣтъ. — Не бойтесь, все кончится къ общему удовольствію.

Видя безстрашно подходящаго къ ней панича, молодлица снова ожесточилась и замахнулась палкой:

— Не подходи! Ей же ей ударю!

Гоголь однако приблизился къ ней на два шага и, сложивъ крестомъ руки, укоризненно покачалъ головою:

— Ахъ, безсовѣстная! Бога ты не боишься! Ну, скажи на милость, и какъ тебѣ не грѣхъ думать, что твоя пригожая дытына похожа на поросенка?

— Да не самъ ли ты сейчасъ говорилъ?

— Дура! шутокъ не понимаешь. Да и знаешь ли ты, кто есть сей? — спросилъ онъ, понижая

голосъ и таинственно черезъ плечо кивая большимъ пальцемъ на своего спутника.

— Кто?

— Чиновникъ изъ суда: пріѣхалъ взыскивать съ твоего Остапа недоимки.

— Господи Іисусе Христе!—всполохнулась молодлица.—Такъ почто же вы, какъ воры, по тынамъ лазите, да собакъ дразните?

— Угомуйсь, сестро моя милая! Къ лицу ли такой красавѣ сердиться? А хлопчикъ твой совсѣмъ въ тебя; подрастетъ, такъ станетъ соколъ, не парубокъ: гарный, русявый, чубъ чепурный, усы козацки, очи якъ зирочки. Знатный выйдетъ писарчукъ, а тамъ громада и въ головы выбереть...

И, говоря такъ, Гоголь ласково гладилъ будущаго писарчука и голову по головкѣ. «Чиновникъ изъ суда», подойдя, сдѣлалъ то-же. Материнское сердце невольно смягчилось.

— Не выберуть...—проговорила она съ тихимъ вздохомъ.—Люди мы бѣдные, а въ головы выбираютъ однихъ богатыхъ.

— Ну, такъ въ москали возьмутъ.

— Боже сохрани!

— А что жъ такое? Станетъ скоро ундеромъ, придетъ до мамы своей въ отпускъ весь въ крестахъ—эге! По улицѣ пройдетъ, шпорами, сабелькой брякнетъ—всѣ мужики-то передъ нимъ шапку до земли, а дивчата изъ-за околицы, знай, вслѣдъ посматриваютъ, прицмокиваютъ: «чей,

*

моль, такой?» Тебя, красавица, какъ по имени-то звать?

— Мартою.

— «Мартынь», скажутъ, «да и молодчина же, красавецъ, точно намалеванный!» А коротко ли, долго ли, глядь, не пѣшечкомъ уже приплетется, а прикатитъ на тройкѣ въ кибиткѣ офицеромъ! И гостинцевъ-то какихъ своей мамѣ навезетъ, подарочковъ...

На лбу красавицы Марты разгладились послѣднія складки; вся она просіяла и вдвое похорошѣла.

— Що се вы, паньчу любый, выгадываете...— прошептала она.— Статочное ли дѣло?

— А почему бы нѣтъ?—убѣжденно говорилъ Гоголь.— Мало ли нонѣ изъ ундеровъ выслуживаются въ офицеры?

— А что, паньчу, оно вѣдь бываетъ: вонъ Оксанинь сынъ пятый годъ ужъ офицеромъ, и Петровъ тоже мало не городничимъ въ Лохвицу поставленъ.

— Что же я говорю? Такъ вотъ, стало, и твоего хлопчика поставятъ городничимъ въ Ромень. То-то заживешь! Не житье, а масленица. Разодѣнетъ онъ тебя какъ пани, а ужъ уваженія тебѣ, почету...

Молодица расхохоталась.

— Годи вамъ выгадывать неподобное!—промолвила она, не вѣря и все-же страстно желая вѣрить:—чи можно жъ дожить чоловіку до такого счастья?

У Гоголя же только языкъ развязался: живыми

красками сталъ онъ расписывать, какъ она-де въ церковь собирается и кварталные передъ нею на паперти народъ расталкиваютъ, направо, налѣво кулакомъ въ зубы тычутъ: «Честью васъ просить! Не видите, что ли: пани идетъ? Дорогу, дорогу!» Какъ купцы ее ублажаютъ, въ поясъ кланяются, сударыней-матушкой величаютъ, на серебряномъ подносѣ варенуху подносятъ, какъ она по ярмаркѣ павой плыветъ, то въ ту, то въ эту лавку заглянетъ, а купцы передъ нею на прилавокъ весь-то свой панскій товаръ раскидываютъ: запаски и очипки, кораблики и рушники, черевки и сережки—бери на выборъ, что изъ своего сундука, и денегъ не нужно: за ясновельможною-де не пропадетъ! Отъ и вся? Нѣтъ, не вся: надо сына на богатой панночкѣ женити, а тамъ и дѣтки пойдутъ, и внучата... Сто лѣтъ минуетъ, а слѣпецъ-кобзарь на ярмаркѣ не Лазаря поетъ, — про добраго молодца нашего все еще думку распѣваетъ: «Люди добри, сусиде любезни, панове-старики, жиночки пань-матки и вы, парубоцтво честне, и ты, дивча молодѣньке! не загнушайтесь послухаты мене, старого, батьку нещастного!..»

Гоголь далъ полную волю своей фантазіи, но передавалъ все такъ искренне и правдоподобно, что Марта невольно заслушалась, упиваясь несбыточными мечтами. Только когда паничъ заставилъ кобзаря черезъ сотню лѣтъ еще воспѣвать ея сыночка, какъ какого-то сказочнаго богатыря, она вдругъ очнулась и съ порывистою нѣжностью прижала къ груди своего малютку:

— Бидный мій Оверко! Сміються надъ нами, сміються!

Но Аверко все еще, казалось, прислушивался къ дивнымъ рѣчамъ панича и не спускалъ съ него глазъ.

— А умникъ Аверко-то вѣрить, вишь что все это сбудется,—говорилъ Гоголь и поманилъ къ себѣ пальцами ребенка:

—«Аверко сынокъ,
Золотый човнокъ,
Срибнее веселечко,
Пльвы до мене,
Мое сѣрдечко!»

Не «поплылъ» къ нему Аверко, но все-таки выказалъ совершенно исключительную признательность за лестное о немъ мнѣніе—протянулъ рассказчику остатокъ своего вишневаго пирога:

— На!

Невольно разгорѣвшись также отъ собственной импровизации, Гоголь былъ тронутъ такимъ неожиданнымъ результатомъ своей шутки. Принявъ пирогъ, онъ откусилъ отъ него половинку, а другую возвратилъ маленькому владѣльцу:

— Вотъ и спасибо! что значитъ казакъ-то: еще на рукахъ, а разумнѣй своей мамы, пирогомъ угостилъ; мама же сердится на своего чоловика, что тотъ костей намъ не переломалъ.

— Простите, паньчи, дуру деревенскую!—промолвила устыженная Марта, отвѣшивая двумъ юношамъ поясной поклонъ.—Сказано: у бабы во-лось дологъ, умъ кѣротокъ. Звисно, що баба

глупѣ своего чоловіка и должна его слушаться. Такъ и въ святомъ писаніи написано...

Говоря такъ, она и не замѣтила, какъ къ нимъ изъ-за угла хаты подошелъ ея мужъ.

— Третій годъ вѣдь женатъ, а впервой пришлось услышать отъ жинки разумное слово! — произнесъ Остапъ, съ недоумѣніемъ оглядывая Го-голя, какъ какого-то чародѣя. — И святое писаніе знаетъ, ровно грамотная...

— Послухай-бо, Остапе, послухай, — обратилась къ нему съ оживленіемъ Марта, — що панычъ-то рассказываетъ...

— И добрая, смотри-ка, ласковая какая! — не могъ надивиться Остапъ. — Нѣтъ, панычу, воля ваша, а тутъ что-то не спроста! Слышу: говорите съ нею, иду сюды и думаю про себя: ой, лихо! якъ бы носы имъ не одкусыла; ажъ смотрю: вы изъ вовка ее въ овечку обернули!

«Я также раздѣлялъ мнѣніе Остапа», рассказывалъ много лѣтъ спустя Стороженко, вспоминая описанную сцену: «искусство, съ которымъ Гоголь укротилъ взбѣшенную женщину, казалось мнѣ невѣроятнымъ. Въ его юныя лѣта еще невозможно было проникать въ сердце человѣческое до того, чтобы играть имъ, какъ мячикомъ; но Гоголь безсознательно, силою своего генія, постигалъ уже тайные изгибы сердца».

Молодицѣ непремѣнно теперь загорѣлось, чтобы и «чоловику» ея услышать про чудеса, которыя пророчилъ ей и Аверкѣ вѣщій паничъ.

— Расскажите жъ ему тоже, расскажите, па-

ночку!—пристала она съ мольбою къ Гоголю.— Остапе, послухай!

Но молодой «сердцевѣдъ» понялъ должно-быть, что играть на струнахъ сердца слишкомъ долго не слѣдуетъ: пропадетъ очарованіе новизны,—и, пообѣщавъ Мартѣ—на обратномъ пути уже рассказать, попросилъ научить, какъ ему съ товарищемъ переправиться черезъ рѣку къ лѣсу. Благодарная молодая мать рада была хоть чѣмъ-нибудь услужить имъ.

— Попрошу я у Киндрата човень (челнокъ)? скороговоркой замѣтила она мужу.— Подержи-ка Оверка. А вы, добрые панычи, ступайте себѣ прямо до рички.

Она бросилась къ сосѣдней хатѣ, и когда тѣ спустились къ привязанной у берега лодкѣ, быстроногая молодлица, съ весломъ на плечѣ, уже нагнала ихъ.

— Отъ вамъ и весло. Такъ якъ будете вертаться, голубчики, вы насъ съ Остапомъ не забудете?

— Не забудемъ, милая. Спасибо.

Стороженко взялъ весло и, стоя, ловко направилъ челнъ къ тому берегу. Гоголь же усѣлся у руля и погрузился въ внезапную задумчивость.

— Скажите-ка, Николай Васильевичъ,—прервалъ его размышленія Стороженко:— для чего это вы наговорили ей такихъ диковинъ, изъ которыхъ навѣрно и половина не сбудется!

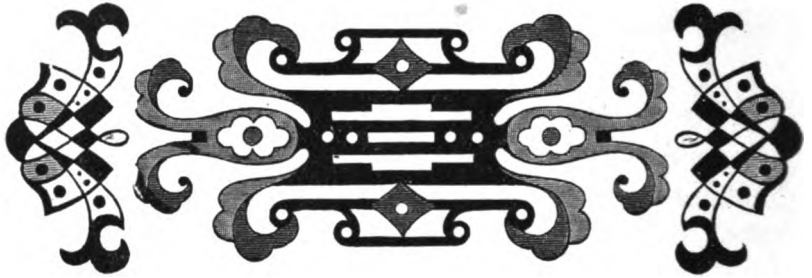
— Для чего?—повторилъ Гоголь попрежнему безъ всякой улыбки.— Ради этнографіи...

— Да, вы удивительно хорошо изучили характеръ простого народа!

— Ахъ! если бъ то было въ самомъ дѣлѣ такъ...—тихонько вздохнулъ Гоголь.—Всю жизнь свою тогда я посвятилъ бы дорогой моей родинѣ, чтобы описать ея природу, ея жителей, съ ихъ юморомъ, обычаями, повѣрьями, изустными преданіями и легендами. Источникъ, согласитесь, обильный, неисчерпаемый! рудникъ богатый и едва початый...

Совершенно озадаченный, Стороженко едва узнавалъ прежняго балагура-студента, который вдругъ обратился какъ бы въ степеннаго, зрѣлаго мужа. Только горящій вдохновеніемъ взоръ да выступившій на блѣдныхъ щекахъ румянецъ выдавали пылъ молодости и священный огонь, вспыхнувшій въ нарождающемся гени съ неиспытанною еще силой.





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

Двѣ будущія знаменитости инкогнито ближе знакомятся другъ съ другомъ.

Возвышенное настроеніе продержалось у Гоголя еще нѣкоторое время, когда они, вытащивъ челнокъ на сушу, вскарабкались на крутой берегъ и изъ-подъ палящаго зноя окунулись въ тѣнистую сѣнь вѣкового дубоваго бора.

— Чистый нектаръ!—говорилъ Гоголь, углубляясь въ чашу и полною грудью впивая въ себя лѣсной ароматъ.—А что бы вы, Алексѣй Петровичъ, изобразили на этомъ фонѣ?

Онъ указалъ вверхъ на безоблачное небо, ярко синѣвшее, какъ въ темной рамкѣ, между кудрявыми верхушками деревьевъ.

— Воздушную фею, былъ отвѣтъ.

— А я изобразилъ бы лѣшаго или запорожца

въ красномъ жупанѣ, въ широкихъ, какъ море, шароварахъ... Да не отдохнуть ли намъ?

И, не выждавъ отвѣта, Гоголь растянулся уже въ душистой, мягкой травѣ и досталъ изъ бокового кармана записную книжку, въ которую, подумавъ минутку, занесъ что-то.

— Чтò это у васъ?—полюбопытствовалъ Стороженко, стоявшій еще передъ нимъ на ногахъ.

— Этнографическій матеріалъ,—отвѣчалъ Гоголь, пряча свою книжку:—занотовалъ себѣ на всякій случай парочку крѣпкихъ словечекъ красавицы Марты. Да вы-то, Алексѣй Петровичъ, что не приляжете тоже? Тутъ славно.

Стороженко съ нерѣшительностью поглядывалъ на свои, тѣлеснаго цвѣта панталоны.

— Боюсь, какъ бы отъ свѣжей травы не позеленѣли...—пробормоталъ онъ и изъ предосторожности разостлалъ передъ собою носовой платокъ.

Гоголь рѣдко когда выдавалъ свою веселость громкимъ смѣхомъ, но тутъ не выдержалъ.

— Вы чему это смѣтесъ?—удивился Стороженко.

— Да вашимъ плюндрамъ: вспомнилось мнѣ, какое впечатлѣніе онѣ произвели на меня давеча при вашемъ входѣ въ гостиную, да, кажется, и на барышень...

Неподдѣльный испугъ отпечатлѣлся въ чертахъ простодушнаго юноши.

— Какое впечатлѣніе?

— Да когда вы стали, знаете, этакъ по-сто-

личному прикладываться къ дамскимъ ручкамъ, вы, ни дать, ни взять, походили на акробата въ розовомъ трико, который выдѣлываетъ передъ публикой свои фокусъ-покусы. Вы сами развѣ не замѣтили, какъ барышни всѣ разомъ потупились и захихикали?

— Боже милосердный! Какъ же я покажусь опять туда?—пролепеталъ бѣдняга, совсѣмъ растерявшись.

— Да, батенька, теперь приговоръ вашъ тамъ постановленъ и подписанъ.

Помучивъ еще такимъ образомъ довърчиваго юношу нѣкоторое время, Гоголь сжалился и увѣрилъ его серьезнымъ уже тономъ, что пошутить и никто другой ничего не замѣтилъ.

Успокоенный насчетъ своихъ «плюндръ», Стороженко разлегся также на травѣ, рядомъ съ Гоголемъ. Щурясь отъ сквозившей сверху, межъ листвою, яркой небесной лазури, они принялись болтать о томъ, о семъ. Оказалось, что Стороженко воспитывался въ одномъ изъ петербургскихъ учебныхъ заведеній, и школьные порядки въ Нѣжинѣ и въ Петербургѣ послужили обоимъ неистощимою темой. Досаждали имъ только лѣсные комары, цѣлымъ роемъ кружившіеся надъ ними. Гоголь довольно хладнокровно отмахивался пучкомъ травы; здоровякъ же Стороженко, кровь которого маленькимъ сосунамъ, повидимому, пришлась болѣе по вкусу, хлопалъ себя по рукамъ, по лицу, по «плюндрамъ», пока наконецъ не вытерпѣлъ, присѣлъ и разбрался:

— А бодай васъ сей да тотъ! Поглядите-ка, Николай Васильевичъ, полюбуйтесь: что они сдѣлали съ моими руками!

— И меня не совсѣмъ пощадили,—отозвался Гоголь, почесывая ладонь.—Но такъ намъ и надо: они здѣсь хозяева, мы—непрощенные гости. И жужжать они намъ: «Кто вы такіе? Откуда пожаловали? На какомъ основаніи? По какому резону? А вотъ же мы васъ хорошенько поколемъ, и въ носъ, и въ глазъ, и въ ухо, высосемъ изъ васъ лучшіе соки!»

— Вы, Николай Васильевичъ, опять зафантазировали. Въ самомъ дѣлѣ, какъ вы полагаете: для чего создана вся эта мелкота? Какой отъ нея прокъ?

— Для чего создана? Для того, чтобы всѣ знали, что теперь лѣто, расцвѣтъ природы, жизнь во всю. А какой прокъ? Для васъ лично, Алексѣя Петровича Стороженко, развѣ тотъ прокъ, чтобы избавить васъ отъ лишняго золотника крови и гарантировать отъ кондрашки. Въ общемъ же міровомъ планѣ Создателя, ничуть я не сомнѣваюсь, комарамъ точно такъ-же, какъ и вамъ и мнѣ, дана своя опредѣленная роль,—можетъ-быть очищать живой міръ отъ всякой гнили и дряни. «Есть многое на свѣтѣ, другъ Горацио»... и т. д., зри Шекспира. А дабы все-таки кое-что еще отъ насъ осталось, накроёмтесь платками. Можетъ, этакъ и всхрапнемъ маленько.

— Вотъ это дѣло,—согласился Стороженко, и, пять минутъ спустя, тонкое комариное жужжа-

ніе было заглушено болѣе густымъ храповымъ дуэтомъ.

Проснулись молодые люди уже къ вечеру, когда жара начала спадать; но Стороженко все-таки выкупался еще въ рѣкѣ, чтобы окончательно освѣжиться, послѣ чего они въ челнокѣ переправились обратно на тотъ берегъ, гдѣ стояла хата Остапа и Марты.

Когда они подошли къ хатѣ, то застали на завалинкѣ одного Остапа; Марты не было видно: либо занялась въ домѣ хозяйствомъ, либо укладывала спать своего ненагляднаго Аверку. Остапъ, сидѣвшій въ какомъ-то раздумьи, при приближеніи двухъ паничей встрепенулся; когда же Гоголь пріятельски подсѣлъ къ нему и искусными распросами затронулъ въ душѣ его сочувственныя ноты, флегматикъ-малороссъ совсѣмъ повеселѣлъ и по душѣ разговорился. Откуда у него и исторіи брались, одна другой забавнѣй! Гоголь подбодрялъ его, смѣясь, хлопая въ ладоши, при-топывая ногами; по временамъ же наскоро вписывалъ то-другое въ свою карманную записную книжку.

— А не пора ли намъ и до дому?—напомнилъ наконецъ Стороженко.

— Помилуйте!—воскликнулъ Гоголь:—да это живая книга, кладъ! Я готовъ его слушать трое сутокъ сряду, не спать, не ѣсть.

— Но Иванъ Ѳедоровичъ можетъ насъ хватиться: не очень-то вѣжливо, знаете, пропадать столько времени изъ его дома.

Гоголь со вздохомъ сожалѣнія приподнялся съ завалинки и попросилъ Остапа передать поклонъ его Мартѣ.

— Марто! Гей, Марто!—крикнулъ Остапъ.

Марта немедленно явилась на зовъ, и оба супруга самымъ дружескимъ образомъ проводили теперь «богомерзкихъ школяровъ» черезъ леваду прежнимъ путемъ къ мѣсту перелаза.

— Прощайте, панычи! Помогай вамъ Боже на все добре!

— Что за цѣльная натура! что за рассказъ!— продолжалъ Гоголь восхищаться Остапомъ, когда они съ Стороженко поднимались въ гору къ усадьбѣ Ивана Ѳедоровича.—Точно вынетъ изъ-подъ полы человѣка, поставитъ передъ тобою и заставитъ говорить!

Полнокровному Стороженко было не до восхищенья: когда они добрались до садовой ограды, онъ едва могъ уже духъ перевести отъ одышки, а потъ лилъ съ него въ три ручья. Между тѣмъ барышни потеряли, видно, всякую надежду на своихъ молодыхъ кавалеровъ: изъ-за ограды доносился звонкій крикъ и визгъ.

— Въ горѣлки играютъ!—сообразилъ Гоголь.—Давай Богъ ноги!

И въ обходъ сада ему, дѣйствительно, удалось проскользнуть къ флигелю, а оттуда и въ главное зданіе.

Спутникъ его не былъ такъ счастливъ: рассчитывая боковою садовою дорожкой пробраться на терассу, онъ неожиданно наткнулся на играю-

щихъ, которыя тотчасъ его завербовали и заставили «горѣть».

Когда стемнѣло и въ домѣ зажглись лампы и канделябры, старое поколѣніе принялось за бостонъ, а молодое за «маленькія игры»: веревочку, кошку и мышку. Тутъ и Гоголю нельзя уже было отвергѣться. Но его неловкость и застѣнчивость придали смѣлости шалунямъ-барышнямъ, и онѣ заставляли его безъ конца искать колечко, ловить мышку, пока онъ какъ-то не юркнулъ въ боковую дверь.

Большинство гостей заночевало у гостепріимнаго именинника. Въ числѣ ночующихъ были также оба Стороженко и Гоголь. Въ 8 часовъ утра отецъ Стороженко велѣлъ закладывать лошадей, а сынъ тѣмъ временемъ отправился проститься съ своимъ новымъ пріятелемъ, который, какъ узналъ онъ отъ прислуги, также всталъ и спустился въ садъ.

Пріютился Гоголь въ укромномъ мѣстечкѣ — на тѣнистой скамейкѣ, надъ которою въ вышинѣ заманчиво рдѣли любимыя его янтарныя сливы; но ему было теперь, очевидно, не до сливъ: переложивъ одну ногу черезъ другую и обративъ колѣнко въ пюпитръ, онъ такъ усердно царапалъ что-то карандашомъ въ свою записную книжку, что замѣтилъ Стороженко не ранѣе, какъ когда тотъ его окликнулъ:

— Добраго утра, Николай Васильевичъ! Отличились же мы съ вами вчера, нечего сказать!

— Можете говорить и въ единственномъ

числѣ,—отвѣчалъ не особенно обрадованный его приходомъ Гоголь, пожимая протянутую руку.

— Хорошо: отличились же вы вчера! Однако я, кажется, помѣшалъ вамъ? Что это у васъ: опять этнографія?

— Н-нѣтъ... Стихи...

— Такъ вы и стихотворствуете? Прочтите-ка, пожалуйста.

— Да я еще не кончилъ... Это только отрывокъ изъ большой поэмы...

— Нужды нѣтъ; прочтите что есть.

Стороженко присосѣдился къ молодому поэту, и тотъ какъ-бы нехотя началъ читать:

— «Земля классическихъ, прекрасныхъ созиданій,

И славныхъ дѣлъ и вольности земля!

Аиины! къ вамъ въ жару чудесныхъ трепетаній

Душой приковываюсь я!

Вотъ отъ треножниковъ до самаго Пирея

Купить, волнуется торжественный народъ,

Гдѣ рѣчь Эхилова, гремя и пламенья,

Все своенравно вслѣдъ влечеть...»*)

Начавъ не совсѣмъ увѣреннымъ голосомъ, Гоголь скоро увлекся музыкою собственныхъ стиховъ и самъ уже «гремѣлъ и пламенѣлъ». Этакая досада, право, что сейчасъ послѣдняя строфа... Украдкой взглянулъ онъ на своего единственнаго слушателя: расчувствовался или нѣтъ? Но тотъ заглядѣлся въ вышину на верхушку дерева, всю увѣшанную золотистыми сливами, и, воспользовавшись минутною паузой, выразилъ теперь вслухъ свою задушевную мысль:

*) Изъ III-й пѣсни (картины) начатой Гоголемъ въ 1827 г. идилліи «Ганцъ Кюхельгартенъ».

— Экія вѣдь сливы! Жаль вотъ только, что не достать...

Поэта покорило, и онъ съ сердцемъ захопнулъ свою книжку.

— Зачѣмъ же вы заставляли меня читать вамъ мои стихи, ежели вы имъ предпочитаете сливы?— сказалъ онъ.— Попросили бы, такъ я натрусилъ бы вамъ ихъ полный картузь.

И онъ затрясъ стволъ дерева съ такою силой, что цѣлый градъ сливъ забарабанилъ обоимъ по головѣ и по спинѣ. Оба взапуски принялись подбирать ихъ.

— Вы совершенно правы, — замѣтилъ Гоголь, съѣвъ нѣсколько штукъ: — сливы эти, пожалуй, зрѣлѣе и слаще моихъ стиховъ.

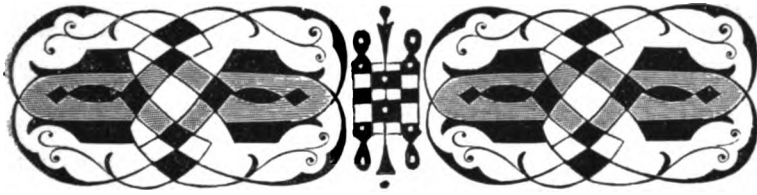
— И охота же вамъ писать стихи! — сказалъ Стороженко.— Что вы съ Пушкинымъ хотите тягаться?

— Пишутъ, Алексѣй Петровичъ, не за тѣмъ, чтобы съ кѣмъ-нибудь тягаться, а потому, что душа жаждетъ высказаться, подѣлиться ощущеніями. Впрочемъ, не робѣй, воробей, дерись съ орломъ!

И глаза его при этомъ опять самоувѣренно заблестали, «воробей» пріосанился «орломъ».

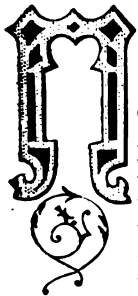
Подбѣжавшій въ это время слуга доложилъ молодымъ господамъ, что лошади поданы. Безвѣстные пока юноши обнялись и распростились, чтобы встрѣтиться уже, много-много лѣтъ спустя. знаменитостями.





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ.

Дядя Петръ Петровичъ.



о возвращеніи своемъ въ Васильевку Гоголь засталъ тамъ за завтракомъ дядю Петра Петровича Косяровскаго, также вернушагося только что изъ Полтавы *). Но пока ему было не до дяди; надо было привести въ порядокъ сдѣланныя въ карманной записной книжкѣ летучія замѣтки и разнести ихъ по соответствующимъ рубрикамъ «подручной энциклопедіи» **).

*) П. П. Косяровскій скончался въ 1849 г. въ чинѣ полковника артиллеріи.

**) Полное заглавіе ея было:

Книга Всякой Всячины
или
ПОДРУЧНАЯ ЭНЦИКЛОПЕДІЯ.

Составл. Н. Г.

Нѣжинъ.

1826 г.»

Книга была объемистая in folio и толщиною въ вершокъ;

На этотъ разъ пополненіе «энциклопедіи» производилось съ «прохладцей»: благодаря заботливости Марьи Ивановны о своемъ ненаглядномъ Никошѣ, на столѣ стояла полная тарелка крупныхъ шпанскихъ вишенъ, и между двумя записями онъ дѣлалъ всякій разъ маленькую паузу, чтобы уничтожить десятокъ сочныхъ ягодъ. Когда послѣдняя замѣтка нашла себѣ требуемое мѣсто—и послѣдняя вишня была пристроена.

Оставалось только перенести изъ карманной книжки чернилами въ особую тетрадку и набросанный вчернѣ стихотворный отрывокъ. Но, перечитывая его вновь, авторъ былъ имъ уже недоволенъ. Грызя бородку гусинаго пера, онъ по-

бумага хотя и синеватая, но плотная, а переплетъ - кожаный. Какъ человѣкъ обстоятельный, Гоголь благовременно озаботился возможною прочностью хранилища своихъ завѣтныхъ мыслей и наблюдений. Отдѣльныя рубрики говорили сами за себя:

«Лексиконъ малороссійскій».—*Hauteurs de quelques monuments remarquables*.—«Древнее вооруженіе греческое».—«Вирша, говоренная гетману Потемкину запорожцами». — «Выговоръ гетмана Скоропадскаго Василию Скалозубу».—«Декретъ Миргородской ратуши 1702 года».—«Игры, увеселенія малороссіянъ».—«Нѣчто объ исторіи искусствъ».—«Мысли объ исторіи вообще».—«Коммерческій словарь».—«Малороссійскія загадки».—«Малороссійскіе преданія, обычаи, обряды».—«Нѣчто о русской старинной масляницѣ».—«Объ одеждѣ и обычаяхъ русскихъ XVII вѣка (изъ Мейерберга)».—«Объ

грузился въ глубокую думу. Рука его машинально потянулась опять къ тарелкѣ, но вмѣсто вишенъ обрѣла тамъ однѣ косточки и принялась складывать изъ нихъ на столѣ букву за буквой. Незамѣтно вошедшій въ комнату Петръ Петровичъ прочелъ готовыя уже два слова.

«Николай Гоголь».

— Нашелъ занятіе!—сказалъ онъ:—не такое уже у тебя блестящее имя, чтобы имъ любоваться.

— Чего нѣтъ, то можетъ статься,—не то шутя, не то серьезно отвѣчалъ племянникъ, пряча свои

одеждѣ персовъ».—«Пословицы, поговорки и фразы малороссійскія».—«Планетныя системы».—«О старинныхъ русскихъ свадьбахъ».—«О свадьбахъ малороссіянъ».—Объ архитектурѣ театровъ».—«Славянскія цифры».

Среди этого письменнаго текста, изъ котораго мы привели только наиболѣе выдающіеся отдѣлы, въ томъ-же пестромъ безпорядкѣ попадались и разныя спеціальныя изображенія: Архитектурныя чертежи».—«Чертежи сельскихъ заборовъ».—«Рисунки садовыхъ мостиковъ».—«Чертежи музыкальныхъ инструментовъ древнихъ грековъ».—«Карта, сдѣланная барономъ Герберштейномъ во время пребыванія въ Россіи».—«Чертежи садовыхъ скамеекъ».—«Рисунки бесѣдокъ».—«Передній фасадъ (прежній) дома въ д. Васильевкѣ, въ готическомъ вкусѣ».—«Задній фасадъ того-же дома».

рукописи въ ящикъ стола:—не имя красить челоуѣка, а челоуѣкъ—имя.

— А ты чѣмъ это—не стихками ли своими увѣковѣчить себя хочешь?

И съ этими словами Петръ Петровичъ наклонился надъ двумя книгами, лежавшими на столѣ раскрытыми еще со вчерашняго утра.

— Это что? Нѣмецкіе стихи! А это? русскіе.

— Да, я сличаю переводъ съ оригиналомъ.

— Понимаю: вдохновляешься чужимъ вдохновеніемъ за неимѣніемъ собственнаго? Посмотримъ, что это за штука: «L u i s e. Ein ländliches Gedicht in drei Idyllen von Iohann Heinrich Voss» (Луиза. Сельское стихотвореніе въ трехъ идилліяхъ, Иоганна Генриха Фосса) А переводъ чей? Теряева. Никогда, ей-ей, ни про автора, ни про переводчика не слышалъ!

— А между тѣмъ Фоссъ одинъ изъ первыхъ нѣмецкихъ идилликовъ.

— По мнѣнію вашего профессора Зингера? Да вотъ и надпись «Ex libris T. I. Singeri». И чтобы книжку ему не запачкали—какъ аккуратно ее, вишь, въ сахарную бумагу обернулъ и сургучомъ опечаталъ. А пишешь ты что: тоже идиллію? Ага! покраснѣлъ. Стало-быть, вѣрно. Ну, что жъ, одно другому не мѣшаетъ. Державинъ не только стихи писалъ, но былъ и губернаторомъ, Дмитріевъ даже министромъ.

— Но для меня, дяденька, этого мало.

— Этого даже мало?

— Да, или все, или ничего! Для меня нѣтъ

ужаснѣе мысли, что я живу въ мірѣ и ничѣмъ замѣчательнымъ не ознаменую своего существованія!

— Чего ужаснѣе? Но покамѣстъ не поймашь журавля въ небѣ, не мѣшало бы тебѣ обезпечить себѣ хоть синицу въ рукѣ. Мы съ маменькой твоей только-что толковали о томъ, что тебѣ слѣдовало бы наконецъ съѣздить въ Ярески: протекція «кибинскаго царька» можетъ быть тебѣ въ послѣдствіи весьма и весьма полезна.

— Какая же это, дяденька, синица? Это ма-стодонтъ, мегалозавръ! Но мнѣ къ нему, право, такъ не хочется! Хоть бы въ компаніи съ вами. .

— Нѣтъ, мой другъ, прости: былъ я тамъ разъ—и довольно.

— Ахъ, Ты, Господи! Подождать развѣ дядю Павла Петровича...

— Не дожدهшься. Ктò его знаетъ, гдѣ онъ теперь летаетъ? Между тѣмъ Трошинскій уже второй мѣсяцъ какъ перебрался въ свою лѣтнюю резиденцію, а ты все еще не побывалъ у него. Завтра же и поѣзжай.

— Нѣтъ, завтра, дяденька, я еще не поѣду. Нынче вѣдь только вернулся изъ гостей... И потомъ мнѣ необходимо еще кое-что дописать...

— «Необходимо»! Изъ-за этой белиберды ты вотъ пренебрегаешь элементарными правилами приличія. Завтра же, говорю я тебѣ, ты отправляешься въ Ярески.

Не произноси этого дядя такъ безапелляціонно, а главное—не назови его стиховъ «бели-

бердою», молодой поэтъ быть-можетъ еще даль бы себя урезонить, но теперь уязвленное авторское самолюбіе не позволило уже ему уступить.

— Завтра я во всякомъ случаѣ не поѣду!— объявилъ онъ не менѣе категорически и, съ шумомъ отодвинувшись отъ своего письменнаго стола, зашагалъ взадъ и впередъ по комнатѣ.

Дядя, скрестивъ на груди руки, безмолвно слѣдилъ за нимъ глазами; потомъ вдругъ подошелъ къ столу, повернулъ торчавшій въ замкѣ ключъ дважды и спряталъ его себѣ въ карманъ.

— Ранѣе ты не получишь ключа, пока не побываешь въ Ярескахъ,—холодно заявилъ онъ племяннику и прошелъ къ себѣ.

За обѣденнымъ столомъ они снова встрѣтились; но тогда какъ Косяровскій не показывалъ и вида, что между ними произошла размолвка, Гоголь, при всемъ своемъ стараніи казаться равнодушнымъ, избѣгалъ глядѣть на дядю и вообще былъ такъ молчаливъ, что обратилъ вниманіе матери.

— Тебѣ, Никоша, видно, не охота ѣхать къ Дмитрію Прокофьевичу,—догадалась она сразу.

— Напротивъ, онъ горитъ нетерпѣніемъ и не можетъ дожидаться завтрашняго дня, — отвѣчалъ за племянника съ улыбкой Петръ Петровичъ.—Но онъ надѣется, что маменька возьметъ его подъ свое крылышко...

Марья Ивановна испуганно отмахнулась обѣими руками.

— Нѣтъ, нѣтъ, мои милые, увольте меня! Для

меня нѣтъ ничего мучительнѣй этой веселой компаніи у нашего благодѣтеля. Того гляди, заставятъ опять танцовать...

— Васъ, сестрица? Когда жъ вы тамъ танцовали?

— А не далѣе, какъ прошлою осенью, на свадьбѣ повара Василія. Самъ Дмитрій Прокофьевичъ открылъ балъ съ молодою; тутъ и мнѣ нельзя было отказаться итти съ молодымъ. Потомъ, разумѣется, всѣ танцовали разные танцы, русскіе и малороссійскіе.

— Всѣ благородные дѣвицы и кавалеры?

— Да, но только вначалѣ для проформы изъ угожденія къ хозяину. Послѣ отличалась одна прислуга, а передъ всѣми прочими Сашка съ Орькой.

— Эти кто же?

— Тоже свои крѣпостные: Сашка — капелмейстеръ домашняго оркестра, а Орька — старшая швея и яко-бы кастелянша: егоза, но, надо признаться, писанная картинка, когда этакъ брови подведетъ, лицо набѣлнить, нарумянить. Выскочилъ это Сашка съ палочкой въ рукѣ, наряженный петиметромъ, и палъ на колѣни передъ Орькой. Ужъ какія онъ тутъ странности передъ нею не выдѣлывалъ! То поднимется, то опять бухъ на полъ, а она вокругъ, какъ перепелочка, порхаетъ да летаетъ. Дмитрій Прокофьевичъ обернулся ко мнѣ и говоритъ: «Можно ли, Марья Ивановна, скажите, на нашихъ балахъ имѣть столько удовольствія, какъ мы теперь имѣемъ? Эй,

мазурку!» И вся ватага давай танцевать мазурку въ карикатурномъ видѣ. Подобралъ полы своей рясы и старый шутъ Вареоломейка, пошелъ въ присядку, а одинъ изъ приживальцевъ хлопъ его ладошью по плѣши: «Попляши!» Ну, хохоть, грохоть кругомъ еще пуще... О-хо-хо! Нѣтъ, ужъ эти потѣхи не по мнѣ...

— И не по мнѣ,—брезгливо сказалъ Петръ Петровичъ.—Но тѣмъ не менѣе, по старой посьловицѣ: всякая вологодская пивоварня имѣетъ свою сметанную тетку, а всякая изюмная попадья имѣетъ свою гарусную коровницу,—у Трошинскаго этихъ сметанныхъ тетокъ и гарусныхъ коровницъ въ Петербургѣ навѣрное еще два десятка, и добраго слова одной изъ нихъ можетъ оказаться достаточно, чтобы обезпечить молодому человѣку первый шагъ на гражданскомъ поприщѣ. А потому Никоша во всякомъ случаѣ ѣдетъ завтра въ Ярески.

Самъ Никоша, какъ-будто рѣчь шла не объ немъ, попрежнему хотъ бы пикнулъ. На другое же утро, когда дядя вошелъ опять къ нему въ комнату, онъ сдѣлалъ видъ, что его не замѣтилъ, и только когда Петръ Петровичъ, точно между ними ничего не было, поздоровался съ нимъ, онъ, не оборачиваясь, отвѣтилъ сквозь зубы:

— Здравствуйте.

— Ну, полно, братъ, не всякое лыко въ строку,—сказалъ Косяровскій и, наклонясь къ племяннику, насильно обнялъ и поцѣловалъ его.— Вотъ я привезъ тебѣ изъ Полтавы, да забылъ

отдать вчера, фунтъ леденцовъ. Другихъ «бонбошекъ», прости, не нашлось.

— Къ чему это все, дяденька?.. Мнѣ вовсе не нужно...

— А зачѣмъ тебя братъ Павелъ «сахарнымъ племянничкомъ» зоветъ? Знать, не даромъ. Впрочемъ и то вѣдь, собственные стихи тебѣ теперь слаще всякихъ бонбошекъ. Такъ вотъ же тебѣ ключъ къ нимъ: пиши себѣ, сколько угодно, упивайся: только не до безчувствія.

Противъ такого незлобія не могло устоять и ожесточенное сердце непризнаннаго стихотворца

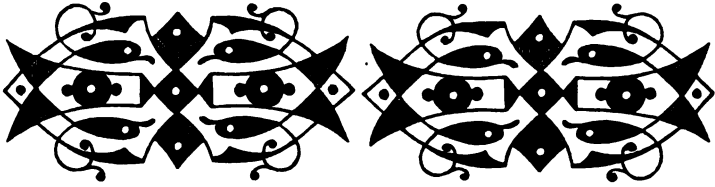
— Теперь я не въ такомъ настроеніи, чтобы писать.. — пробормоталъ онъ.

— И чудесно. Такъ не съѣздить ли намъ вмѣстѣ куда-нибудь, чтобы провѣтриться? Напримѣръ хоть въ Ярески, а? Да или нѣтъ?

— Надо еще погадать, — сказала Гоголь съ натянутою улыбкой и стала считать пуговицы у себя на сюртукѣ и на жилетѣ: — сюртукъ говорить: «да», жилетъ говорить: «нѣтъ».

— Ну, а голосъ сюртука, какъ старшаго, конечно, имѣетъ перевѣсъ, — весело подхватилъ дядя. — Итакъ ѣдемъ.





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

Въ лѣтней резиденціи «кибинскаго царька».



о Яресокъ ѣзды было всего полчаса, и потому дядя съ «сахарнымъ племянничкомъ» прибыли туда еще до утренняго выхода старика-хозяина изъ своихъ внутреннихъ покоевъ. вмѣсто него принялъ двухъ гостей новый фаворитъ Дмитрія Прокофьевича, отставной артиллеристъ Барановъ.

Года три назадъ этотъ господинъ, будучи еще на дѣйствительной службѣ, чуть ли не впервые явился въ Кибинцы въ числѣ многочисленныхъ приглашенныхъ на большой семейный праздникъ— именины молодой племянницы хозяина, Ольги Дмитріевны Трощинской. Какъ артиллеристъ, имѣя постоянно дѣло съ порохомъ, Барановъ сдѣлалъ себѣ любимую спеціальностью всякаго рода потѣшные огни, и вотъ въ Кибинцахъ ему предста-



Домъ въ Яреснахъ.

вился удобный случай въ полномъ смыслѣ слова «блеснуть» своею специальностью. Устроенный имъ фейерверкъ произвелъ такой эффектъ, что хлѣбосольный вельможа взялъ съ искусника слово погостить у него еще недѣлку-другую. Но недѣли растянулись въ мѣсяцы, мѣсяцы въ годы. Не вернувшася въ срокъ изъ отпуска офицера отчислили отъ полка; но онъ катался уже какъ сыръ въ маслѣ, сдѣлавшись тѣмъ временемъ приближеннымъ лицомъ перваго украинскаго магната. Званіе «приближеннаго» въ данномъ случаѣ нельзя было, конечно, понимать буквально: бывшій министръ считалъ себя слишкомъ высокимъ надъ всѣми окружающими, чтобы допускать къ себѣ кого-либо черезчуръ близко. Но Барановъ, человекъ воспитанный, находчивый и остроумный собесѣдникъ, былъ все-таки головою выше всѣхъ остальныхъ прихлебателей; особенно же цѣнилъ его Дмитрій Прокофьевичъ, какъ говорили злые языки, за то, что онъ умѣлъ такъ мастерски натравливать другъ на друга двухъ давнишнихъ кибинцскихъ шутовъ и скомороховъ: Романа Ивановича и отца Варѣоломея. За это же онъ, вмѣсто всякихъ другихъ званій, заслужилъ себѣ не очень-то лестную кличку «шутодразнителя».

— До 12-ти часовъ его высокопревосходительство занятъ всегда съ управляющимъ и просителями, — любезно извинился Барановъ передъ Васильевскими гостями. — Не угодно ли присѣсть, господа?

Выхода стараго вельможи ожидало въ гости-

ной уже нѣсколько гостей, прибывшихъ кто за день, кто за два, а кто и за недѣлю. Тутъ же, между гостями, слонялся изъ угла въ уголь, какъ свой человѣкъ, отецъ Варѣоломей, но всѣ отъ него, какъ отъ зачумленнаго, сторонились. На видъ онъ противъ прежняго, дѣйствительно, еще болѣе опустился: съ нечесанными космами волосъ вокругъ облысѣвшаго черепа и растрепанною жиденькою бородкой, съ испитымъ лицомъ и налитыми кровью, выпученными глазами, въ засаленной рясѣ, онъ производилъ самое отталкивающее впечатлѣніе.

— Не понимаю я, признаться. Дмитрія Прокофьевича, — вполголоса замѣтилъ Косяровскій Баранову: — какъ онъ выноситъ около себя это грязное животное?

— А какъ мы, прочіе, выносимъ на ногахъ мозоли? Есть люди-мозоли, съ которыми мы неразрывно связаны и которые доставляютъ намъ даже нѣкотораго рода удовольствіе. А кромѣ того мозоль этотъ въ послѣднее время исполняетъ и болѣе отвѣтственную должность Шехерезады, такъ какъ падишахъ нашъ на старости лѣтъ страдаетъ бессонницей. Эй, ты, козлиная борода! поди-ка сюда.

Старый шутъ исподлобья съ недовѣріемъ взглянулъ на шутодразнителя, не безъ основанія ожидая отъ него какой-нибудь тайной каверзы, и отрицательно замоталъ головой.

— Иди, иди, говорятъ тебѣ, спросить тебя только хотимъ, — успокоилъ его Барановъ.

Отставной дьячокъ нерѣшительно сдѣлалъ къ нимъ нѣсколько шаговъ.

— Чего вамъ?

— А вотъ господа эти желали бы знать: ты и нынче ночью усыплялъ Дмитрія Прокофьевича своими былями-небылицами?

Оплывшее лицо отца Варѣоломея приняло благоговѣйное выраженіе.

— Не небылицами, государь мой, а душеспасительными притчами про всякіе христіанскіе добродѣтели и подвиги.

— И разжалобилъ опять своимъ сиротствомъ, выклянчилъ себѣ малую толику?

Шутъ самодовольно ухмыльнулся и, сунувъ руку въ глубокій карманъ своей рясы, забренчалъ тамъ деньгами.

— Радѣтель нашъ не изъ богачей чванливыхъ и презорливыхъ, ложкою кормящихъ, а стеблемъ очи ближнимъ выкалывающихъ, но сирымъ и вдовымъ заступникъ, нишей братіи щедрый податель...

— Пой Лазаря! Экая жадная вѣдь скотина!—не безъ скрытой зависти презрительно проворчалъ Барановъ и обратился снова къ Косяровскому:— Какъ-то, знаете, больно и горько даже становится на душѣ за бренность всякаго земного величія. Ужъ чего, казалось бы, выше нашего глупокочтимага хозяина: поистинѣ государственный, міровой умъ,—да вотъ тоже наконецъ старческіе недуги одолѣли; ну, и приходится прибѣгать къ помощи этакихъ дуралеевъ.

— Да, Дмитрій Прокофьевичъ и въ послѣд-

ній разъ, когда я былъ здѣсь, жаловался уже на отсутствіе сна и аппетита,—замѣтилъ Петръ Петровичъ.

— А теперь желудокъ у него совсѣмъ, можно сказать, не варить; ну, а, не находя уже прежней услады жизни, бѣдный старецъ, понятно, смотритъ на все сквозь темныя очки.

Что Барановъ не преувеличивалъ, Гоголь вскорѣ воочию убѣдился, когда Трошинскій наконецъ вышелъ въ гостиную. Съ прошлаго лѣта въ немъ произошла большая перемѣна. Хотя въ осанкѣ его сохранилась еще нѣкоторая величавость былого сановника, хотя въ обращеніи своемъ съ особами прекраснаго пола онъ принуждалъ еще себя къ придворной «куртоазіи», но спина у него противъ воли его горбилась, изборожденное глубокими морщинами высокое чело оставалось постоянно пасмурнымъ; подошедшаго къ нему Косяровскаго онъ удостоилъ лишь сухого, высокомернаго привѣтствія, а на Гоголя даже вниманія не обратилъ. За завтракомъ онъ едва отвѣдалъ селедки и съ брезгливою миной заѣлъ ее корочкой хлѣба: когда же ему подали чего-то мясного, онъ послѣ перваго же куска велѣлъ кликнуть повара и съ бранью швырнулъ ему подъ ноги тарелку, которая разбилась тутъ-же вдребезги; послѣ чего, не выждавъ даже, пока откупаютъ гости, онъ всталъ и удалился въ опочивальню.

— И какъ это ты, любезный, не можешь развеселить своего кормильца?—замѣтила съ укори-

зной отцу Вареоломею Анна Матвѣвна Трощинская, старушка-невѣстка (вдова старшаго брата) хозяйина.

— Сухая ложка ротъ дереть,—пробурчалъ въ отвѣтъ старый шутъ.

Анна Матвѣвна дрожашими руками достала изъ расшитаго шелками ридикюля бисерный кошелекъ и сунула ненасытному пару мѣдныхъ монеть:

— За обѣдомъ, смотри же, садись около него.

— Всякое даяніе благо; не премину.

Дѣйствительно, когда, часа три спустя, подъ звуки оркестра всѣ двинулись въ столовую вслѣдъ за Дмитріемъ Прокофьевичемъ, хмурья черты котораго, благодаря предобѣденному отдыху, нѣсколько сгладились, отецъ Вареоломей помѣстился за столомъ рядомъ съ нимъ; но вмѣсто того, чтобы развлекать своего патрона обычными притчами, онъ ѣлъ только за двоихъ.

У Трощинскаго же попрежнему не было аппетита, и онъ не то съ завистью, не то съ ненавистью поглядывалъ на своего смачно чавкающаго сосѣда.

— У! прорва! И куда это все въ тебя лѣзетъ?—промолвилъ онъ, окидывая такимъ же недружелюбнымъ взглядомъ всѣхъ окружающихъ.— И всѣ-то вы, господа, хороши: набиваете себѣ утробу всякою дрянью! Мнѣ не жалко этой дряни; но много ли, скажите, разумному человѣку надо, чтобы насытить свое брненное тѣло? Дикіе арабы цѣлыя сутки довольствуются горстью риса. А мы,

именующіе себя европейцами, обжираемся до отвала, какъ нѣкія четвероногія съ задняго двора, о коихъ въ благопристойномъ обществѣ умалчивается.

«Европейцы» молча слушали проповѣдь хозяина, съ видомъ грѣшниковъ продолжая «обжираться» и не смѣя поднять глазъ съ своихъ тарелокъ.

— Для бесѣды требуются обыкновенно хоть двое,—шепнулъ тутъ Петръ Петровичъ сидѣвшему около него племяннику.—Но есть, какъ видишь, собесѣдники, которые и въ большомъ обществѣ произносятъ одни монологи, такъ какъ каждая кроха ихъ драгоцѣнныхъ словесъ подбирается тотчасъ, какъ манна небесная.

— За обѣдомъ у меня не шепчутся!—раздался вдругъ громко при общемъ еще безмолвіи голосъ Трощинскаго.—Позвольте узнать, о чемъ рѣчь?

Косяровскій слегка покраснѣлъ, но не потерялся.

— Я вотъ говорю племяннику,—отвѣтилъ онъ,—что для возбужденія аппетита вашему высокопревосходительству не мѣшало бы запивать каждое кушанье бокаломъ шампанскаго.

— Шампанскаго! Докторъ запретилъ мнѣ и простое даже вино и табакъ!—съ горечью проговорилъ старикъ и враждебно покосился на своего домашняго врача, сидѣвшаго тутъ-же за столомъ.—И на кой чортъ, скажите на милость, созданы вообще эти доктора? чтобы терзать своихъ ближнихъ?

— Не всѣхъ, — неожиданно подалъ голосъ шутъ

Романъ Ивановичъ, стоявшій за кресломъ хозяйна.—Господь Богъ далъ докторовъ только богатымъ людямъ.

— А бѣднымъ?

— Бѣднымъ онъ далъ здоровье. Но я знаю такую волшебную книгу, гдѣ всякій найдетъ и богатство, и здоровье, и счастье.

— Какая же это книга?

— Лексиконъ.

— Дуракъ!!

Сказано это было такимъ уже раздраженнымъ тономъ, что прокатившійся было кругомъ смѣхъ мгновенно опять замеръ. Шутодразнитель счелъ моментъ наиболѣе удобнымъ, чтобы выступить въ своей роли. Доставъ изъ жилетнаго кармана серебряный рубль, онъ подбросилъ его на ладони и затѣмъ подалъ черезъ столъ отцу Вареоломею.

— Вчера вотъ выигралъ я рублишку. Хочешь, подарю?

— Пожалуйста!—ослаблися старый шутъ; но едва онъ протянулъ руку, какъ монета была отдернута.—А нехай же вамъ!

— Ну, ну, получи, загребистая лапа!

Та-же довѣрчивая жадность и тотъ-же предательскій маневръ. Окружающіе не сдерживали уже своей веселости, потому что и по угрюмому лицу Трощинскаго промелькнулъ свѣтлый лучъ. Поощренный забавникъ продѣлалъ свою незамысловатую штуку съ тѣмъ-же успѣхомъ и въ третій и въ четвертый разъ; но хозяину она уже надоѣла.

*

— Будетъ тебѣ дурачиться!—сказаль онъ шутодразнителю.— Подай-ка теперь свой рубль сюда.

И, взявъ монету у озадаченнаго владѣльца, онъ вручилъ ее отцу Вареоломею:

— На, отче: по праву заслужилъ.

Такое соломоново рѣшеніе вызвало кругомъ громогласный хохотъ.

Барановъ совсѣмъ опѣшилъ и нимало даже не обрадовался, что достигъ своей цѣли—развлечь суроваго патрона: Дмитрій Прокофьевичъ вдругъ повеселѣлъ и принялся съ рѣдкимъ одушевленіемъ рассказывать какой-то эпизодъ изъ своей былой придворной жизни, правда, хорошо уже извѣстный большинству присутствующихъ, но тѣмъ не менѣе выслушанный всѣми съ полнымъ вниманіемъ.

За обѣдомъ, по старинному обычаю, слѣдоваль общій кратковременный отдыхъ, послѣ котораго всѣ собрались опять въ гостиную—послушать домашнихъ пѣвчихъ. Нѣкогда Трощинскій славился какъ искусный шахматный игрокъ, но со времени своего удаленія на покой онъ рѣдко уже прикасался къ шахматамъ и любилъ болѣе наблюдать за чужою игрой. Поэтому Барановъ съ другимъ приживальцемъ усѣлись тотчасъ за шахматную доску, а Дмитрій Прокофьевичъ, съ зажженною трубкой въ рукахъ, сталъ тутъ-же около нихъ, и, качая головою въ тактъ пѣвческому хору, по временамъ лишь даваль то тому, то другому игроку указанія, противъ которыхъ тѣ не смѣли уже возражать.

Но вотъ пѣвчіе затянули извѣстную малоросійскую «Чайку», въ которой Малороссія воспѣвается въ видѣ чайки, свившей гнѣздо свое на распутьи нѣсколькихъ дорогъ, — и старый малоросійскій магнатъ не выдержалъ, отошелъ прочь отъ двухъ шахматистовъ къ угловому дивану, присѣлъ на немъ и закрылъ лицо руками. Барановъ не находилъ засимъ уже надобности продолжать партію и подошелъ къ Косяровскому.

— Это любимая пѣсня нашего патріарха, и слышать ее безъ слезъ онъ не можетъ, — вполголоса объяснилъ онъ. — Но мы тоску его скоро разгонимъ. Эй, Романъ Ивановичъ! — подозвалъ онъ къ себѣ шута-соперника отца Варѣоломея.

Оба принялись шептаться. Шутодразнитель давалъ шуту какія-то наставленія, а тотъ злорадно подмигивалъ да поддакивалъ.

Между тѣмъ «Чайка» была допѣта, и пригорюнившійся хозяинъ со вздохомъ отеръ себѣ краснымъ фуляромъ глаза и приподнялся съ дивана.

— Ну, что же, государи мои, пора и прогуляться.

Всѣ безпрекословно поднялись въ путь. Конечною цѣлью прогулки былъ и теперъ, какъ всегда, довольно высокій холмъ; но такъ какъ у одряхлѣвшаго владѣльца Яресокъ ноги отказывались уже служить, то двое слугъ должны были вести его подъ руки до самой вершины холма, при чемъ одинъ изъ нихъ держалъ еще надъ головою барина большой бѣлый зонть въ защиту

отъ солнца. Съ задумчивою грустью заглядѣлся Дмитрій Прокофьевичъ съ вершины на разстилавшійся у ногъ его простой, но привлекательный сельскій видъ и не то про себя, не то обращаясь къ окружающимъ, заговорилъ такъ:

— Много видовъ перевидѣлъ я на моемъ долгомъ вѣку, а милѣе, дороже этого вотъ нѣту моему сердцу! Здѣсь я помню себя семилѣтнимъ мальчишкой, бѣгающимъ по этой самой дорогѣ и горѣ босоногимъ, въ одной рубашонкѣ.

— Здѣсь же вѣдь, въ Ярескахъ, вы увидали, кажется, впервые и свѣтъ Божій?—имѣлъ неосторожность прервать въ самомъ началѣ его монологъ вопросомъ Косяровскій.

Старый сановникъ оглядѣлъ вопрошающаго свысока такими глазами, точно тотъ съ неба свалился

— Да, государь мой, да!

И, не промолвивъ болѣе ни слова, онъ съ сердцемъ позвалъ своихъ двухъ лакеевъ, опираясь на которыхъ, шагъ за шагомъ началъ опять спускаться внизъ.

Дома впрочемъ доброе расположеніе духа опять вернулось къ желчному старику, благодаря приготовленному ему изобрѣтательнымъ артиллеристомъ сюрпризу. Когда Трошинскій, во главѣ своихъ гостей и приживальцевъ, вышелъ на балконъ, гдѣ были сервированы чай да кофе,—взорамъ ихъ представилась такая ужасная картина, отъ которой всѣ ахнули.

Передъ самымъ балкономъ росла роскошная

лиственница, посаженная болѣе полувѣка назадъ собственными руками Дмитрія Прокофьевича. И вотъ на этой-то лиственницѣ, составлявшей справедливую гордость владѣльца, висѣлъ не кто иной, какъ его старый шутъ, отецъ Вареоломей. Но общій ужасъ тотчасъ смѣнился громогласнымъ смѣхомъ, когда изъ-за угла дома показался длинный отецъ Вареоломей, подталкиваемый сзади Романомъ Ивановичемъ. У дерева, на которомъ болталось чучело, бѣдный юродивый, дрожа отъ страха, остановился и воззрися къ своему двойнику; но, взглянувшись, осѣнился широкимъ крестомъ, опустился на колѣни и, воздѣвъ руки къ небу, умиленно воскликнулъ:

— Благодарю Тебя, Создатель, что это не я!

И жалкая фигура и наивный возгласъ его были до того комичны, что разсмѣшили самого Дмитрія Прокофьевича.

— Ну, спасибо, голубчики, и въ театръ не надо,—говорилъ онъ, утирая глаза платкомъ.— До слезъ вѣдь распотѣшили. Спасибо! И для чего, не понимаю, ей-Богу, люди ходятъ еще въ комедію? Сиди, какъ пригвожденный, на одномъ мѣстѣ цѣлый вечеръ, а тутъ одно явленіе, да пяти актовъ стоить.

— Простите, ваше высокопревосходительство,—не утерпѣлъ возразить Косяровский.—Но не сами ли вы завели у себя прекрасный театръ, который особенно процвѣталъ, когда режиссеромъ въ немъ былъ покойный Василій Аванасьевичъ Яновскій.

А это вотъ, согласитесь, балаганщина и довольно дикая...

Трошинскій окинулъ говорящаго искрометнымъ взглядомъ и бросилъ ему одно только слово:

— Молокосось!

Изъ уваженія къ сѣдинамъ старца молодой офицеръ смолчалъ; но, десять минутъ спустя, онъ вмѣстѣ съ племянникомъ катилъ уже обратно въ Васильевку.

Марья Ивановна была не мало удивлена ихъ раннему возвращенію; но когда сынъ началъ объяснять ей причину, она обѣими руками зажала себѣ уши.

— Довольно! довольно! Противъ нашего благодѣтеля я не хочу ничего слышать!

— Да, подлинно что благодѣтель!—съ горечью подхватилъ Петръ Петровичъ. — Отъ иныхъ благодѣяній не поздоровится...

— Молчите, братецъ, молчите! — перебила Марья Ивановна — Кромѣ добра, мы отъ Дмитрія Прокофьевича ничего не видѣли; а старика, который одной ногой въ гробу стоитъ, вамъ все равно уже не передѣлать. Вдобавокъ же мы на этихъ дняхъ должны принять его здѣсь у насъ...

— Принимайте съ Богомъ, сестрица, — сказалъ Косяровскій, — но мнѣ вы позвольте не быть при этомъ. Мнѣ давно уже пора похлопотать о переводѣ моемъ въ полкъ, что стоитъ въ Миргородѣ, и завтра же я укладываюсь въ дорогу.

Несмотря на всѣ упрашиванія сестрицы, Петръ

Петровичъ остался непреклоненъ и на другой же день, дѣйствительно, покинулъ Васильевку; а вскорѣ за нимъ послѣдовалъ и братъ его, Павелъ Петровичъ, завернувшій въ Васильевку только за своими вещами. Племяннику ихъ волей-неволей пришлось прокатиться одному въ Полтаву за разнообразною закуской для именитаго гостя. Марья Ивановна съ своей стороны озаботилась для него и духовнымъ наслажденіемъ: послѣ обильнаго обѣда изъ любимыхъ блюдъ Дмитрія Прокофьевича былъ данъ маленькій домашній концертъ, въ которомъ между прочимъ приняла участіе и старшая дочка Марьи Ивановны, 15-тилѣтняя Машенька. Но Дмитрій Прокофьевичъ всталъ на этотъ разъ съ постели, видно, правою ногою: милостиво похваливалъ всѣ блюда, хотя едва къ нимъ прикасался, а робкую пьянистку, сбившуюся среди пьесы, одобрительно потрепалъ по щекѣ:

— Ничего, ничего! Конь о четырехъ ногахъ и то спотыкается.

Тѣмъ не менѣе Марья Ивановна, съ бьющимся сердцемъ слѣдившая за каждымъ словомъ, за каждымъ желаніемъ дорогаго гостя, вздохнула изъ глубины груди, когда онъ наконецъ усѣлся опять въ свой дормезъ.

По случаю капитальнаго ремонта въ Нѣжинской гимназій сборъ воспитанниковъ былъ отсроченъ до начала сентября. Но по отъѣздѣ обоихъ дядей, несмотря даже на открывшуюся между тѣмъ сельскую ярмарку, Гоголь не на шутку стосковался въ деревнѣ.

«Я весь въ какомъ-то безчувствіи», писалъ онъ дядѣ Павлу Петровичу отъ 2-го сентября, «и только порою воспоминаніе о нашей благословенной и веселой троицѣ, обитавшей на верхнемъ жильѣ купно въ здравіи и благоденствіи, шевелитъ мои думы. Но все тамъ угрюмо, пусто, ни стола, ни стула, и даже самый нашъ шаткій паркетъ разобранъ при расташовкѣ ярмонки на ѣтки (палатки); одинъ только Дорогой остался вѣренъ своему бывшему пристанищу и назло за то, что его часто оттуда прежде гоняли, храпитъ тамъ безотлучно. Я же съ Сюськой перебрался въ теплѣйшую комнату, въ сосѣднюю къ бабушкѣ... Вашъ сахарный племянничекъ.»





ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

«Таинственный Карло» оправдывает свое прозвище.

Послѣдній годъ на школьной скамьѣ, какъ послѣдняя ступень къ новой, самостоятельной жизни, имѣеть для учащейся молодежи особенное значеніе. Для Гоголя онъ начался утратой: прибывъ въ Нѣжинъ, онъ опять не досчитался тамъ одного изъ своихъ пріятелей—Базили. Послѣ своего «казуса» съ профессоромъ Андрущенко и возвращенія въ прежній классъ самолюбивому молодому греку не жилось уже въ Нѣжинѣ. Поэтому, когда лѣтомъ въ Одессѣ, куда онъ отправился на каникулы къ роднымъ, старинный доброжелатель его—Орлай, директорствовавшій теперь въ Ришельевскомъ лицѣѣ, предложилъ ему перейти къ нему въ лицей, Базили, не колеблясь, принялъ предложеніе. Попалъ онъ снова въ Нѣжинъ не ранѣе, какъ спустя

20 лѣтъ, проѣздомъ въ Петербургъ изъ Бейрута въ Малой Азіи, гдѣ состоялъ генеральнымъ консуломъ, и, какъ «ветеранъ», былъ принятъ съ открытыми объятіями студентами Нѣжинскаго лица. въ который между тѣмъ была преобразована прежняя «гимназія вышихъ наукъ».

Подъ первымъ впечатлѣніемъ своего одиночества Гоголь написалъ длиннѣйшее письмо своему дядѣ Петру Петровичу, съ совершенно несвойственною ему откровенностью каясь, что «ничѣмъ не могъ доказать ему любви своей и даже огорчалъ его частенько».

«Живо помню», признавался онъ далѣе, «какъ былъ когда-то разсѣянъ, чѣмъ то оскорбилъ васъ и даже забылъ поздороваться съ вами, и какъ черезъ минуту вы обняли меня съ улыбкой примиренія—и все было забыто».

Съ дядей же Павломъ Петровичемъ онъ также письменно, почти какъ равный съ равнымъ, болталъ съ особеннымъ удовольствіемъ о разныхъ мелочахъ истекшаго лѣта:

«Право, какъ подумаешь, какъ было весело намъ! Чего мы не дѣлали! Помните, какъ мы бракованные арбузы отправляли на тотъ столъ?.. Кстати: вы не знаете дальнѣйшихъ приключеній съ онучею Петра Борисовича?

«... Бывало (помните ли наши гулянья?) мы путешествуемъ даже до мельницъ и приходимъ къ вечеру, истомленные, на чай или на богатую коллекцію дынь. Чаще всего я вспоминаю, когда послѣ ужина отправляемся на ночлегъ по нашей

шаткой лѣстницѣ въ возвышенное наше обиталище... Вѣрите ли, что у насъ въ Нѣжинѣ такъ скучно стало, что не знаешь, куда дѣться? Сидишь цѣлый день за книгой да зѣваешь такъ жалко, что уши вянуть. .»

Чтобы по-прошлогоднему совѣмъ не захандрить, Гоголь прибѣгнулъ къ прошлогоднему же средству—театру. Инспекторъ Бѣлоусовъ, къ которому онъ обратился за разрѣшеніемъ, выразилъ справедливое удивленіе, какъ это онъ, студентъ выпускнаго курса, можетъ вообще думать еще о театрѣ, когда съ Рождества должны начаться у него репетиціи, а послѣ Пасхи—экзамены.

— Вотъ потому-то время и дорого,—отвѣчалъ Гоголь.—До Рождества отведемъ душу, чтобы потомъ уже ничѣмъ не отвлекаться.

— А кто отвѣчаетъ мнѣ за то, что вы не поднесете публикѣ опять такого экспромта, какъ въ послѣдній разъ?

— Я вамъ за то отвѣчаю честнымъ словомъ студента!

— Обѣщать иное легче, чѣмъ выполнить. Позвольте мнѣ еще нѣсколько подумать.

— Подумайте, Николай Григорьевичъ, но, пожалуйста, подольше: мы тѣмъ часомъ и отыграемъ...

Чтобы не дать Николаю Григорьевичу времени одуматься, а тѣмъ болѣе посовѣтоваться съ другими профессорами, между которыми было теперь болѣе прежняго противниковъ ученическихъ спектаклей, Гоголь немедля принялся набирать

труппу. На этотъ разъ однако призывъ его не нашелъ отклика. Божко и Кукольникъ прямо отказались: какъ первымъ ученикамъ въ своихъ классахъ, имъ хотѣлось и сохранить за собою первенство—одному при выпускѣ, другому при переходѣ на старшій курсъ. Кромѣ того, въ головѣ у Кукольника назрѣвалъ планъ новой пяти-актной драмы. Съ грѣхомъ пополамъ Гоголю удалось набрать нѣсколько человѣкъ болѣе или менѣе опытныхъ актеровъ, въ томъ числѣ, разумѣется, Прокоповича и Григорова. Но безъ Кукольника дѣло какъ-то не ладилось, а вскорѣ и совсѣмъ расклеилось.

Однажды (именно 27 сентября), во время репетиціи, кто-то сталъ ломиться снаружи въ замкнутую дверь театральной залы, гдѣ воздвигались подмостки. Гоголь, раздраженный уже тѣмъ, что Григоровъ опять-таки не зналъ своей роли, сердито подскочилъ къ двери:

— Входъ воспрещенъ.

— Отоprite!—донесся оттуда властный голосъ.

— Это вы, Михайла Васильевичъ?

— Я. Извольте сейчасъ отпереть!

— Мы ни для кого не дѣлаемъ исключенія.

Просимъ прошенія.

— Меня вы сію минуту впустите!

— Да ты просто не отвѣчай,—тихонько посоветовалъ Гоголю одинъ изъ актеровъ.—Надо-бсть—самъ уйдеть.

— И то правда. Молчаніе, господа!

Всѣ дальнѣйшія требованія Билевича оставались безъ отвѣта. Наступила короткая пауза. Притаившіеся актеры перевели духъ.

— Убрался, кажется?

— Видно, что такъ. Что же, начать опять?

— Начнемте.

Но они не приступили еще къ дѣлу, какъ за дверью загремѣлъ зычный голосъ гимназическаго экзекутора, майора Силы Ивановича Шишкина:

— Прошу, господа, немедленно впустить насъ; въ противномъ случаѣ я выломаю дверь силой на вашу же голову.

Актеры нерѣшительно переглянулись.

— Сила солому ломить, а Сила Ивановичъ и дубовыя двери,—съ желчнымъ юморомъ замѣтилъ Гоголь и отперъ дверь.

Но онъ находился уже въ такомъ возбужденіи, что когда вошедшій вслѣдъ за экзекуторомъ Михайла Васильевичъ накинудся на него съ рѣзкими упреками, Гоголь не менѣе рѣзко наговорилъ въ отвѣтъ много лишняго.

Билевичъ не дослушалъ и со словами: «Вы пьяны, я вижу! Это вамъ такъ не сойдетъ», выбѣжалъ вонъ.

Не долго погода Гоголь былъ вызванъ въ конференцъ-залу. Конференція была въ полномъ составѣ; экспертомъ присутствовалъ гимназическій докторъ—Фибингъ.

— Мнѣ очень прискорбно, Яновскій,—обратился къ подсудимому строже обыкновеннаго предсѣдатель, профессоръ Шаполинскій,— что на

выпускномъ курсѣ на васъ принесена столь тяжкая жалоба старѣйшимъ изъ вашихъ наставниковъ...

— Да я дѣйствовалъ не самовольно,—сталь оправдываться Гоголь, ища глазами своего покровителя—инспектора:—я былъ обнадеженъ...

— Что мнѣ отчасти извѣстно было о вашихъ приготовленіяхъ къ театру—мною уже доложено конференціи,—перебилъ его Бѣлоусовъ, смущенный видъ котораго показывалъ, что такое признаніе въ своей оплошности стоило ему не малаго самоотверженія.—Но рѣчь идетъ теперь не о театрѣ, а о томъ, что на сдѣланныя вамъ Михайлой Васильевичемъ замѣчанія вы осмѣлились высказать разныя дерзкія сужденія...

— И такимъ неподобающимъ тономъ,—досказалъ Никольскій,—что есть основаніе усомниться въ вашей трезвости.

— И полное основаніе,—подхватилъ Билевичъ:—улика, кажется, на лицо!

Онъ указалъ на раскраснѣвшія щеки Гоголя, на которыхъ теперь выступили багровыя пятна.

— Да я въ ротъ не беру вина... клянусь Богомъ!—пробормоталъ Гоголь прерывающимся голосомъ и съ дрожащею нижнею челюстью.

— За это-то и я могу поручиться,—вступилъ опять Бѣлоусовъ:—въ кутежахъ студентовъ Яновскій никогда не былъ замѣченъ. А отъ такого обвиненія, какъ ваше, Михайла Васильевичъ, хоть кого въ жаръ бросить.

— Ну, нѣтъ-съ! тутъ совсѣмъ иная причина. Я покорнѣйше просилъ бы Карла Карловича

подвергнуть молодого человѣка на сей предметъ врачебному осмотру.

Карлъ Карловичъ приступилъ къ возложенному на него отвѣтственному порученію съ нѣмецкою методичностью: повернувъ молодого человѣка лицомъ къ свѣту, онъ первымъ долгомъ ошупаль у него пульсъ, потомъ велѣлъ ему высунуть языкъ и дохнуть хорошенько; далѣе вывернулъ ему вѣки, чтобы провѣрить степень ихъ воспаленія, и въ заключеніе объявилъ конференціи, что трезвость молодого человѣка несомнѣнна; что его «нѣжная конституція» указываетъ скорѣе на нервное потрясеніе, но что для окончательнаго приговора было бы полезно произвести еще трехдневное наблюденіе въ лазаретѣ.

— Это въ самомъ дѣлѣ всего вѣрнѣе, — обрадовался добрякъ Шаполинскій и вполголоса добавилъ: — вы помните вѣдь, конечно, господа, подобный же припадокъ съ нимъ года три-четыре назадъ?

И Гоголь очутился въ лазаретѣ. вмѣсто трехъ дней, по настоянію осторожнаго доктора, ему пришлось пробыть тамъ цѣлыхъ пять, по истеченіи которыхъ рапортомъ доктора Фибинга конференціи «трезвость» молодого человѣка была окончательно установлена. Одиночное заключеніе въ лазаретѣ, куда къ нему никто изъ товарищей не допускался, было зачтено виновному въ наказаніе. Само собою разумѣется, что вся театральная затѣя его вылетѣла въ трубу. Но онъ къ ней и безъ того уже охладѣлъ. Какъ иной цвѣтокъ

распускается за ночь, такъ же точно здѣсь нашъ затворникъ за пять дней остепенился на годъ. Непрерывно, день и ночь, раздумывая на досугѣ надъ своею судьбою, онъ составилъ себѣ планъ своей будущей гражданской карьеры. Между тѣмъ пришло и отвѣтное письмо отъ Петра Петровича Косяровскаго, да такое родственно-теплое, что молчальникъ нашъ рѣшился подѣлиться съ дядей своими завѣтными мечтами.

«Еще съ самыхъ временъ прошлыхъ, съ самыхъ лѣтъ почти непониманія, я пламенѣлъ неугасимою ревностью сдѣлать жизнь свою нужною для блага государства», писалъ онъ (3 октября 1827 года). «Тревожныя мысли, что мнѣ преградыть дорогу, что не дадутъ возможности принести ему малѣйшую пользу, бросали меня въ глубокое уныніе. Холодный потъ проскакивалъ на лицѣ моемъ при мысли, что можетъ-быть мнѣ доведется погибнуть въ пыли, не означивъ своего имени ни однимъ прекраснымъ дѣломъ: быть въ мірѣ и не означить своего существованія—это было для меня ужасно. Я перебиралъ въ умѣ всѣ состоянія, всѣ должности въ государствѣ и остановился на одномъ—на юстиціи. Я видѣлъ, что здѣсь работы будетъ болѣе всего, что здѣсь только буду истинно полезенъ для человѣчества. Неправосудіе, величайшее въ свѣтѣ несчастіе, болѣе всего разрывало мое сердце. Я поклялся ни одной минуты короткой жизни своей не утерять, не сдѣлавъ блага. Два года занимался я постоянно изученіемъ правъ другихъ народовъ и есте-

ственныхъ, какъ основныхъ для всѣхъ законовъ; теперь занимаюсь отечественными. Исполнятся ли высокія мои начертанія? Или неизвѣстность зароетъ ихъ въ мрачной тучѣ своей? Въ эти годы эти долговременныя думы свои я затаилъ въ себѣ; недовѣрчивый ни къ кому, скрытный, я никому не говорилъ своихъ тайныхъ помышленій, не дѣлалъ ничего, что бы могло выявить глубь души моей; да и кому бы я повѣрилъ и для чего бы высказалъ себя? Не для того ли, чтобы смѣялись надъ моимъ сумасбродствомъ, чтобы считали пылкимъ мечтателемъ, пустымъ человѣкомъ? Никому, и даже изъ своихъ товарищей, я не открывался, хотя между ними было много истинно-достойныхъ. Я не знаю, почему я проговорился теперь передъ вами: оттого ли, что вы можете-быть принимали во мнѣ болѣе другихъ участіе, или по связи близкаго родства,—этого не скажу: что-то непонятное двигало перомъ моимъ, какая-то невидимая сила натолкнула меня, предчувствіе вошло въ грудь мою, что вы не почтете ничтожнымъ мечтателемъ того, который около трехъ лѣтъ неуклонно держится одной цѣли и котораго насмѣшки, намеки болѣе заставятъ укрѣпнуть въ предположенномъ начертаніи. Ежели же вы и не поучаствуете во мнѣ, по крайней мѣрѣ вы затаите мое письмо, такъ же какъ я затаилъ въ себѣ одинъ свои упрямья предначертанія. Доказательствомъ сему можетъ служить то, что во все время бытія моего съ вами я ни разу не давалъ себя узнать, занимался игрушками и ни-

когда почти не заводилъ рѣчь о выборѣ будущей своей службы, о моихъ планахъ и проч. Даже маменька, которая хотѣла узнать мой образъ мыслей, еще не можетъ сказать навѣрно, куда я хочу; причинъ еще нѣкоторыхъ я не могу сказать теперь; впрочемъ это только для одного меня можетъ быть занимательно...»

При чтеніи этого письма Петръ Петровичъ быть-можетъ остановился въ недоумѣніи на загадочной фразѣ: «причинъ еще нѣкоторыхъ я не могу сказать теперь»; но потомъ, вспомнивъ про литературную «белиберду» племянника, онъ легко могъ догадаться, что юридическую карьеру Никоша оставляетъ себѣ только въ видѣ запасной двери на случай, еслибы, паче чаянія, не выгорѣли замыслы его, поэта-воробья, угоняться за поэтомъ-орломъ.

Какъ бы то ни было, никто изъ остальныхъ обитателей нѣжинской гимназіи не подозрѣвалъ, что творится въ душѣ чудака Яновскаго, который учиться сталъ усерднѣе прежняго, но зато еще болѣе сторонился товарищей; а надзиратели, особенно нѣмецъ Зельднеръ, не могли надивиться, что случилось съ несноснымъ шутникомъ и задира-лой, который превратился въ самую покорную кроткую овцу. Изрѣдка только прорывался у него природный юморъ, но какъ мгновенная вспышка тлѣющаго подъ пепломъ огня, чтобъ затѣмъ опять потухнуть.

Такъ едва ли не одинъ только Гоголь принялъ равнодушно событіе, взбудоражившее весь

ихъ школьный міръ: вступленіе въ должность прибывшаго наконецъ въ послѣднихъ числахъ октября новаго директора, Данилы Емельяновича Ясновскаго. Еще задолго до личнаго съ нимъ знакомства всѣмъ было извѣстно изъ его формулярнаго списка, что онъ, происходя изъ духовнаго званія, окончилъ курсъ въ Кіевской духовной академіи и началъ службу протоколистомъ въ канцеляріи Новгородъ-сѣверскаго намѣстничества, но затѣмъ вскорѣ перешелъ въ канцелярію генераль-губернатора Малороссіи, фельдмаршала графа Румянцева-Задунайскаго, при которомъ состоялъ личнымъ секретаремъ, а потомъ и адъютантомъ до самой смерти фельдмаршала. Нѣкоторое время затѣмъ пробывъ директоромъ государственнаго банка въ Петербургѣ, онъ перешелъ опять въ провинцію, гдѣ занималъ разныя должности по судебной части, пока не попалъ въ Черниговъ, гдѣ послѣднія 6 лѣтъ служилъ по дворянскимъ выборамъ.

Въ дополненіе къ этимъ официальнымъ свѣдѣніямъ передавалось еще на словахъ, что Данила Емельяновичъ въ Черниговѣ былъ своимъ человѣкомъ у генераль-губернатора князя Рѣпина и у губернатора Фролова-Багрѣва; мѣсто же директора нѣжинской гимназій послѣ Орлая принялъ только по усиленной просьбѣ попечителя гимназій, графа Кушелева-Безбородко, знавшаго его какъ человѣка очень начитаннаго и, подобно Орлаю, большого знатока древнихъ классиковъ.

— Лишь бы и нравомъ походилъ на нашего милѣйшаго Ивана Семеновича!—толковали межъ собой студенты.

Очень имъ не пришлось въ этомъ отношеніи разочароваться. Лѣтами Ясновскій былъ еще старше Орлая: ему перевалило за шестой десятокъ, и преклонный возрастъ сказывался въ недостаточной энергіи, чтобы запнувшуюся учебную машину привести опять въ полный ходъ. Но что недоставало ему въ начальнической выдержкѣ и строгости, то въ значительной степени искупалось искреннимъ добродушіемъ, всегдашнюю готовностью помочь всякому и словомъ и дѣломъ; а многостороннія познанія и замѣчательное краснорѣчіе заслужили Данилѣ Емельяновичу вскорѣ общее уваженіе и профессоровъ и воспитанниковъ.

— Да и какъ не слушаться такого хорошаго человѣка?—было единодушное заключеніе тѣхъ и другихъ.

Наименьшее вліяніе оказалъ новый начальникъ на выпускныхъ студентовъ.

— Хорошій-то онъ, хорошій,—признавали они,—да стоить ли крѣпко привязываться къ человѣку, когда проживешь съ нимъ безъ году недѣлю? Лишніе только охи да вздохи!

И самъ Ясновскій, казалось, понималъ «выпускныхъ», относясь къ нимъ съ неизмѣннымъ благодушнымъ снисхожденіемъ даже въ такихъ случаяхъ, гдѣ предшественникъ его, Юпитеръ-Громовержецъ, навѣрное не пожалѣлъ бы грома

и молній. Такъ совсѣмъ молоденькій еще учитель латинской словесности Кулжинскій, написавъ довольно слабую книгу о народныхъ обычаяхъ малороссіянь, подъ названіемъ «Малороссійская деревня», имѣлъ неосторожность ее напечатать; а студенты, выискавъ въ книгѣ нѣсколько неудачныхъ оборотовъ и выраженій, стали допекать ими бѣднаго автора на лекціяхъ, въ видѣ *bon-mots*, доводя его чуть не до бѣшенства. Въ довершеніе всего однажды въ городскомъ театрѣ, на представленіи заѣзжей труппы актеровъ, на которомъ присутствовали также многіе профессора, въ томъ числѣ и самъ Кулжинскій, кучка студентовъ въ партерѣ во время антракта со смѣхомъ возвѣстила «почтеннѣйшей публикѣ», что завтра пойдетъ самоновѣйшая, нигдѣ еще неигранная комедія-водевиль «Малороссійская деревня, или Законъ дуракамъ не писанъ».

Возмутились на этотъ разъ не только самъ Кулжинскій и принявшій его подъ свое особое покровительство Билевичъ, но всѣ вообще профессора. Дѣло было внесено въ конференцію. Но здѣсь самымъ рѣшительнымъ защитникомъ расшалившейся молодежи выступилъ старикъ-директоръ. Когда же Билевичъ началъ было съ жаромъ доказывать, что «молодежь, не удерживаемая твердою рукою на опасномъ пути разнузданныхъ вождельній, уподобляется лунатику, гуляющему по краю бездны»,—Данила Емельяновичъ только улыбнулся:

— А кто ручается намъ за то, что лунатикъ, если его окликнуть, не сорвется въ бездну, тогда какъ безъ оклика онъ благополучно ее миноваль бы? Эхъ, господа, повѣрьте старику: сама жизнь въ послѣдствіи выравниваетъ всѣ шероховатости и углы; перемелется все—мука будетъ.

Гоголь, не бывшій во время рассказаннаго случая въ театрѣ, отнесся къ нему всѣхъ безучастнѣе. Какъ улитка въ своей раковинѣ, онъ замкнулся въ самомъ себѣ, и только внезапное, совершенно неожиданное возвращеніе въ Нѣжинъ его друга дѣтства—Данилевскаго, стосковавшагося въ московскомъ университетскомъ пансіонѣ, заставило его выставить изъ своей раковины щупальца.

— Тебя, Никоша, право, точно подмѣнили!—говорилъ Данилевскій.—Прежде ты хоть и былъ бирюкомъ, но нѣтъ-нѣтъ да и выкинешь колѣнце; а теперь совсѣмъ тихоней сталъ, воды не замутишь. Передъ высшими будто выслужиться хочешь...

— Да можетъ-быть у меня это и въ самомъ дѣлѣ въ предметѣ?—съ тонкою усмѣшкой отозвался Гоголь.—Черезъ полгода намъ придется уже выплыть изъ нашей тихой заводи въ бурное житейское море: какъ же впередъ не напрактиковаться лавировать и по вѣтру и противъ вѣтра? Какъ знать, въ какіе круги общества толкнетъ насъ въ Питерѣ судьба? Есть сферы, гдѣ первое дѣло—держать на привязи языкъ и не выдавать своихъ сокровенныхъ чувствъ и мыслей. Ты вотъ

да и всѣ, кажется, считаете меня тихоней; а можетъ-быть я внутренно только хохочу надъ вами?

— Это, братъ, было бы очень грустно!

— Ну, надъ тобой, какъ надъ старымъ другомъ, я, пожалуй, особенно смѣяться не стану.

— И на томъ спасибо; но слается мнѣ, что дружба наша однобокая.

— Какъ такъ?

— А такъ, какъ камбала: я тебѣ другъ, а ты не препятствуешь мнѣ только оказывать тебѣ дружбу. Богъ тебѣ судья!

Что было сказать на такое обвиненіе? Ничего не оставалось, какъ гордо промолчать и искать утѣшенія хоть въ учебныхъ книгахъ.

«Я теперь совершенный затворникъ въ своихъ занятіяхъ», писалъ Гоголь матери передъ Рождествомъ. «Цѣлый день, съ утра до вечера, ни одна праздная минута не прерываетъ моихъ глубокихъ занятій. Въ короткіе эти полгода я хочу произвести и произведу (я всегда достигалъ своихъ намѣреній) вдвое болѣе, нежели во все время моего здѣсь пребыванія, нежели въ цѣлыя шесть лѣтъ. При неусыпности, при моемъ желѣзномъ терпѣніи я надѣюсь положить по крайней мѣрѣ начало великаго предначертаннаго мною зданія. Все это время я занимаюсь языками. Успѣхъ, слава Богу, вѣнчаетъ мои начинанія. Въ остальные полгода я положилъ себѣ за непремѣнное—окончить совершенно изученіе трехъ языковъ».

Когда Данилевскій на рождественскіе празд-

ники собрался домой въ деревню, Гоголь отправилъ съ нимъ въ Васильевку только коротенькую записку о присылкѣ денегъ, а самъ остался въ Нѣжинѣ. Когда же затѣмъ отъ матери пришелъ отвѣтъ съ упреками въ небрежности и въ томъ, что онъ цѣлые годы не работаль, — сынъ принялся опять «лавировать»:

«Если я что знаю, то этимъ обязанъ совершенно одному себѣ», оправдывался онъ (1 марта 1828 г.): «и потому не нужно удивляться, если надобились деньги иногда на мои учебныя пособія. У меня не было другихъ руководителей, кромѣ меня самого; а можно ли самому, безъ помощи другихъ, совершенствоваться?.. Я больше испыталъ горя и нужды, нежели вы думаете. Врядъ ли кто вынесъ столько неблагоприятностей, несправедливостей, глупыхъ, смѣшныхъ притязаній, холоднаго презрѣнія и проч. Правда, я почитаюсь загадкою для всѣхъ; никто не разгадалъ меня совершенно. У васъ почитаютъ меня своенравнымъ, какимъ-то несноснымъ педантомъ, думающимъ, что онъ умнѣе всѣхъ, что онъ созданъ на другой ладъ отъ людей. Вѣрите ли, что я внутренно самъ смѣялся надъ собою вмѣстѣ съ вами? Здѣсь меня называютъ смиренникомъ, идеаломъ кротости и терпѣнія. Въ одномъ мѣстѣ я самый тихій, скромный, учтивый, въ другомъ — угрюмый, задумчивый, неотесанный и проч., въ третьемъ — болтливъ и докучливъ до чрезвычайности, у иныхъ — умень, у другихъ — глупъ. Какъ угодно, почитайте меня, но только съ настоящаго моего поприща

вы узнаете настоящий мой характеръ. Вѣрьте только, что всегда чувства благородныя наполняютъ меня, что никогда не унижался я въ душѣ и что всю жизнь свою обрекъ благу. Вы меня называете мечтателемъ, опрометчивымъ, какъ-будто-бы я внутри самъ не смѣялся надъ ними...»

А какъ же отнеслась къ такому направленію сына сама Марья Ивановна? Любя его выше всего на свѣтѣ, считая его первымъ умникомъ, которому доставало только прилежанія и житейской опытности, она невольно преклонялась передъ его «мужскимъ» умомъ и, богобоязненная, смиренная, а вмѣстѣ съ тѣмъ и крайне суевѣрная, мнительная, одобряла его «политичность» со старшими «къ общему благу», но при этомъ вновь убѣждала не заноситься слишкомъ далеко, быть прилежнѣе, бережливѣе, въ трудныя же минуты жизни уповать на одного Бога, держась «Панглоссовой системы»: «что ни дѣется—все къ лучшему»*).



*) Панглоссъ—дѣйствующее лицо одной повѣсти Вольтера, подъ названіемъ «Кандидъ», педагогъ и докторъ, наивно вѣрящій, что на свѣтѣ все хорошо и дѣлается къ лучшему. М. И Гоголь неоднократно въ своихъ письмахъ упоминаетъ о Панглоссѣ, о которомъ сама едва ли что читала, а по наслышкѣ составила себѣ невѣрное понятіе, какъ о какомъ-то благочестивомъ человѣкѣ.



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ.

Прощай, Нѣжинь!

Но заведенному разѣ попечителемъ ускоренному порядку, публичныя испытанія выпускныхъ студентовъ были распределены на три дня. Но такъ какъ самого попечителя на этотъ разѣ почему-то не было, отличиться передъ нимъ, значить, не приходилось, и такъ какъ познанія экзаменующихся достаточно уже выяснились въ теченіе года и на предварительныхъ испытаніяхъ, то утомившіеся за годъ экзаменаторы не выказывали особенной энергіи, и испытанія шли довольно безцвѣтно и вяло. Не удивительно, что всѣ—и дѣйствующія лица, и почетная публика—вздыхнули свободнѣй, когда за послѣднимъ научнымъ предметомъ начались испытанія въ искусствахъ: музыкѣ, пѣніи, фехтованіи и танцахъ.

Изъ всѣхъ искусствъ Гоголь обучался только

танцамъ, да и то лишь въ первые годы; поэтому оставаться долѣе въ экзаменаціонномъ залѣ ему не было надобности, и онъ тихомолкомъ выбрался оттуда. Такъ ему не довелось быть свидѣтелемъ торжества Данилевскаго, который, въ числѣ разныхъ нумеровъ, блестящимъ образомъ дрался на рапирахъ и сабляхъ съ Григоровымъ и Миллеромъ, а затѣмъ не менѣе эффектно исполнилъ съ Пузыревскимъ характерный танецъ «матлотъ». Самъ же Данилевскій, пылая и сіяя отъ расточаемыхъ ему со всѣхъ сторонъ похвалъ, искалъ глазами только своего друга, — но напрасно.

«Вѣрно, забился опять въ музей!» сообразилъ Данилевскій и отправился въ музей.

Но исчезнуваго тамъ не оказалось. Не оказалось его и въ спальнѣ; вмѣсто молодого барина Данилевскій обрѣлъ тамъ только его двухъ крѣпостныхъ: старика-дядьку Симона и двороваго Оедьку.

— А, Оедоръ! здравствуй. Когда прибылъ?

— Здравія желаемъ вашей милости! Прибылъ-то нонече поутру — сейчасъ какъ у васъ эти экзамены почались, — отвѣчалъ Оедька, почесывая за ухомъ. — Да бѣда вотъ съ нашимъ панычемъ: хочеть безпремѣнно ѣхать до дому уже ввечеру...

— Какъ? сегодня же?

— Сегодня-жъ; а какъ же конямъ-то не дать роздыха послѣ трехъ дней дороги?

— Еще бы. Этакій вѣдь чудакъ онъ, ей-Богу!

— Поговорили бъ вы съ нимъ, паныченьку Александру Семеновичу...

— Добре. Сегодня мы во всякомъ случаѣ не тронемся отсюда,—съ рѣшительностью объявилъ Данилевскій:—у насъ вечеромъ еще общее прощаніе съ товарищами. А куда онъ пропалъ теперь, не знаете?

— Въ городъ, мабуть, отлучился, на Московскую, пощеголять въ своемъ новомъ штатскомъ сюртучкѣ на красной подкладкѣ.

— И нехай щеголяетъ: на то и молодъ,—вступился за своего питомца ворчунъ-дядька.— Но я такъ смекаю, что не щеголяетъ онъ теперь на Московской, а бродить себѣ по Магеркамъ, балакаетъ напослѣдокъ съ своими знакомцами изъ простого люду, съ крестничкомъ прощается...

— Съ крестничкомъ?

— Да, крестилъ онъ тутъ, бачъ, у одного ледашаго мѣщанинишки; а нонече взялъ у меня три карбованца: вѣрно, подарить крестнику на зубокъ. Совсѣмъ въ родную маменьку пошелъ цѣны грошамъ не знаетъ... О-хо-хо!

Дядька былъ правъ: на Московской Гоголя не оказалось. Когда же Данилевскій завернулъ къ Магеркамъ, то увидѣлъ его на углу глухого пе-реулка бесѣдующимъ съ старцемъ-кобзаремъ.

— Яку-жъ тоби, панычу, письню заспиваты?—говорилъ кобзарь, своими изуродованными хирагрой пальцами настраивая кобзу.

— Да вотъ ты любишь, вижу, правду,—отвѣчалъ Гоголь.—Такъ спѣлъ бы мнѣ про нее, старче.

— Про правду? Охъ, и дежъ ии, правду, тепера

взяты?—вздыхнулъ тотъ и, бренча въ ладъ, разбитымъ, но довольно еще пріятнымъ голосомъ затянулъ однообразно и уныло:

— «Нема въ свити правды, правды не зиськаты,
Що теперъ неправда стала правдуваты.

«Уже теперъ правду ногамы топтають,
А тую неправду медомъ наповоають.

«Уже теперъ правда сыдыть у темныци,
А тая неправда съ панамы въ свитлыци.

«А вже тая правда слёзамы рыдае,
А тая неправда все пье да гуляе...»

Изъ-подъ воспаленныхъ вѣкъ пѣвца тихо покатились по одутловатымъ, морщинистымъ щекамъ двѣ крупныя слезы.

— Очень ужъ ты, диду, неправду чувствуешь,— замѣтилъ, подходя, Данилевскій.—Этакъ никому и охоты-то не станеть жить по правдѣ.

— Ой, ни, панычѣнькы, жывить соби по усій правды: святе дило!—воскликнулъ старецъ и съ силою ударилъ по струнамъ:

— «Ой, хто буде въ свити правду исполняты,
Тому зашлетъ Гѳсподь шо-дня благодаты.

«Бо самъ Гѳсподь—правда и смырьть гордыню,
Сокрушыть неправду, вознесе святыню!»

— Отъ и вся!—промолвилъ обыкновеннымъ уже тономъ пѣвецъ и отеръ со щекъ непрошенную слезу.

— Ну, спасибо, старче!—искренне поблагодарилъ Гоголь и изъ своего тощаго кошелька выс-

паль всю имѣвшуюся еще тамъ мелочь на подставленную ладонь.

— А три карбованца гдѣ же? Сбылъ крестнику?—спросилъ Данилевскій, увлекая его подъ руку съ собою.

— А Симонъ, видно, успѣлъ уже пожаловаться? Ахъ, старый хрычъ! Но дай мнѣ хоть записать-то пѣсню...

— Потомъ запишешь: память у тебя, братъ, хорошая. Теперь у насъ есть дѣло поважнѣе: что это тебѣ вдругъ за фантазія пришла ѣхать непременно сегодня? Нельзя же намъ не справиться съ товарищами поминокъ студенчеству?

— Но я не пью вѣдь вина, самъ ты, Саша, знаешь...

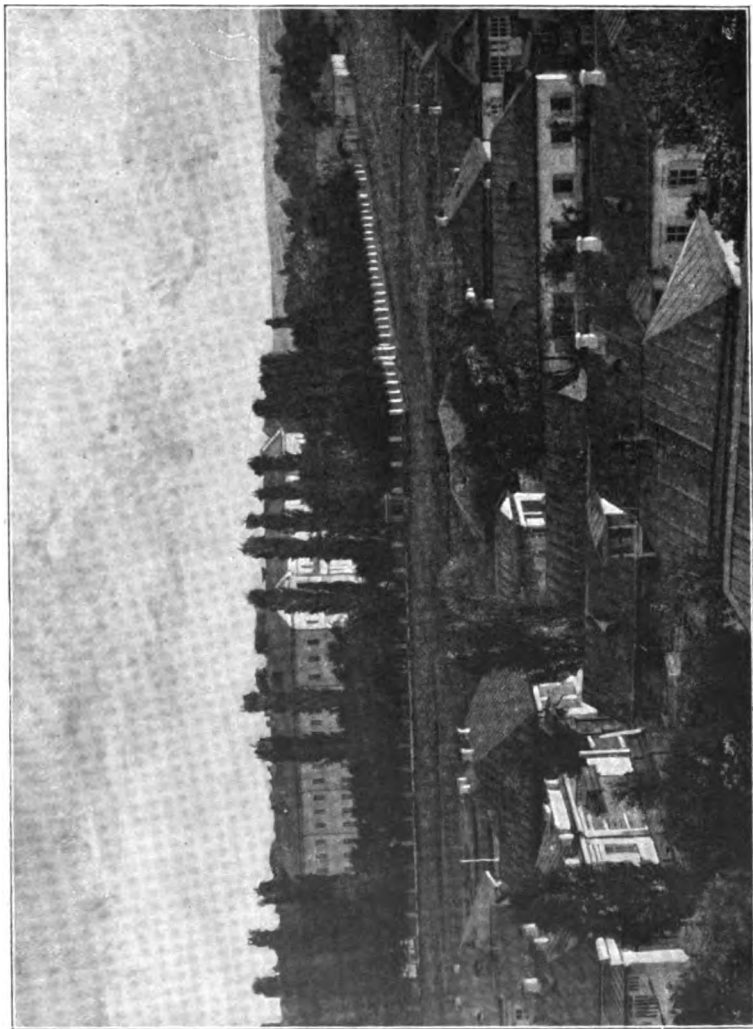
— Ну, и не пей: намъ же другимъ больше останется! — засмѣялся Данилевскій. — Ландраженъ предложилъ намъ нарочно свою квартиру...

— Да и пенѣнзовъ, признаться, у меня уже нема...—продолжалъ упираться Гоголь.

— Насчетъ пенѣнзовъ, душа моя, не безпокойся: у меня на обоихъ насъ хватитъ. Кромѣ того, надо же лошадямъ твоимъ дать отдохнуть; а къ завтраму мнѣ обѣщали въ канцеляріи изготовить наши аттестаты.

— Но я здѣсь просто задыхаюсь! У меня океанъ въ груди...

— Ну, такъ мы съ тобою два океана въ одномъ стаканѣ, ха-ха-ха! Запиши-ка, братъ, запиши. Но до завтра, дастъ Богъ, не совсѣмъ еще расплещемся.



Историко-филологический институтъ въ Нѣжинѣ (въ 1895 г.).

Такъ Гоголь принялъ также участіе въ «поминкахъ студенчеству», которыя состоялись на квартирѣ мосье Ландражена по всѣмъ правиламъ—съ жженкой, пѣснями и трепакомъ. Предсѣдательствовалъ самъ весельчакъ-хозяинъ и, разумѣется, пропѣлъ своимъ молодымъ друзьямъ не одну пѣсенку своего идола—Беранже. Болѣе же всѣхъ имъ, отлетающимъ птенцамъ, пришлось по душѣ пѣсня про «птичку», и они дружнымъ хоромъ подхватывали припѣвъ:

«Je volerais vite, vite, vite,
Si j'étais petit oiseau!» *)

Одинъ лишь сидѣлъ пригорюнясь и не подпѣвалъ, какъ и не прикасался къ стакану съ жженкой; а когда пѣніе на время умолкало, въ ухахъ у него звенѣла другая пѣсня:

«Ой, хто буде въ свити правду исполняты,
Тому зашлетъ Господь що-дня благодати.

«Бо самъ Господь—правда и смирыть гордыню,
Сокрушыть неправду, вознесе святыню!»



*) «Я леталъ бы скоро, скоро,
Если бъ птичкой былъ».

(Пер. Курочкина.)



ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ.

На отлетъ изъ родного гнѣзда.

Три дня спустя, въ Васильевкѣ мать со слезами радости обнимала своего ненагляднаго первенца. Но радость ея была отравлена тѣмъ, что онъ окончилъ курсъ по второму разряду—съ 14 классомъ.

— Зачѣмъ же ты, милый, писалъ мнѣ, что экзамены идутъ отлично, все съ высшими баллами?

— По наукамъ у меня, дѣйствительно, однѣ четверки,—оправдывался сынъ.

— А по языкамъ?

— По языкамъ... тройки, въ общемъ выводѣ — $3\frac{1}{2}$. Но годовыя отмѣтки испортили дѣло: изъ наукъ у меня въ среднемъ 3, изъ языковъ 2, а въ общемъ $2\frac{1}{2}$.

— Такъ можетъ-быть въ поведеніи ты опять какъ-нибудь провинился?

— О, нѣтъ! Въ поведеніи у меня тоже полный балъ—4. Жаловаться на старшихъ, маменька, не въ моемъ характерѣ. Я утѣшалъ себя тѣмъ, что причиною ихъ несправедливости наши неурядицы, и выносилъ все безъ упрековъ, безъ ропота; по Христову ученію, хвалилъ даже всегда моихъ недоброжелателей...

— Такъ и слѣдуетъ, дорогой мой, такъ и слѣдуетъ! — одобрила, расчувствовавшись, Марья Ивановна, нѣжно глядя пострадавшаго по плечу. — Будь еще у васъ тамъ директоромъ Иванъ Семеновичъ, я увѣрена, тебя выпустили бы по меньшей мѣрѣ съ 12-мъ классомъ!

— Дѣло, маменька, не въ чинѣ, а въ чело-вѣкѣ. Дайте мнѣ только выбратъ въ Петербургъ — не то обо мнѣ услышите! Васильевки вашей мнѣ не нужно. Свою часть я теперь же хоть запишу на ваше имя, да часть, пожалуй, на Машеньку. Впрочемъ года черезъ три я приѣду за вами; вы тогда не оставите меня никогда. Вы будете въ Петербургѣ моимъ ангеломъ-хранителемъ, и совѣты ваши, свято мною исполняемые, заглядятъ прошлое легкомысліе моей юности, и я буду совершенно счастливъ.

— Ахъ ты, милый мой, золотая душа! Сколько времени вотъ я травку пью, не могу поправиться; а эти ласковыя слова твои сразу меня исцѣляютъ! Лучше буду голодать съ твоими сестрицами, заложу имѣніе, а выведу тебя въ люди.

Въ тотъ-же день Марья Ивановна присѣла за письменный столъ и такъ излила свое материнское горе передъ двоюроднымъ братомъ Петромъ Петровичемъ (который вмѣстѣ съ Павломъ Петровичемъ прогостилъ май мѣсяцъ въ Васильевкѣ, а къ приѣзду племянника снова уже укатилъ):

«Никоша мой имѣетъ чинокъ въ рангѣ университетскихъ студентовъ 14-го класса. Съ нимъ несправедливо поступили, такъ же, какъ и съ другими, въ его отдѣленіи бывшими, по причинѣ партій ихъ наставниковъ. Ему слѣдовало получить 12-й классъ, но онъ ни мало не въ претензіи, тѣмъ болѣе, что обѣ партіи сказали, что онъ достоинъ былъ получить даже 10-й классъ, а 12-й по всѣмъ правиламъ должно было ему дать. Главное, что надобно было болѣе ласкаться къ нимъ, а онъ никакъ не могъ сего сдѣлать...»

По настоянію же матери, чтобы заручиться рекомендательнымъ письмомъ въ Петербургъ, Гоголь въ августѣ мѣсяцѣ собрался опять съ поклономъ къ Трошинскому въ Ярески, нарочно побывавъ передъ тѣмъ въ Кременчугѣ за неизбѣжнымъ гостинцемъ — бутылкою старой мадеры. Чтобы не ѣхать туда одному, онъ завернулъ сперва въ Толстое за Данилевскимъ.

Застали они Дмитрія Прокофьевича въ гостиной за гранпасьянсомъ. На видъ старый вельможа противъ прошлогодняго еще болѣе одряхлѣлъ и казался въ самомъ удрученномъ настроеніи, точно въ предчувствіи предстоящей разлуки съ земною жизнью и ея благами. Находилось въ гостиной,

какъ всегда, и нѣсколько человѣкъ приживальцевъ; но всѣ они держались поодаль и бесѣдовали межъ собой вполголоса, чтобы ненарокомъ не обратить на себя вниманія своего суроваго патрона. Одинъ только шутъ Романъ Ивановичъ стоялъ около послѣдняго, отгоняя мухобойкой неотвязныхъ осеннихъ мухъ.

«Вельможный мозоль!» вспомнилось Гоголю характеристичное выраженіе шутодразнителя Баранова.

Когда онъ тутъ вмѣстѣ съ Данилевскимъ подошелъ расшаркаться передъ хозяиномъ, тотъ мелькомъ только исподлобья вскинулъ на обоихъ недовольный взоръ, едва кивнулъ головой и съ прежнею сосредоточенностью продолжалъ раскладывать передъ собою карту за картой. Но Гоголю надо было сбуть съ рукъ свой гостинецъ, на который, какъ ему казалось, были иронически устремлены теперь взоры всѣхъ присутствующихъ.

— Маменька посылаетъ вашему высокопревосходительству старой мадеры, — заявилъ онъ и хотѣлъ было поставить бутылку тутъ-же на столъ.

Но Трошинскій повелительнымъ жестомъ остановилъ его и лаконически буркнулъ Роману Ивановичу:

— Прими!

Тотъ принялъ бутылку и понесъ въ буфетную; видя же, что оба молодые человѣка ретируются туда вслѣдъ за нимъ, лукаво усмѣхнулся и замѣтилъ имъ шопотомъ:

— «Чѣмъ ближе къ солнцу, тѣмъ теплѣе
(Объ этомъ что ужъ говорить!),
Но вѣдь зато куда скорѣе
Себѣ и крылья опалить.»

— А я и не зналъ, Романъ Ивановичъ, что вы тоже поэтъ,—сказалъ Гоголь.

— Не хочу рядиться въ чужія перья: и своихъ довольно,—отозвался шутъ:—стихи эти—нашего отставного дразнителя, Барана Барановича.

— Отставного? То-то меня удивило, что его не видать. За что же это онъ въ немилость попалъ?

— А такую, значить, подъ него линію подвели, хе-хе-хе! Безрукій клѣтъ обокралъ, слѣпой подглядывалъ, глухой подслушивалъ, нѣмой «карауль!» закричалъ, безногій въ погонь погналъ. А мы тѣмъ часомъ за барана подыскали барона.

— Какого барона?

— А заправскаго и древнѣйшаго рода: отъ роду доброму мѡлодцу не много, не мало 105 лѣтъ. Цѣлый вѣкъ старичина гнался за фортуной, доколѣ не запыхался, рукой не махнулъ: все одно ужъ не нагонишь! И записался вотъ въ нашу глумотворную гильдію: си лошадка нонъ эстъ, пѣши ходаре дебентъ.

Увидѣть барона-глумотвора молодымъ людямъ удалось только за обѣдомъ, вплоть до котораго дряхлый старецъ не вставалъ съ постели. За столомъ онъ вначалѣ также какъ-бы собирался еще съ силами, набираясь ихъ изъ стоявшаго передъ нимъ граненаго графина съ густою фруктовою

наливкой. Но къ концу обѣда онъ совсѣмъ ожилъ, безъ умолку шамкаль всевозможный остроумный вздоръ по-русски, по-нѣмецки, по-французски и въ заключеніе сыгралъ еще презлую шутку съ однимъ изъ своихъ соперниковъ, отцомъ Варео-ломеемъ: опойвъ его смѣсью изъ разныхъ напитковъ, пока бѣдняга совсѣмъ не осовѣлъ, баронъ взялъ его за козлиную бородку и сургучомъ припечаталъ къ краю стола. Тутъ уже и Романъ Ивановичъ и прочіе блюдолизы на утѣху своего вельможнаго кормильца принялись щекотать, дразнить убогаго пропойцу, и тотъ, охая и кривляясь, невольно самъ выдергивалъ себѣ бороду по волоску. «Потѣшное» зрѣлище вызвало общій хохотъ окружающихъ, а на утрюмомъ лицѣ хозяина мимолетную улыбку, которою отецъ Вареоломей и не замедлилъ воспользоваться, чтобы выклянчить себѣ рубликъ на «заплатки».

Гоголю несчастный юродивый былъ не столько смѣшонъ, сколько гадокъ и жалокъ.

— Хотя-бы ты самъ пожалѣлъ себя, отче! — сказалъ онъ ему послѣ обѣда:—меньше-бы ѣлъ и пилъ, что-ли.

— Отверзися объяденья, а не ясты, отверзися пьянства, а не питія,—отвѣчалъ нараспѣвъ отставной дьячокъ.

— То-то, что ты своимъ неумѣреннымъ питіемъ самъ напрашиваешься на грубую насилія.

— Кому кнутъ, кому хомутъ. И въ писаніи сказано: любите враги ваша...

— Но Дмитрій Прокофьевичъ могъ-бы, кажется, унять твоихъ враговъ.

— Унять! Онъ и самъ-то паче иныхъ заставляетъ насъ свои огорченія переносить; но по великой добротѣ своей опосля всегда на рану цѣлительнаго пластыря налѣпитъ. Давеча еще меня такую плюхой угостилъ, что небо въ овчинку показалось; а теперича вотъ ровно и забылъ про свою обиду—рубликъ подарилъ!

Гоголь пожалъ плечомъ и отошелъ вонъ: стоило-ли, право, жалѣть о такомъ отпѣтомъ субъектѣ?

Между тѣмъ стопятилѣтній баронъ еще болѣе разошелся. Когда вечеромъ устроились танцы, онъ сталъ также съ молодежью въ кадрили и, игриво подпѣвая, выдѣлывалъ такія замысловатыя па, что Трошинскій, глядя на него, подбодрился: передъ этимъ Маеусаиломъ онъ, 74-хъ-лѣтній, могъ считать себѣ вѣдь чуть не молодымъ человѣкомъ.

Теперь Гоголь рѣшился снова подойти къ Дмитрію Прокофьевичу съ вопросомъ: можетъ-ли маменька разсчитывать и когда именно увидѣтъ его въ Васильевкѣ.

— Можетъ, можетъ, — былъ благосклонный отвѣтъ. — Въ началѣ сентября непременно соберусь, да денька уже на три, на четыре; такъ и готовьтесь.

Поблагодаривъ и пожавъ милостиво протянутые ему два пальца, Гоголь откланялся.

— А про рекомендацію въ Петербургъ ты такъ и забылъ?— замѣтилъ Данилевскій.

— Не забылъ, но языкъ не повернулся; не умѣю я просить за себя, да и только! Приѣдетъ погостить къ намъ, такъ маменька пускай за меня и попросить.

Но наступившая въ началѣ сентября ненастная погода задержала сановнаго старца отъ обѣщанной васильевцамъ чести; когда же прояснилось и Марья Ивановна послала въ Ярески узнать въ точности о днѣ прибытія именитаго гостя, оказалось, что онъ изволилъ уже отбыть изъ лѣтней резиденціи на зимнія квартиры—въ Кибинцы. Марья Ивановна, выписавшая для него изъ Полтавы всевозможное угощенье, была крайне огорчена, тѣмъ болѣе, что Никоша наотрѣзъ ей объявилъ, что послѣ такого невниманья со стороны Дмитрія Прокофьевича ѣхать еще къ нему за тридевять земель онъ — слуга покорный; лучше обойдется безъ всякой рекомендаціи.

Марья Ивановнѣ ничего не оставалось, какъ списаться съ Трощинскимъ. Но прошелъ мѣсяцъ, прошелъ другой, а изъ Кибинецъ не было ни слуху, ни духу. Отъ нѣкоторыхъ сосѣдей, имѣвшихъ въ Петербургѣ знакомыхъ, она между тѣмъ добыла также для сына письменныя рекомендаціи. Но что значили всѣ онѣ въ сравненіи съ рекомендаціей бывшаго министра? И вотъ, несмотря на отговариванье сына, на собственное нездоровье и на осеннюю распутицу, Марья Ивановна сама таки двинулась въ Кибинцы. Черезъ четыре дня она была опять дома, вся разбитая дорогой, но сіяющая отъ достигнутаго успѣха.

— И какъ всегда, Никоша,—говорила она,— я оказалась права! Благодѣтель нашъ и на сей разъ выказалъ себя таковымъ: тотчасъ послѣ моего тогдашняго письма онъ написалъ петербургскому пріятелю своему Кутузову, и въ самый день моего пріѣзда въ Кибинцы получилъ отъ него любезнѣйшій отвѣтъ, что для его высокопревосходительства будетъ сдѣлано невозможное. Въ жизнь мою я не читала столь литературнаго, складнаго письма...

— Да, эти столичные господа обхожденія тонкаго, политичнаго, за пріятнымъ словомъ въ карманъ не полѣзутъ; а какъ дойдетъ до дѣла, такъ— «ну васъ на Лысую гору къ вѣдьмамъ!» И Кутузовъ въ Петербургѣ, я впередъ увѣренъ, далѣе передней меня не пуститъ, если я не привезу ему собственноручной цидулы отъ Дмитрія Прокофьевича.

Марья Ивановна съ торжествующею улыбкой раскрыла свой дорожный ридикюль и подала сыну запечатанный конвертъ. Дрожащимъ почеркомъ съ явнымъ усиліемъ на немъ было начертано: «Его Превосходительству Милостивому Государю и разныхъ орденовъ Кавалеру Логгину Ивановичу Кутузову».

— Вотъ это такъ!—сказалъ, повеселѣвъ, Гоголь.—Простите, ваше высокопревосходительство! поклепъ взвелъ. Теперь ничего уже меня не держитъ; завтра же укладываюсь въ путь-дорогу.

На глазахъ матери навернулись слезы.

— Ну, вотъ! родной домъ тебѣ уже опостылѣлъ...

— Что вы, что вы, матинко риднисенька! Вы— ангелъ-хранитель мой, и ближе васъ въ цѣломъ мірѣ у меня никого не было и не будетъ,—увѣрилъ сынъ, обнимая ее и цѣлуя.—Но мирное счастье домашняго очага меня уже не удовлетворяетъ. Я цѣлые мѣсяцы вѣдь такъ-сказать скитаюсь безцѣльно по берегу житейскаго моря, слышу его заманчивый гулъ и не дождусь окунуться въ ег животворныя волны.

— Ахъ ты, поэтъ мой! Но тебѣ придется немножечко еще потерпѣть: финансы мои совсѣмъ поразстроились; нынѣшнимъ лѣтомъ вѣдь пало у насъ отъ сибирской язвы болѣе сорока головъ лучшаго скота, а дядѣ твоему Петру Петровичу я должна была выслать немаловажную сумму въ Одессу на экипировку въ новомъ полку. Не знаю, право, гдѣ и взять теперь для тебя денегъ на дорогу!

— Жаль, маменька, что вы не подумали объ этомъ вчера въ Кибинцахъ: Дмитрій Прокофьевичъ не разъ уже выручалъ васъ, когда вамъ приходилось платить въ казну.

— Вотъ потому-то, голубчикъ, я и не смѣла его снова беспокоить: онъ не беретъ вѣдь съ меня даже расписокъ *). Какъ-нибудь, авось, обойдемся!

*) По смерти Д. П. Трошинскаго (въ февралѣ слѣдующаго 1829 г.) въ бумагахъ его нашелся впрочемъ подробный списокъ сдѣланныхъ имъ за М. И. Гоголь въ разное

При помощи своего изворотливаго приказчика ей, дѣйствительно, удалось вскорѣ добыть для сына такую сумму, чтобы ему можно было добраться до Петербурга и прожить тамъ мѣсяць-другой до пріисканія мѣста.

Наконецъ все было улажено, сборы окончены; насталь и день отъѣзда. Бѣдная Марья Ивановна, разстававшаяся на неопредѣленное время съ своимъ любимцемъ, съ самаго утра, какъ говорится, плавала въ слезахъ. Единственнымъ утѣшеньемъ служило ей то, что кромѣ вѣрнаго слуги Якима (дядька Симонъ былъ слишкомъ уже старъ), Никошу до самаго Петербурга сопровождалъ старѣйшій его и испытанный другъ Данилевскій, которому она поэтому надавала на дорогу цѣлый коробъ наставленій, какъ кормить и кутать ея Никошу, чтобы, Боже упаси, не захвораль въ пути.

— Ужъ я буду беречь его, какъ зѣницу ока, какъ сахарную куколку, — съ улыбкой успокоиваль ее Данилевскій.— Ну, братъ Николай, прощайся; а то долгіе проводы—лишнія слезы.

По старому обычаю, всѣ сперва присѣли; потомъ началось прощанье. Среди нескончаемыхъ объятій, поцѣлуевъ и слезъ Марья Ивановна спѣшила надѣлать еще сына разною «моралью»: итти

время уплатъ въ казну на сумму 4.060 рублей, и должница на основаніи этого списка была вынуждена для расплаты съ наслѣдникомъ покойнаго, А. А. Трошинскимъ, отдать принадлежавшій ей въ Ярескахъ земельный участокъ въ 10 десятинъ.

прямою дорогою, быть всегда одинаково добрымъ, чтобы въ самомъ себѣ во всякое время находить утѣшеніе; первѣе же всего уповать на Бога, который никогда не оставляетъ уповающаго...

— И не забывать Панглоссовой системы: все къ лучшему въ семъ лучшемъ изъ міровъ? — подхватилъ съ напускою веселостью сынъ. — Дастъ Богъ, маменька, черезъ годъ, много черезъ два, опять свидимся. Тебя, Машенька, — обратился онъ къ старшей сестрицѣ, — я надѣюсь застать тогда уже невѣстой, а васъ, мелюзга, — отнесся онъ къ Анненькѣ и Лизанькѣ, — положу въ карманъ и увезу съ собой въ Питеръ въ институтъ. Моя школа кончена, ваша еще впереди. Да что ты, Лизанька, уже и струсила? Полно, ну, полно, милая! Каждое вѣдь воскресенье въ институтъ къ вамъ ѣздить буду и съ конфетами; а питерскіе конфеты противъ нѣжинскихъ куда слаще!

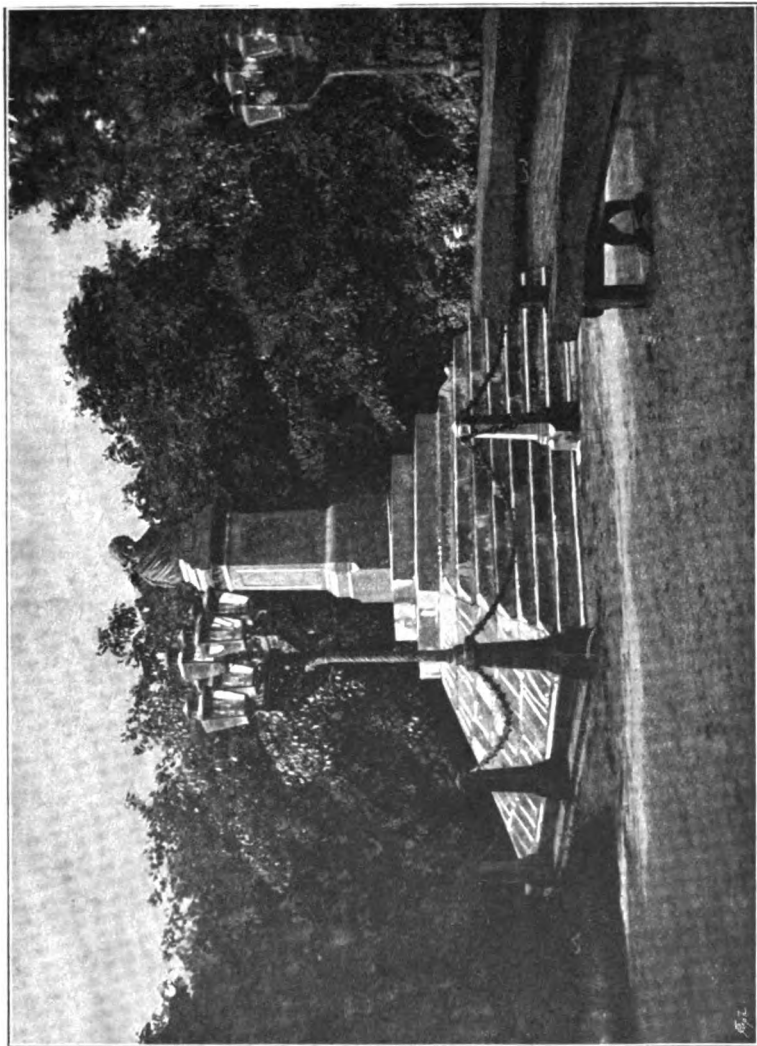
Такъ болтая и пошучивая, онъ какъ-бы хотѣлъ самъ себя заговорить. Тутъ, послѣ домашнихъ, дошла очередь и до случайно заглянувшей къ нимъ въ этотъ день въ Васильевку молодой гостьи Софьи Васильевны Капнистъ. На высказанную ею увѣренность, что скоро отъ него изъ Петербурга получатся самыя лучшія вѣсти, онъ крѣпко стиснулъ ей руку и, заглянувъ ей глубоко въ глаза, съ убѣжденіемъ промолвилъ:

— Вы или ничего обо мнѣ не услышите, или услышите что-нибудь хорошее!

Пять минутъ спустя, онъ сидѣлъ въ кибиткѣ рядомъ съ своимъ другомъ и, полный надеждъ,

мчался къ манившей ему гдѣ-то въ туманной дали всемірной славы, не подозрѣвая, что самая трудная школа — школа жизни — у него самого еще впереди.





Памятникъ Гоголя въ Нѣжинѣ.

Въ книжномъ магазинѣ П. В. ЛУКОВНИКОВА,

С.-Петербургъ, Лештуковъ пер., уголъ Фовтанки, д. № 2,

и у всѣхъ извѣстныхъ книгопродавцевъ

ПРОДАЮТСЯ СЛѢДУЮЩІЯ СОЧИНЕНІЯ

В. П. АВЕНАРИУСА:

«Дѣтскія сказки». Изданіе 3-е, съ 8-ю отдѣльн. рисунками и многими другими въ текстѣ Н. Н. Каразина и др. Въ это изданіе, вошли, кромѣ наиболее удачныхъ пересказовъ простонародныхъ и иностранныхъ сказокъ изъ сборника: «Тридцать лучшихъ новыхъ сказокъ», еще три оригинальныя сказки: «О муравьѣ-богатырѣ», «О пчелѣ Мохнаткѣ» и «Что комната говоритъ». Послѣднія двѣ удостоены каждая первой преміи С.-Петербургскаго Фребелевскаго общества. Ц. въ бумажѣ 1 р. 25 к., въ красивой папкѣ 1 р. 50 к., въ коленкор. перепл. съ золот. 2 р.

Въ первыхъ изданіяхъ одобрены *Ученымъ Ком. Мин. Народн. Просвѣщенія* для ученическихъ библиотекъ младшаго возраста среднихъ учебныхъ заведеній и городскихъ училищъ; *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи допущены для пріобрѣтенія въ библиотекы низшихъ и среднихъ классовъ училищъ вѣдомства.

«Сказка о муравьѣ богатырѣ». Разсказъ для дѣтей. Съ рисунками Н. Н. Каразина. 4-е изданіе. Цѣна 50 к.

Учебнымъ Комитетомъ вѣдомства учрежденій Императрицы Маріи допущена въ ученическія библиотекы среднихъ учебныхъ заведеній.

«Молодильныя яблоки». Сказка-поэма. Съ рисунками. Ц. 10 к.

Учебнымъ Комитетомъ вѣдомства Императрицы Маріи допущена въ ученическія библиотекы среднихъ и низшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній.

«Листки изъ дѣтскихъ воспоминаній». Десять автобиографическихъ разсказовъ. Съ портретомъ автора и отдѣльными рисунками Н. Загорскаго и Т. Никитина. Цѣна 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ изящномъ коленкор. переплетѣ 2 р. 25 к.

Одобрены *Ученымъ Комитетомъ Мин. Народн. Просвѣщенія* и рекомендованы *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи для ученическихъ библиотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, а равно и для подарковъ.

«Васильки и колосья». Разказы и очерки для юношества. Съ 22-мя портретами и рисунками. Изданіе 2-е. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р.

Въ первомъ изданіи допущены *Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просв.* въ ученическія для младшаго возраста библиотекы среднихъ учебныхъ заведеній и *Учебнымъ Комитетомъ* при *Святѣйшемъ Синодѣ* къ пріобрѣтенію въ ученическія библиотекы духовныхъ семинарій. Рекомендованы *Учебнымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи въ ученическія библиотекы старшаго и средняго возраста среднихъ учебныхъ заведеній, а также для подарковъ, и *Главнымъ Управленіемъ* военно-учебн. заведеній для среднихъ кадетскихъ корпусовъ.

«Меньшой потѣшный». Историческая повѣсть изъ молодости Петра Великаго. Съ портретомъ князя А. Д. Меншикова. (Изъ книги «Васильки и Колосья».) Цѣна 40 к.

Ученымъ Комитетомъ Мин. Народн. Просвѣщенія допущена въ ученическія бібліотеки среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній.

«Во львиной пасти». Историческая повѣсть для юношества изъ эпохи основанія Петербурга. Съ 19-ю рисунками Р. Штейна и снимками съ современной гранюры. Цѣна 1 р. 75 к., въ папкѣ 2 р., въ изящн. коленк. переплетѣ 2 р. 25 к.

Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія допущена въ ученическія бібліотеки среднихъ учебныхъ заведеній, какъ мужскихъ, такъ и женскихъ, и въ народныя читальни. *Ученымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи рекомендована для пріобрѣтенія въ ученическія бібліотеки старшаго и средняго возраста среднихъ учебныхъ заведеній вѣдомства, а равно и для награды воспитанницъ.

«Отроческіе годы Пушкина». Биографическая повѣсть. Изданіе 3-е, въ первый разъ иллюстрированное 8-ю рисунками и портретомъ Пушкина. Цѣна 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р.

Во второмъ изданіи рекомендована: *Ученымъ Комитетомъ Мин. Нар. Просвѣщенія* для ученическихъ бібліотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, для старшаго возраста; *Главнымъ Управленіемъ* военно-учебныхъ заведеній для бібліотекъ кадетскихъ корпусовъ и *Ученымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи для чтенія въ трехъ старшихъ классахъ, а также для подарковъ. Допущена *Ученымъ Комитетомъ при Св. Синодѣ* въ ученическія бібліот. духовн. семинарій, мужскихъ духовн. и женск. епархіальныхъ училищъ.

«Юношескіе годы Пушкина». Биографическая повѣсть. Изданіе 2-е. Съ 6-ю портретами и 3-мя рисунками. Цѣна 1 р. 75 к., въ папкѣ 2 р., въ изящномъ коленкоровомъ переплетѣ 2 р. 50 к.

Рекомендована *Ученымъ Комитетомъ Мин. Народнаго Просвѣщенія* для ученическихъ бібліотекъ среднихъ учебныхъ заведеній, мужскихъ и женскихъ, для старшаго возраста; *Главнымъ Управленіемъ* военно-учебныхъ заведеній для бібліотекъ кадетскихъ корпусовъ. *Одобрена Ученымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи для ученическихъ бібліотекъ старшихъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній. Допущена *Учебн. Комит. при Свят. Синодѣ* въ ученическ. бібліот. духовн. семинарій, мужск. духовн. и женскихъ епархіальныхъ училищъ, равно и женскихъ училищъ духовнаго вѣдомства.

«Гоголь-гимназистъ». Первая повѣсть изъ биографической трилогіи «Ученическіе годы Гоголя». Съ 8 портрет. и видами. Ц. 1 р. 25 к., въ папкѣ 1 р. 50 к., въ коленк. перепл. съ золот. 2 р.

Ученымъ Ком. Мин. Нар. Просвѣщенія одобрена для ученическихъ бібліотекъ среднихъ и низшихъ учебныхъ заведеній и низшихъ безплатныхъ народныхъ бібліотекъ и читальенъ и *Ученымъ Комитетомъ* вѣдомства Императрицы Маріи рекомендована для фундаментальныхъ и ученическихъ бібліотекъ средняго и старшаго возраста средн. учебн. завед. и для награды воспитанникамъ.

«Гоголь-студентъ». Вторая повѣсть изъ биографической трилогіи «Ученическіе годы Гоголя». Съ 12 портр. и видами. Ц. 1 р. 50 к., въ папкѣ 1 р. 75 к., въ изящн. колен. перепл. 2 р. 25 к.



STATE
OF
NEW
YORK
IN SENATE,
January 11, 1906.
REPORT
OF THE
COMMISSIONERS OF THE
LAND OFFICE,
IN ANSWER TO A RESOLUTION
PASSED BY THE SENATE
MAY 17, 1905.
ALBANY:
J. B. WOODWARD, STATE PRINTER,
1906.



GENERAL LIBRARY - U.C. BERKELEY



8000205386



